Альфонс Додэ

МАЛЫШ

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА

АЛЬФОНС ДОДЭ

МАЛЫШ

ПЕРЕВОД *В. А. БАРБАШЕВОЙ*
РЕДАКЦИЯ, СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Б. В. ГИМЕЛЬФАРБА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1939

ТВОРЧЕСТВО АЛЬФОНСА ДОДЭ

В своих воспоминаниях «Тридцать лет парижской жизни» Додэ сам признает, что многие факты, рассказанные в «Малыше», вымышлены. Главное же — судьба Даниэля Эйсета прямо противоположна жизненному пути его автора. Даниэль кончает отказом от всех нереальных иллюзий, от поэзии, не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд, раскаянием и примирением с обыденностью. Путь создателя этого образа был совершенно иной. С первого же своего печатного произведения он — признанный мастер, один из любимых писателей и остается им во Франции до сих пор. Ознакомившись с его жизнью и творчеством, мы сможем судить, насколько роман «Малыш» может быть назван автобиографическим, и почему Додэ написал его именно в таком плане.

Альфонс Додэ принадлежал к семье, в которой из поколения в поколение передавалась легитимистская традиция. Жак Додэ, дед романиста, и Клод Додэ, его дядя, оба были рьяными роялистами. Клод был гильотинирован в годы якобинской диктатуры, а Жак спасся бегством. Во время консульства он уже владел значительной парчевой мастерской и вскоре основал торговый дом в Ниме. В 1830 году сын его Винцент — отец романиста, женился на Аделине Рейно, дочери богатого коммерсанта. Семейство Рейно также было легитимистски настроено. Винцент Додэ главную причину своих позднейших неудач видел в «этих революционерах» и полагал, что если бы Бурбоны сохранили трон, то Франция бла-

годенствовала бы. Вокруг него группировались люди, сочувствовавшие его убеждениям, и дом Додэ стал одним из очагов легитимизма.

13 мая 1840 года в Ниме родился Альфонс Додэ. «Я был несчастной звездой моих родителей, — говорит он в «Малыше». — Со дня моего рождения невероятные несчастья посыпались на них со всех сторон». Это неверно. Раннее детство писателя протекало в обстановке относительного довольства и нежных забот о нем. И только к 1848 году материальное благосостояние его отца и деда, широко помогавшего своим детям, пришло в упадок. В течение двух предшествующих лет банкротства некоторых клиентов Винцента Додэ унесли значительную часть его состояния, а после февральской революции 48 года на юге Франции наступил промышленный кризис, окончательно разоривший его. Винцент Додэ покинул Ним и поселился на принадлежавшей ему шелковой фабрике, стоявшей на дороге в Авиньон. Это та самая фабрика, которая описана в первой главе «Малыша», и где маленький Даниэль (Альфонс) открыл «необитаемый остров». Но фабрика вскоре была продана, и семейство Додэ переехало обратно в Ним. Возле их дома в Ниме был сад, в котором Альфонс снова разыскал и робинзонову хижину, и гроты, и остров. Весною 1849 года Додэ переселились в Лион, где обосновались на несколько лет.

По рассказам Эрнеста Додэ и самого романиста, он в детстве отличался неровным характером, являя смешение кротости и необузданности, доброты и упрямства, выражавшегося порою в вспышках дикого гнева. К тому же им владела ненасытная жажда приключений, и он поражал всех своей живостью, шутками, нередко сумасбродными выходками. В юном Даниэле Эйсете эти черты характера его оригинала затушеваны.

Уже в 1847 году Альфонса засадили за латынь, но, после переезда в Лион, пришлось на некоторое время оставить учение, так как не было на это средств. Годы, проведенные в Лионе, были самыми безрадостными для всей семьи. «Время, проведенное в Лионе,— пишет Эрнест Додэ,—самая грустная пора моей жизни. Моя душа рано созрела под впечатлением бедствий моих родителей и подернулась дымкой меланхолии. Безвыходное положение отца и слезы матери болезненно отражались в моем сердце и развили во мне нездоровую нервность, зачатки которой я унаследовал от матери. Я плакал от всякого пустяка, от самого легкого упрека, от вопроса, на который мне труд-

но было ответить... Трогательный портрет Жака в «Малыше» вполне верно воспроизводит эту мою черту. Своим вечным плачем Жак сильно напоминает меня. Но нельзя того же сказать про события его жизни, являющиеся плодом воображения автора романа». В лионе Альфонса и Эрнеста отдали в церковную школу, где детей бесплатно обучали древним языкам, за что они исполняли обязанности пономарей при богослужении. Через несколько месяцев оба были приняты в коллеж, где они принадлежали к числу самых бедных учеников. «Нас зачислили в категорию бедняг, родители которых из кожи лезут вон, чтобы заплатить за их обучение. Более элегантные наши товарищи брезговали такими новичками и обращались с нами надменно-покровительственно» (Э. Додз). Способный Альфонс прекрасно учился, хотя и не отличался прилежанием. Добрую половину уроков он обыкновенно пропускал, предпочитая шататься по кабачкам, и возвращался домой с таких «прогулок» поздно ночью, бледный, с утомленным лицом. Эрнест всегда покрывал своего «блудного брата». Об этих «лионских увеселениях» тоже нет ни слова в «Малыше».

Альфонс рано пристрастился к чтению. Об этом опять-таки, кроме эпизода с философом Кондильяком, относящегося к более позднему времени, ничего не говорится в «Малыше», как и вообще мы ничего не узнаем о духовном развитии Даниэля. К пятнадцати годам он уже прочитал Бюффона, Ариоста, Шекспира, Бокаччо, Шатобриана, Ламартина, Шанфлери, Гюго, Сю и др. (С Диккенсом и Теккереем он ознакомился только позже, в Париже). Благодаря связям Винцента Додз с легитимистами, его сыновья познакомились с членами редакции их органа, «Лионской газеты». Для этой газеты Альфонс в возрасте пятнадцати лет написал свое первое крупное произведение, роман «Лев и христианка Флери». Хотя редактор был восхищен и поражен «зрелостью и законченностью письма», роман не был напечатан, так как легитимистскую газету вскоре постигло правительственное запрещение.

По окончании коллежа Альфонс получил должность помощника учителя в Арле (Сарланд в «Малыше»). Ученики, дети зажиточных крестьян и помещиков, не взлюбили застенчивого юного наставника и грубо злоупотребляли его слабостью и беззащитностью, доводя его до слез своими злыми проделками. Раз, когда он поднимался по лестнице, ученики сверху пустили ему на-

встречу ящик, весь утыканный гвоздями. Бедный юноша был сшиблен с ног, полетел вниз и сильно расшибся. Положение его было тем несноснее, что директор коллежа всегда во всех недоразумениях обвинял его, а не учеников.

В провинциальной глуши одинокий юноша свел знакомство с холостой компанией, полубогемой, с озлобленными, завистливыми субъектами, эксплоатировавшими его доверчивость и втихомолку потешавшимися над ним.

К концу 1856 года все имущество отца Додэ было продано с молотка. Мать уехала к родным на юг, а Эрнест на последние гроши отправился «завоевывать Париж». Здесь, благодаря связям отца, сохранившего верность легитимистскому знамени, он получил постоянную работу в легитимистском органе «Спектатор» и вызвал к себе брата. 1 ноября 1857 года Альфонс был уже в Париже, где тоже, конечно, вращался, главным образом, в легитимистских кругах. Описание приезда «Малыша» в Париж в общем верно передает обстановку приезда будущего романиста. В Париже Додэ сошелся с литературно-артистической богемой, богемой упадка, годов реакции и общественного застоя, беспринципной и внутренне опустошенной. По свидетельству писателя, стоявшего в противоположном Додэ лагере, лагере революционной демократии, Жюля Валлеса, богема пятидесятых годов (с шестидесятых годов, особенно со второй половины, положение изменилось) в значительной своей части была аполитична, некоторые группы ее были настроены реакционно и кичились своим траги-комическим легитимизмом. Конечно, не вся богема была такой духовно никчемной, упадочной, разложившейся. Но Валлес, посвятивший парижской богеме пятидесятых годов роман «Бакалавр» (в русском переводе «Юность») и ряд очерков, написанных в первую половину шестидесятых годов, подчеркивает, что наиболее опустившейся, в силу своей социальной обреченности, была именно легитимистская богема. Правда, Додэ, как он говорит в своих воспоминаниях, встречался с представителями и более передовой молодежи, как например, со студентом факультета прав Гамбеттой, и с некоторыми демократически настроенными поэтами. Впрочем, среди последних не вывелись еще совсем бальзаковские д'Артезы («Утраченные иллюзии»), как например, приятель братьев Додэ, Терион, выведенный под именем Элизе Меро в романе «Короли в изгнании». К этим же идеалистам относится и Жак (Эрнест

Додэ) «Малыша», хотя в этом романе мы ничего не узнаем о политических взглядах центральных персонажей. Но литературно-артистическая среда в целом, безыдейная, беспринципная, полная самомнения, должна была оттолкнуть нашего провинциального мечтательного мещанина. И Додэ из общения с ней навсегда вынес отвращение к «беспорядочной жизни».

Если некоторые бытовые подробности второй части «Малыша» автобиографичны, то весь рассказ о крахе литературной карьеры Даниэля вымышлен. Лирический сборник «Возлюбленные», вышедший в 1858 году, резко изменил положение Додэ. Уже эта его первая книга имела успех, автор ее начинает завязывать более прочные литературные связи, правда, не в идейно-передовых кругах, и проникает в так называемый «высший свет». В 1859 году он начинает помещать в «Фигаро» пьески в стихах, рассказы, диалоги. Его поощряет редактор-издатель этой газеты, Ипполит Вильмесан, колоритнейшая фигура парижской журналистики того времени. Цинично-беспринципный предприниматель, он прежде всего старался потрафить публике и обладал редким нюхом по части выуживания своих газетных «аттракционов». У него сотрудничали люди самых различных направлений, от ярого антибонапартиста Рошфора до Додэ, секретаря одного из столпов бонапартистского режима. Для пользы своей «лавочки» Вильмесан не прочь был привлекать к сотрудничеству и крайне-левых, терпя их, разумеется, только до тех пор, пока их острое перо нравилось читателям и не вызывало серьезных репрессий со стороны властей. Додэ в «Тридцать лет парижской жизни» посвятил Вильмесану целый очерк, рисуя грубовато-фамильярного, добродушного с виду хищника, жестокого и в то же время сентиментального, который «вытряхивает за окно своих сотрудников» или восторгается ими в зависимости от приговора «Бульваров».

Итак, Додэ сразу же был замечен, направление его признано в общем благонадежным, и решено было оказать ему поддержку. Всесильный временщик, герцог де Морни, председатель Законодательного корпуса, зачислил его в свою канцелярию. При предварительных переговорах произошла забавная сцена: «Но я — легитимист, — фанфаронски заявил Додэ, на что Морни со смехом ответил: «Императрица еще более легитимистка, чем вы». При материальной поддержке того же Морни Додэ совершил путешествия по Алжиру, Корсике, Сардинии, Испании. Подолгу живя в Провансе, где он познакомился и сдружил-

ся с выдающимся провансальским поэтом Фредериком Мистралем, Доде стал своего рода поэтическим историком характеров и страстей Прованса, правда, описывая его нравы и обычаи под углом зрения идеализируемой им патриархальной старины. Провансу посвящены лучшие его рассказы, объединенные в книгу «Письма с моей мельницы», вышедшую в 1869 году.

Франко-прусская война пробудила в аполитичном Додэ патриотические чувства, и он вступил в пехотный полк. Рассказы из эпохи 1870—1871 годов собраны в двух книгах, вышедших в 1873 и 1874 годах. Шумный успех имели «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872) — остроумное, полное искрометного юмора, трагикомическое изображение фанфаронства жителей южной Франции. Похождения Тартарена разрослись в трилогию: в 1888 году вышла вторая часть — «Тартарен в Альпах» и в 1890 году третья — «Порт Тараскон». «Малыш» вышел в 1868 году. В 1874 году вышел первый настоящий роман Додэ—«Фромон младший и Рислер старший». Отличаясь стройностью композиции и мастерскими характеристиками, он был премирован Французской академией и выдержал огромное количество изданий. Особенно блестяще обрисована хитрая и жестокая буржуазка (Сидони), и, как всегда у Додэ, даны яркие типы из мира литературно-артистических неудачников (Делобель и др.). Затем следуют один за другим романы: «Джэк» (1876), «книга скорби, гнева и иронии», как писал автор в своем посвящении Флоберу, «Набоб» (1877), «Короли в изгнании» (1879) «Нума Руместан» (1881), «Евангелистка» (1883), «Сафо» (1884), «Бессмертный» (1888) — довольно злая сатира на академическую науку, «Роза и Ниnета» (1892), «Маленький приход» (1895), «Опора семьи» (1896). Кроме того, им написаны несколько пьес, не удержавшихся на сцене, и две книги воспоминаний. В 1885 году Додэ заболел (воспалением спинного мозга), что привело к параличу ног. Умер он 16 декабря 1897 года.

Все романы Додэ посвящены описанию нравов Второй империи и Третьей республики. Его легитимистские настроения позволили ему сохранить известное критическое отношение к обоим режимам и видеть некоторые язвы буржуазного общества — продажность, суетность, развращенность, которые, конечно, не расцвели бы таким пышным махровым цветом, думалось ему, при «законном порядке» его католического величества. «Жалость» к бедноте, ко всем страдающим, ко всем неудачникам—из того же источника. В «доброе старое время» жилось, по утверждению

легитимистов, лучше, проще. И оглядываясь назад, на это отдаленное прошлое, смотря на него сквозь дымку поэтической идеализации, в это верили не только легитимисты— бессеребренники типа Элизе Меро и некоторые слои разоряемой, пауперизируемой капитализмом мелкой буржуазии но и их романист Альфонс Додэ.

*

Как и остальные его современники-реалисты, Додэ собирал материал, факты действительности, «писал с натуры», как он говорит в своих воспоминаниях. Но он верен действительности, главным образом, в деталях, в передаче характерных жизненных черточек, в изображении быта, и не всегда поднимается до типического обобщения; некоторые его персонажи недостаточны в самом главном, в самом существенном, в том, что делает их социальными типами. Ради морали он порою искажает внутреннюю правду образа. Великолепно обрисован, например, Жансуле («Набоб»), но он не показан как капиталист-хищник. Белизэр («Джэк») — трогательный образ, внешне блестяще обрисован, но в нем слишком много от диккенсовского добродетельного персонажа. Однако в образах Сидонии и Делобеля («Фромон»), Иды и д'Аржантона («Джэк»), Сафо (в одноименном романе) и всей группы литературно-артистической богемы (в нескольких романах) даны типические характеры, обрисованные с четкостью индивидуализации.

Из всей группы французских реалистов последней трети XIX века Додэ — наименее «объективный», наименее «бесстрастный наблюдатель». Самая специфика его стиля— лиризм и ирония—не оставляет никакого места для объективизма, даже мнимого. Французские реалисты семидесятых—восьмидесятых годов вовсе не были бесстрастны, безыдейны, а тенденциозны, и именно в энгельсовском понимании. В их произведениях тенденция не «навязывается читателю», а «вытекает из ситуации и действия сама по себе». (Письмо Ф. Энгельса к Минне Каутской.)

Додэ называли французским Диккенсом, и последний сам считал его своим преемником на французской почве. «Малыш» и «Джэк», конечно, близкие родственники «Давида Копперфильда». В «Фромоне» также много сцен и положений, напоминающих диккенсовские романы. Но главное, конечно, не во внешнем сходстве, а в трактовке, в близости мировоззрений и мироощущений, в одинаковом восприятии вещей и явлений, в том, что сам Додэ называет «сродство умов». Действительно, идеологическое род-

ство дало сходство в стилях, в манере, в подходе к материалу. Однако влияние Стендаля и особенно Флобера, влияние французской литературной традиции сказалось в том, что Додэ гораздо более сдержан, и там, где у Диккенса потоки слез, мелодраматические сцены или длиннейшие отступления—авторские негодующие инвективы, у Додэ его личное отношение выражается преимущественно в тоне, оттенке, интонации, акценте. Оба писателя стремились сгладить, затушевать социально-классовые противоречия и примирить неимущих с жестокой для них действительностью. Плохи не капиталисты, не социальный строй и вся система общественных отношений, а отдельные богачи и отдельные исполнители. Не социальные условия создают те или иные обстоятельства, а «судьба», дурные люди, собственная вина. «Злые» герои совершают всякие мерзости не потому, что они следуют своей классовой природе, отстаивают свои классовые интересы, осуществляют свою эксплоататорскую или угнетательскую функцию, а исключительно потому, что они родились «нехорошими». Всецело оставаясь на почве частно-собственнических отношений, они противопоставляют классовой борьбе своего времени идеализированные патриархальные нравы, «доброе старое время» с «отеческим попечением» о малых сих. Не следует желать многого, надо «честно» трудиться, мирно жить в кругу своей семьи и только ради нее, плодиться и размножаться — таков их идеал, «классический» идеал мелкой буржуазии середины XIX века.

Оба обладали острой наблюдательностью. Тщательно накопляя впечатления, запоминая малейшие отличительные признаки, они выработали своеобразную поэтическую манеру образного отражения виденного и наблюденного. Каждый человек у них обладает своим характерным жестом, характерным словом. Как и у Диккенса, романы Додэ построены на параллелях, в каждом из них выведены контрастные типажи и ситуации, отрицательным противопоставляются положительные персонажи, ситуации и обстановка. Оба они чувствуются между строками своих произведений, постоянно присутствуют в книге, то сожалея о своих героях, то насмехаясь над ними. Под их пером все одушевляется, окрашивается, становится интенсивнее. Оба с особой нежностью относятся к так называемому «мелкому люду», к несчастным детям, ко всему слабому, обиженному «судьбою». Безропотные Белизэры и Жаки («Малыш»)—по Додэ (и Диккенсу) — настоящие герои повседневной жизни. «Меня часто сравнивали с Диккенсом,—пишет Додэ, вспоминая свою работу над рома-

ном «Фромон младший и Рислер старший», — даже в том раннем периоде моей литературной деятельности, когда я еще не читал его». «Я чувствую в своем сердце ту же любовь, что питал Диккенс к бедным и обездоленным, к детям, терпящим нужду и лишения и проводящим юные годы среди сутолоки больших городов. Подобно ему, я вступал в жизнь при тяжелых обстоятельствах, подобно ему, должен был зарабатывать свой хлеб, когда мне не было еще шестнадцати лет». У обоих, наконец, горький и в то же время веселый, примиряющий юмор. Юмор — выражение автором оценки своих героев и событий. И, как и у Диккенса, юмор Додэ, подчиненный основной идеологической установке, имеет двоякую социальную функцию — смягчать темные стороны действительности и, в положительных образах, идеализировать эту действительность. У обоих, столь родственных писателей, не пустое зубоскальство, не остроумные «словечки», а комизм положений и характеров.

Но одно особенно отличает Додэ от Диккенса. Последний—оптимист. Все его положительные герои и счастливые концовки, где добру и злу воздается по заслугам, порок всегда наказывается, а добродетель торжествует, лишены жизненной правды, надуманы, нетипичны. Изображаемые характеры: то — воплощенная добродетель, то — чернейший порок. Этого нет у Додэ. Вы не встретите у него злодеев и ангелов из старинной мелодрамы. Его персонажи обрисованы со всеми присущими им психологическими противоречиями; у него более правильное, более тонкое распределение света и тени, более реалистическая ретушь, и пессимизм его гораздо более оправдан, нежели диккенсовский оптимизм. Мелкая буржазия в тупике, ее положение безвыходно, в развивающемся капиталистическом обществе она — класс обреченный, осужденный на пролетаризацию и люмпенпролетаризацию. Гибель ее закономерна; для нее, как класса, типичны неустойчивость, неудачи, несчастья, а вовсе не диккенсовские рождественские идиллии у тихой пристани достигнутого, по воле автора, личного благополучия.

Додэ создал оригинальную галерею индивидуализированных типов. Но это не Рислер, не Жансуле («Набоб»), не Фениган («Маленький приход»), не Джэк и даже не Нума Руместан, а их окружение, персонажи второго плана, разновидности ratés, гиены и шакалы, паразиты, мелкие хищники, дающие собирательное лицо буржуазно-авантюристической Второй империи и Третьей республики.

Для обозначения особой категории богемы его времени, актеров без ангажемента, поэтов без издателей, врачей без диплома и практики, и разного прочего люда без определенных занятий или устойчивого положения, опустившихся, но полных самомнения, жажды успеха и весьма неразборчивых в средствах, Додэ употребляет одно коротенькое слово raté, которое им же пущено в широкий литературный оборот. В большом словаре Ларуса под rat s объясняются люди, «обладающие больше претензиями, чем талантом, и остающиеся бесплодными». Виллат («Парижское арго») говорит, что «raté—это непризнанный талант, человек ошибившийся в выборе своего призвания и пошедший по ложной дороге (см. роман А. Додэ «Джэк»)». Русское слово «неудачник» полностью не выражает всего содержания понятия «raté». Это — богема, но не столько молодежь, легко переносящая невзгоды и лишения настоящего, веря в будущее, сколько плешивая, седобородая богема, тот интеллигентный и полуинтеллигентный люмпен-пролетариат, подонки, отребье, отбросы всех классов общества, та накипь, которая, как говорит Маркс в «Восемнадцатом брюмера», составила «кадры» обер-raté Луи Бонапарта: «авантюристы выродившиеся отпрыски буржуазии, бродяги, беглые каторжники, мошенники, фигляры, шулеры, игроки, сводни, содержатели домов терпимости, литераторы и т. д.—словом, здесь была представлена вся та неопределенная, распущенная, шатающаяся из стороны в сторону масса, которую французы называют богемой. Но не контрреволюционность этой богемы — «отбросов всех классов»—возмущает Додэ, а беспорядочность, «несолидность ее пустозвонного образа жизни. Оставаясь и в условиях парижской жизни высокого социального накала провинциальным мещанином, он, проведя несколько лет в близком соприкосновении с этой безыдейной, беспринципной, опустившейся и внутренне опустошенной богемой, возненавидел (вместе с тем жалея) ее как отрицание семейственности, домашнего уюта, размеренного образа жизни, добропорядочного поведения, согласно правил прописной морали. Как и Диккенс, он все коллизии и драмы объясняет только двумя причинами: либо личными качествами «неудачников», их характером, их злой волей, либо несправедливостью дурных людей. Он высмеивает свою, блестяще обрисованную несколькими меткими штрихами, ватагу непризнанных мнимых талантов, он внушает отвращение к разным Аржантонам, Гиршам («Джэк»), Рожэ («Малыш») и т. п., но массу ratés он жалеет, как в сущности несчастных людей.

*

Содержание всех главнейших произведений Додэ определено одним и тем же противоречием, одним конфликтом: драмой мелкобуржуазного распада, крушения, кризиса. Драма эта вырастает из противоречия падающего, разлагающегося мелкобуржуазного уклада и торжествующего хищнического капитализма. Подобно Диккенсу, Додэ взволнованным, пропитанным горечью пером изображает гибель старозаветного мещанского уклада под напором капитализма. И отсюда его центральный образ — обреченных, погибающих, неприспособленных, не нашедших себя своего пути, непонятых, затравленных людей. В этом образе выражены все направляющие элементы восприятия автора. Жак, Данизль, Джзк, Рислер, Жансуле, Тартарен — все это неудачники. И это объединяет их с другим рядом, со всеми неудачниками от искусства, литературы и т. д. Первые — более или менее добродетельны, вторые—нравственные уроды, но, говорит Додэ, «нельзя не чувствовать глубокой жалости при виде лихорадочного блеска их опьяненных иллюзиями глаз, при виде этих измученных, изрытых морщинами лиц, где все разбитые мечты, все погибшие надежды наложили глубокие, неизгладимые следы» («Джзк»).

Ясно, что отрицательная характеристика капиталистического мира не может быть последовательной у Додэ, остающегося в пределах буржуазного мировоззрения и, кроме вздохов об идеализируемой старине, неспособного ничего противопоставить общественному порядку, обрекающему на гибель его героев. Но несмотря на половинчатость, робость, бесперспективность его критики, к тому же еще с ложных позиций, одну область — буржуазную политику—он обрисовал с разоблачающей яркостью («Набоб», «Опора семьи»). Здесь он порою поднимается до бичующей сатиры, как и в романе «Бессмертный», который является сатирой на официальную науку.

Протеже герцога де Морни, обласканный императрицей Евгенией, Додэ, однако, сохранил довольно прохладное отношение ко Второй империи. Но его отталкивал главным образом, грязно-авантюристический характер этого режима. Вторая империя—это развивающийся капитализм. Додэ, конечно, принимал капитализм, но ему хотелось, так сказать, патриархального капитализма, без развращения нравов, без «изнанки», капитализма добродетельного и «справедливого». «Законная» королевская власть Бурбонов в реминисценции представ-

лялась более здоровым порядком. И Додэ в эпоху Второй империи, вполне лояльный по отношению к властям предержащим, которым он стольким был обязан, сочувствует легитимизму. Таково и его отношение к буржуазной республике. Он готов примириться с нею, но хотел бы иметь республику без войн, без колониальной экспансии, без парламентаризма, республику, построенную на религиозно-нравственной основе, с простыми нравами и «отеческим попечением», заменяющим «борьбу за существование», главное же—без дурных людей. Он даже написал пьесу «Борьба за существование», направленную против вульгаризируемой и утрируемой им «теории Дарвина». Признавая за пьесой ряд достоинств, — и действительно это самое удачное драматическое произведение Додэ,—Лафарг, вместе с тем, зло высмеивает ее автора, который «хороший человек и не терпит дурных людей с тех пор, как перестал быть секретарем герцога де Морни, одного из величайших мерзавцев бонапартистской клики». (Здесь надо в некоторое оправдание Додэ заметить, что он вообще оказался «человеком неблагодарным», нарисовав в «Набобе» далекий от апологетики портрет своего бывшего покровителя.) Но это отрицательное отношение, хотя и с реакционных позиций, к буржуазной империи и к буржуазной демократии позволило Додэ дать относительно верную картину некоторых сторон современной ему действительности.

Еще Лафарг отметил, что произведения Додэ «приобретают притягательную силу благодаря эпизодическим персонажам» и «что детали, выхваченные из жизни, воспроизведены с утонченным искусством». В этих «деталях», в описаниях, характеристиках—все очарование Додэ. «Он обладает, если можно так выразиться, изумительным чутьем относительно мелких, безвестных драм, которыми кишит действительность»[1]. Он умеет выбирать детали, черты, жесты, слова, выражения, резюмирующие характер, рельефно выделяющие положение, запечатлевающие в памяти ситуацию.

Но некоторые персонажи Додэ в полном смысле слова обобщенные типы, и их имена должны были бы стать нарицательными. Образы Аржантона, Иды, («Джэк»). Делобеля, Монпавона («Набоб») и других, так же, как и Сафо,—высокие образцы изобразительного мастерства. «Додэ убедительно раскрывает их психику; его персонажи поступают так, как должны, их слова, жесты, поступки

[1] Jules Lemaître.—Les Contemporains. Deuxiéme série.

характерны. Эти образы — индивидуализированные типы; их переживания и судьбы типичны.

*

Идеал Додэ, как и Диккенса, честный труд на благо семьи. И все, что мешает осуществлению этого идеала, подвергается его осуждению. Но он обвиняет прежде всего самого индивидуума, его наклонности, неправильное поведение. Отсюда—центральный образ—неудачники, к которым, конечно, принадлежат и оба брата Эйсет в «Малыше».

В сущности «Малыш» не может быть назван автобиографическим романом. Додэ взял некоторые факты из своего детства, наделил Даниэля некоторыми чертами своего характера и Жака—чертами характера Эрнеста. Но судьба обоих персонажей романа не имеет ничего общего с ходом жизни, с триумфальным путем Альфонса Додэ и его брата Эрнеста, легитимистского журналиста, который, кстати сказать, не умер таким молодым, как Жак романа, а пережил его автора. Додэ умел хорошо изображать только действительно пережитое, виденное и наблюденное им. И самые прочувствованные страницы в «Малыше» посвящены самоотверженной любви Жака к своему «блудному» брату Даниэлю, неудачливому поэту.

Богема выведена Додэ в серии рассказов «Жены художников» и в большинстве его романов. Он не перестает подчеркивать развращающее влияние этой среды, указывать на пагубность для всякого подлинного таланта «рассеянного образа жизни». С этой же дидактической целью написан им и «Малыш». И если допустить, что роман отчасти автобиографичен, придется признать, что Додэ отнесся к себе с беспощадной суровостью. Потому что в сущности Малыш — мало привлекательная фигура. Он бесхарактерен, застенчив, робок. Его жалкое положение в коллеже, где его изводят дети помещиков и презирают дипломированные преподаватели, вызывает к себе сочувствие. Но он наивен до глупости, эгоистичен, легкомыслен и преспокойно живет на иждивении брата, безропотного вьючного животного. Его отталкивает «мещанка» в Камилле, но сам он мещанин до мозга костей. Смерть брата, его кормильца и няньки, повидимому, по замыслу автора, должна была переродить Малыша и направить его на путь истинный. Но это перерождение не проанализировано, не показано. Малыш заболевает (шок от смерти брата), три недели лежит без сознания, бредит и прихо-

дит в себя уже прозревшим, «раскаявшимся». Его отказ от «бессмысленных мечтаний», от поэзии и славы вполне закономерен, вытекает из его психологии. Не имея никаких средств к существованию, безвольный и беспочвенный, он вынужден укрыться под крылышко Пьерота (стопроцентного диккенсовского персонажа) и «мещаночки Камиллы. И образ этого пустоцвета не внушал бы никаких симпатий, если бы автор не залил все повествование примиряющим светом своего мягкого юмора, смеха сквозь слезы.

Додэ намеренно сгущает краски в характеристике Малыша, рисуя тип безвольного, гипертрофированно наивного эгоиста-неудачника, наивного до «низости», как не раз подчеркивается в романе, и столь же намеренно рисует в Жаке еще бóльшего неудачника, безропотного «осла», как его называет отец и как он называет себя сам. Уже с самого детства его третируют, помыкают им, эксплоатируют его. Ему приходится подавлять в себе все стремления, порывы, всю жизнь писать под диктовку других, записывать чужие мысли или корпеть над сухими цифрами, тогда как он не лишен литературных интересов и способностей, работать по двенадцати часов в день для прокормления близких. Он несчастен в личной жизни, любимая девушка отвергает его, брат Даниэль (Малыш) паразитирует за его счет, обманывает его, причиняет ему одни только страдания. Всю свою недолгую неудачливую жизнь он думал только о своих близких — матери и брате, жертвуя для них всем, чем только мог, и, великодушный «трудолюбивый осел», умирает от переутомления.

Нужно отметить, что через весь роман проходят два своеобразные лейтмотива: наивность Даниэля, заставляющая его бессознательно делать «низости», и «ослиное» простодушие Жака.

Для чего понадобилось Додэ так исказить, «перевернуть» свою биографию? Для чего изображает он жизненный путь братьев Альфонса и Эрнеста Додэ таким безрадостным, несмотря на то, что роман писался в самую счастливую пору его жизни? (Уже признанный молодой писатель только что женился, и не на «мещаночке», а на высококультурной, литературно образованной, талантливой девушке.) Для того, чтобы на печальном примере, якобы собственного опыта, предостеречь молодежь от пагубных страстей, от забвения своего долга, переоценки своих сил, легкомыслия и суетности.

Этот первый роман Додэ не принадлежит к числу луч-

ших его произведений. Сам автор признавал в нем ряд недостатков, объясняя их тем, что «в двадцать пять лет человек еще не в состоянии спокойно взглянуть на прошлое, разобраться в своей жизни и хладнокровно изобразить ее». «Малыш» является только некоторым отзвуком моего детства и моей юности. В более зрелом возрасте я не постеснялся бы, например, остановиться на многих ребячествах раннего детства». Слишком скомканы также главы о Лионе, не дано лицо этого промышленного центра, а главное—«излагая события моей жизни, я ничего не сказал о тех религиозных кризисах, которые так жестоко волновали Малыша в возрасте от десяти до двенадцати лет, о возмущении его против всего, к чему надо было относиться со слепой верой» («Тридцать лет парижской жизни»). В романе пришибленный Даниэль Эйсет только по бесхарактерности попадает в дурную компанию, и то— уже семнадцатилетним юношей. Между тем, его оригинал отнюдь не отличался такой пришибленностью Поэтому Додэ в тех же своих воспоминаниях справедливо говорит: «Как мог я, рисуя Малыша, ничего не сказать о том бешеном порыве, который внезапно овладел им на тринадцатом году, об охватившей его властной потребности жить, растрачивать себя, вырваться из атмосферы печали и слез, в которой задыхались его родители. Южный темперамент и долго сдерживаемое воображение обусловили превращение нежного, робкого мальчика в смелого и страстного, готового на всякие безумства. Он пропускал уроки в школе, проводил свои дни на реке среди лодок, барок, буксиров и пароходов, под дождем, с трубкой в зубах и графинчиком абсента в кармане, подвергаясь сотни раз смертельной опасности... Но несмотря на утомление и всякого рода опасности, он чувствовал какую-то дикую радость, попадая в эту сутолоку, все существо его дышало свободнее и горизонт становился светлее ...

Но уже в этом первом романе Додэ выражена направляющая идея всего его творчества, намечается основная, стержневая тема Его тема — неудачники всех классов, возрастов и разновидностей, его задача — разоблачение всякой богемы и всех условий, мешающих торжеству его мещанского семейственного идеала. В «Малыше» он дает заглянуть в пошлый мирок провинциальной полубогемы и беглыми штрихами рисует ту парижскую литературно-артистическую среду, широкую картину нравов, характеров и типов которой он дает позднее в других романах. Идеолог-моралист мелкой буржуазии, он на протяжении всей своей литературной деятельности будет клеймить

чванную вырождающуюся аристократию, авантюристов всех мастей — делового мира, политики науки и искусства и, идеализируя мещанские добродетели, будет защищать «маленьких людей», честное и трудолюбивое мещанство. В «Малыше» одна из лучших глав — «Дело Букуарана», где Додэ скупыми словами, сдержанно, но достаточно убедительно разоблачает низкопоклонство школьного начальства перед местным аристократом. Бесподобна также и не лишена глубокого смысла, разоблачающего классовую мораль, сцена приезда в коллеж супрефекта специально для того, чтобы довести до сведения школьного начальства, что учитель императорского коллежа унизился до писания любовных писем горничной.

Додэ относился с недоверием как ко Второй империи, так и к Третьей республике. Поэтому как художник он сохранил известную дистанцию по отношению к обоим режимам. И познавательная ценность его произведений бесспорна. Он раскрыл ряд отрицательных сторон современной ему действительности и показал безвыходность положения мелкой буржуазии в капиталистическом обществе, неизбежно вносящем разложение во все свои клеточки.

Б. Гимельфарб

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I
ФАБРИКА

Я родился 13 мая 18... года в одном из городов Лангедока, где, как и во всех южных городах, много солнца, немало пыли, есть монастырь кармелиток и два или три памятника римской эпохи.

Отец мой, господин Эйсет, вел в то время торговлю фуляровыми тканями и имел на окраине города большую фабрику, в одном из флигелей которой, в тени платанов, он устроил себе удобное жилище, отделенное от мастерских огромным садом. Там я родился и провел первые, единственно счастливые, годы моей жизни. Моя преисполненная благодарности память сохранила о фабрике, саде и платанах неизгладимое воспоминание, и когда, после того как мы разорились, мне пришлось с ними расстаться, я грустил по ним, как по живым существам.

Начиная свое повествование, я должен сказать, что мое рождение не принесло счастья дому Эйсет. Старая Анну́, наша кухарка, часто рассказывала мне впоследствии, что мой отец, бывший в то время в отъезде, получил одновременно два известия: о моем появлении на свет

и об исчезновении одного из своих марсельских клиентов, увезшего с собой более сорока тысяч франков его денег. Господин Эйсет, в одно и то же время и счастливый и убитый горем, не знал плакать ли ему об исчезновении своего марсельского клиента, или смеяться, радуясь появлению на свет маленького Даниэля... Вам нужно было плакать, мой добрый господин Эйсет, плакать о том и о другом!

Я, действительно, был несчастной звездой моих родителей. С самого дня моего рождения на них со всех сторон стали сыпаться невероятные несчастья. Сначала этот марсельский клиент, потом два пожара на фабрике в течение одного года, потом стачка навивальщиц, потом наша ссора с дядей Батистом, затем разорительный для нас судебный процесс с поставщиками красок и, наконец, революция 18..., которая нанесла нам последний удар.

С этих пор фабрика зачахла и мастерские мало-помалу опустели: каждую неделю убавляли по одному ткацкому станку; каждый месяц один из набивных станков переставал работать. Тяжело было видеть, как жизнь уходила из нашего дома, точно из больного организма, — медленно, каждый день понемножку. Сначала перестали работать в помещениях второго этажа, потом опустели мастерские на заднем дворе. Так продолжалось два года. В течение двух лет фабрика медленно умирала. Наконец, настал день, когда уже не явился ни один рабочий; фабричный колокол умолк; колеса колодца перестали скрипеть; вода в больших чанах, в которых промывали ткани, застыла в неподвижности; и скоро на всей фабрике не осталось никого, кроме господина и госпожи Эйсет, старой Анну, моего брата Жака и меня, да там, на заднем

дворе оставался еще для охраны мастерских привратник Коломб и его сынишка, по прозванию «Рыжик».

Все было кончено. Мы разорились.

Мне было тогда шесть или семь лет. Я рос очень хилым, болезненным мальчиком, и мои родители не хотели отдавать меня в школу. Моя мать научила меня только чтению и письму, нескольким испанским словам и двум-трем ариям на гитаре, создавшим мне среди домашних славу «чудо-ребенка». При такой системе воспитания я почти никогда не выходил с фабрики и мог наблюдать во всех подробностях агонию дома Эйсет. Должен признаться, что это зрелище оставляло меня холодным, и я даже находил в нашем разорении ту приятную сторону, что мог теперь бегать и прыгать в любое время по всей фабрике, что раньше, когда она работала, разрешалось только по воскресеньям. Я с важностью говорил Рыжику: «Фабрика теперь моя; мне ее дали для игры». И маленький Рыжик верил мне. Он верил всему, что я говорил ему, этот глупец!

Но не все члены нашей семьи так легко отнеслись к разорению. Господина Эйсета оно страшно озлобило. Он вообще был очень вспыльчив, несдержан, любил метать громы и молнии; прекраснейший в сущности человек, он порой давал волю рукам и, обладая зычным голосом, испытывал непреодолимую потребность заставлять трепетать всех окружающих. Несчастье не сломило его, а только раздражило. С утра до вечера он кипел негодованием и, не зная, на кого бы его излить, обрушивался на все и на всех: на солнце, на мистраль, на Жака, на старую Анну, на революцию... О! на революцию в особенности! Послушав моего отца,

вы поклялись бы, что нас разорила именно революция 18..., что она была направлена специально против нас. И уж можете мне поверить, что этим революционерам порядком доставалось в доме Эйсет. Чего только ни говорилось у нас об этих господах! Даже и теперь, всякий раз, когда старый папа̀ Эйсет (да сохранит его мне господь!) чувствует приближение приступа подагры, — он с трудом укладывается на свою кушетку и мы слышим, как он кряхтит: «Ох, уж эти революционеры!»...

В то время, о котором я рассказываю, у Эйсета еще не было подагры, но горе от сознания, что он разорен, сделало его таким свирепым, что к нему никто не смел подступиться. В течение двух недель пришлось дважды пускать ему кровь. Вблизи него все умолкали; его боялись. За столом мы шопотом просили хлеба. При нем не смели даже плакать. Зато стоило ему только куда-нибудь уйти, как по всему дому раздавались рыдания: моя мать, старая Анну́, мой брат Жак и даже старший брат, аббат, если ему случалось в это время быть у нас,— все принимали в этом участие. Мать плакала, думая о несчастьях, постигших Эйсетов; аббат и старая Анну́ плакали, глядя на слезы госпожи Эйсет, а Жак, еще слишком юный, чтобы понять наши несчастья (он был только на два года старше меня), — плакал в силу присущей ему потребности плакать,— ради удовольствия.

Странный ребенок был мой брат Жак. Вот уж кто, действительно, обладал даром слез! Сколько я его помню, я всегда видел его с красными глазами и мокрыми от слез щеками. Утром, днем, вечером, ночью, в классе, дома, на прогулках — он плакал везде, плакал беспрерывно. Когда его спрашивали: «Что с тобой?»

он отвечал, рыдая: «Ничего». И удивительнее всего то, что с ним, действительно, ничего не было. Он плакал так же, как другие сморкаются, только чаще, вот и все. Порой Эйсет, выведенный из себя, говорил матери: «Этот ребенок просто смешон! Посмотри на него... точно река!» На что госпожа Эйсет кротко отвечала: «Что делать, мой друг! С годами это пройдет; в его возрасте я была такой же». Но время шло, Жак рос, и рос даже очень сильно, но *«это»* не проходило. Наоборот: удивительная способность этого странного мальчика беспричинно проливать потоки слез с каждым днем все развивалась. В этом отношении разорение наших родителей было для него большой удачей... Вот уж когда он мог позволить себе рыдать в свое удовольствие целыми днями, зная, что никто его не спросит: «Что с тобой?»

В общем, для Жака так же, как и для меня, наше разорение имело свою хорошую сторону.

Я был по-настоящему счастлив. Никто не обращал на меня внимания, и, пользуясь этим, я целыми днями играл с Рыжиком в опустевших мастерских, где наши шаги раздавались гулко как в церкви или в больших заброшенных дворах, поросших травой. Этот Рыжик, сын привратника Коломба, был толстый двенадцатилетний мальчик, сильный как бык, преданный как собака и глупый как гусь. Он обращал на себя всеобщее внимание своими огненно-красными волосами, которым и был обязан своим прозвищем: «Рыжик». Должен, однако, сказать, что для меня он не был Рыжиком; для меня он был поочередно то моим верным Пятницей, то целым племенем дикарей, то взбунтовавшимся экипажем судна, — словом всем, чем только угодно. Да и я сам тоже не был Дани-

элем Эйсетом. Я был тем удивительным, покрытым звериными шкурами, человеком, о приключениях которого я узнал из подаренной мне книжки. Я был самим Робинзоном Крузо. Восхитительная иллюзия! По вечерам, после ужина я перечитывал своего «Робинзона», заучивал эту историю наизусть, а днем изображал ее; изображал с увлечением, со страстью и все, что меня окружало, вводил в свою игру. Фабрика была для меня уже не фабрикой: она была моим пустынным — абсолютно пустынным! — островом; бассейны исполняли роль океана, сад был девственным лесом. В платанах жило множество кузнечиков, и они тоже принимали участие в представлении, сами того не подозревая.

Рыжик тоже не отдавал себе отчета в важности исполняемой им роли, и, если бы его спросили, кто такой был этот Робинзон, он очень затруднился бы на это ответить. Тем не менее, он прекрасно справлялся со своей задачей, и другого такого подражателя реву дикарей трудно было бы найти. Где он этому научился — не знаю. Знаю только, что страшный рев, который он извлекал из глубины своего горла, потрясая при этом своей рыжей гривой, заставил бы содрогнуться самых храбрых. Даже у меня, Робинзона, порой замирало сердце, и я не мог удержаться, чтобы не прошептать: «Не так громко, Рыжик! Мне страшно!»

Но если Рыжик так искусно подражал крикам дикарей, то еще лучше он умел повторять бранные слова уличных мальчишек, клясться и божиться, как они. Играя с ним, я тоже всему этому научился, и однажды, за столом, при всех, сам не знаю как, у меня с языка сорвалось страшное ругательство. Все оцепенели. «Кто выучил тебя этому?!. Где ты это слышал?!.»

целое событие. Господин Эйсет немедленно предложил отдать меня в исправительное заведение; мой старший брат, аббат, сказал, что прежде всего меня надо послать на исповедь, так как я уже достаточно сознательный мальчик. И меня повели на исповедь... Дело было нешуточное. Надо было извлечь из всех уголков своей совести целую кучу старых грехов, валявшихся там в течение семи лет. Я две ночи не спал, думая об этих проклятых грехах! Их набралась целая охапка! Сверху я положил самые маленькие, но все равно, — другие все-таки были видны, и, когда, стоя на коленях в маленькой обшитой дубом исповедальне, мне пришлось все это выкладывать священнику-францисканцу,— я думал, что умру от страха и стыда...

Все было кончено: я больше не хотел играть с Рыжиком. Я знал теперь,—св. Павел сказал, а священник-францисканец повторил мне это,— что дьявол вечно бродит вокруг нас, точно лев — «quaerens quem devoret». О, это quaerens quem devoret!», какое впечатление оно произвело на меня!.. Я узнал также, что этот интриган Люцифер принимает по желанию самые различные образы для того, чтобы искушать нас, и я не мог отделаться от мысли, что он принял облик Рыжика для того, чтобы выучить меня богохульствовать! Вот почему моей первой заботой по возвращении на фабрику было предупредить Пятницу, что с этих пор ему надлежало сидеть у себя дома. Бедный Пятница! Это приказание разрывало ему сердце, но он безропотно подчинился. Иногда я видел его грустно стоящим у дверей сторожки, неподалеку от мастерских; заметив, что я смотрю на него, бедняга, чтобы тронуть меня, испускал самый страшный рев, потрясая своей огненно-рыжей гривой. Но чем громче он рычал,

тем больше я сторонился его. Мне казалось, что он похож на этого знаменитого льва — quaerens. «Уходи! Мне страшно смотреть на тебя!» — кричал я ему.

В течение нескольких дней Рыжик упрямо продолжал реветь и рычать, пока, наконец, его отец, которому надоели дома все эти крики, не отправил его рычать к мастеру, и с тех пор я его больше не видел.

Но мое увлечение Робинзоном не охладевало ни на минуту. Как раз около того времени моему дяде Батисту надоел почему-то его попугай, и он отдал его мне. Этот попугай заменил мне Пятницу. Я поместил его в красивой клетке, в глубине моей зимней резиденции, и чувствовал себя более чем когда-либо Робинзоном Крузо, проводя целые дни с глазу на глаз с этим интересным представителем царства пернатых и заставляя его произносить: «Робинзон! Бедный мой Робинзон!» Но представьте себе, что этот попугай, которого дядя Батист отдал мне, чтобы избавиться от его несмолкаемой болтовни, сделавшись моей собственностью, упрямо отказывался говорить и не только не произносил: «Бедный мой Робинзон!», но вообще ничего не говорил. Я не мог добиться от него ни одного слова! Но, несмотря на это, я его любил и очень о нем заботился.

Так мы жили, я и мой попугай, в полнейшем уединении, до того утра, когда произошло нечто совершенно необыкновенное. В этот день я рано покинул свою хижину и, вооруженный до зубов, отправился обследовать свой остров... Вдруг я увидел вдали группу из трех или четырех человек, двигавшихся по направлению ко мне, причем все они очень громко разговаривали и энергично жестикулировали. Боже пра-

ведный! Люди на моем острове! Я едва успел броситься за олеандровый куст,—ползком, на животе. Они прошли мимо, не заметив меня. Мне показалось, что я узнал голос привратника Коломба, и это меня немного успокоило; но все равно, как только они удалились, я вышел из своей засады и, держась от них на почтительном расстоянии, последовал за ними, чтобы посмотреть, что из всего этого выйдет...

Незнакомцы оставались на моем острове очень долго... Они исходили его вдоль и поперек и осмотрели во всех подробностях. Я видел, как они входили в мои гроты и тросточками измеряли глубину моих океанов. По временам они останавливались и покачивали головой. Я больше всего боялся, как бы они не открыли моих убежищ... Что бы со мной тогда было, о, боже! К счастию, этого не случилось, и через какие-нибудь полчаса эти люди, наконец, ушли, не подозревая того, что этот остров был обитаем. Как только они удалились, я заперся в одной из своих хижин и в течение дня не раз спрашивал себя, кто же были эти люди и для чего они приходили?

Увы, я очень скоро узнал это.

Вечером, за ужином господин Эйсет торжественно объявил нам, что фабрика продана и что через месяц мы всей семьей переедем в Лион, где и будем жить.

Это было страшным ударом для меня. Мне показалось, что рушится небо... Фабрика продана!.. Ну, а как же мой остров, мои гроты, мои хижины?!.

Увы, господин Эйсет продал все—и остров, и гроты, и хижины... Приходилось расстаться со всем этим. Боже, как я плакал!..

В течение месяца, в то время как дома укла-

дывали большие зеркала и посуду, я в полном одиночестве уныло бродил по моей милой фабрике. Мне было не до игры. Нет, нет!! Я заходил во все свои любимые уголки и, глядя на окружавшие меня предметы, беседовал с ними, как с живыми существами... Я говорил платанам: «Прощайте, дорогие друзья!» и бассейнам: «Кончено, мы не увидимся больше». В глубине двора росло большое гранатовое дерево; его красивые пунцовые цветы распускались на солнце... Рыдая, я сказал ему: «Дай мне один из твоих цветков». И я взял у него цветок и спрятал его у себя на груди на память о нем. Я был очень несчастен.

Но в постигшем меня горе я находил и некоторое утешение: меня занимала мысль о путешествии на пароходе и радовало позволение взять попугая с собой. Я говорил себе, что Робинзон покинул свой остров почти при таких же условиях, и это придавало мне мужество.

Наконец наступил день отъезда. Господин Эйсет уже около недели жил в Лионе. Он уехал раньше с большим багажом. Я отправился с Жаком, с матерью и со старой Анну́. Старший брат, аббат, не переезжал с нами в Лион, но он проводил нас до Бокэрского дилижанса. Провожал нас также и привратник Коломб. Он шел впереди всех, подталкивая перед собой громадную тачку, нагруженную вещами. За ним следовал мой брат, аббат, под руку с госпожой Эйсет.

Мой бедный аббат! Мне не суждено было более увидеть его.

Старая Анну́ шла за ними, вооруженная огромным синим зонтиком и держа за руку Жака. Он был очень рад переезду в Лион, но это не мешало ему всю дорогу заливаться слезами. В хвосте колонны важно выступал Даниэль Эй-

сет, неся в руках клетку с попугаем и оборачиваясь на каждом шагу, чтобы взглянуть на свою милую фабрику.

По мере того как караван удалялся, гранатовое дерево вытягивалось изо всех сил, чтобы посмотреть ему вслед через высокую стену, окружавшую сад... В знак прощанья платаны шевелили своими ветвями. Растроганный Даниэль Эйсет посылал им всем поцелуи — посылал украдкой, кончиками пальцев.

Я покинул свой остров 30 сентября 18... года.

ГЛАВА II
ТАРАКАНЫ

О, впечатления детства! Какую неизгладимую память оставили вы в моей душе! Мне кажется, что это путешествие по Роне было только вчера. Я как сейчас вижу пароход, пассажиров, пароходную команду; слышу шум колес и свисток машины... Фамилия капитана была Женьес, старшего повара — Монтелимар. Такие вещи не забываются!

Переезд длился три дня. Все эти три дня я провел на палубе, спускаясь вниз только для того, чтобы есть и спать. Все остальное время я проводил на носу парохода, около якоря. Там висел большой колокол, который звонил, когда мы входили в какую-нибудь гавань; я садился около этого колокола на кучу канатов, ставил клетку с попугаем у ног и смотрел. Рона была так широка, что только с трудом можно было разглядеть ее берега. Но мне хотелось, чтобы она была еще шире, чтобы она называлась морем! Небо сияло; вода в реке была совсем зеленая; большие барки плыли вниз по течению; судовщики, сидя верхом на мулах, с песнями

переправлялись через реку вброд, совсем близко от нас. По временам пароход проплывал мимо какого-нибудь тенистого острова, густо заросшего тростником и ивами. «О! пустынный остров!»—восклицал я мысленно, пожирая его глазами...

К концу третьего дня мне показалось, что начинается буря: небо внезапно потемнело, густой туман повис над рекой; на носу парохода зажгли большой фонарь. Признаюсь, все эти симптомы меня взволновали. Но как раз в эту минуту кто-то произнес около меня: «Вот и Лион», и одновременно с этим загудел большой колокол. Мы приехали в Лион.

Вдали, в тумане мерцали огни на обоих берегах реки. Мы проплыли сначала под одним мостом, потом под другим, и всякий раз при этом огромная труба парохода сгибалась вдвое и извергала клубы черного дыма, вызывавшего кашель... На палубе поднялась страшная суматоха. Пассажиры разыскивали свои чемоданы, матросы ругались, выкатывая в темноте бочонки. Шел дождь...

Я поспешил разыскать мать, Жака и старую Анну́, которые были на другом конце парохода, и скоро мы все четверо, прижавшись друг к другу, стояли под громадным зонтиком Анну́, в то время как пароход медленно двигался вдоль набережной. Вскоре началась высадка пассажиров на берег.

Право, если бы господин Эйсет не пришел встретить нас, мне кажется, мы никогда не выбрались бы оттуда. Он разыскивал нас ощупью в темноте. «Кто здесь? Кто здесь?»—кричал он. «Друзья»,—отвечали мы на этот знакомый возглас, отвечали все четверо сразу с чувством невыразимого облегчения и счастья. Господин

Эйсет наскоро расцеловал нас, взял меня с Жаком за руки, сказал женщинам «Следуйте за мной!», и мы двинулись в путь!.. О, это был настоящий мужчина!

Мы пробирались с трудом; ночь уже наступала; на палубе было скользко; на каждом шагу приходилось наталкиваться на какие-то ящики... Вдруг с конца парохода до нас донесся пронзительный жалобный голос: «Робинзон! Робинзон!»

— Ах, боже мой!—воскликнул я, пытаясь высвободить свою руку из руки отца; но он, думая, что я поскользнулся, только еще крепче сжал мои пальцы.

Опять раздался тот же голос, звучавший теперь еще пронзительнее, еще жалобнее: «Робинзон! Бедный мой Робинзон!» Я сделал новую попытку высвободить руку: «Мой попугай, — кричал я, — мой попугай!»

— Как, теперь он говорит?— спросил Жак.

Говорит ли он? Странный вопрос! Его было слышно за целую милю... Растерявшись, я забыл его там, на самом конце парохода, около якоря, и он звал меня теперь оттуда, крича изо всех сил: «Робинзон! Робинзон! Бедный мой Робинзон!»

К несчастью, мы были далеко, капитан Женьес кричал: «Торопитесь!»...

— Мы придем за ним завтра,—сказал Эйсет,— на пароходах ничего не пропадает.

И, несмотря на мои слезы, он увлек меня с собой. Увы! На следующий день послали за попугаем, но уже не нашли его... Можете себе представить мое отчаяние... Ни Пятницы, ни попугая! Без них не могло быть и самого Робинзона! Да и мыслимо ли, даже при самом большом желании, создать пустынный остров в

четвертом этаже грязного и сырого дома на улице Лантерн?

О, этот ужасный дом!!. Всю жизнь я буду его помнить: грязная, скользкая лестница, двор, похожий на колодец, привратник — он же сапожник, — расположившийся со своими инструментами у самой водопроводной трубы... Все это было отвратительно...

В первый же вечер нашего приезда старая Анну́, устраиваясь в кухне, закричала вдруг отчаянным голосом:

— Тараканы! Тараканы!!

Мы все сбежались. Какое зрелище представилось нам!.. Кухня была полным полна этих отвратительных насекомых. Они были повсюду: на стенах, в ящиках, на камине, в буфете... Нельзя было сделать ни шага, чтобы не наступить на них. Фу!.. Анну́ многих уже раздавила, но чем больше она их уничтожала, тем больше их прибывало. Они являлись из отверстия водопроводной трубы; отверстие это заткнули, но на следующий вечер они снова явились неизвестно откуда. Специально для их истребления пришлось завести кошку, и теперь каждую ночь в кухне происходила ужасающая бойня.

Эти тараканы заставили меня возненавидеть Лион с первого же вечера нашего приезда. На следующий день было еще хуже... Пришлось освоиться с новыми обычаями, изменить часы завтраков и обедов... Булки имели здесь другую форму, чем у нас, и их называли «венками». Вот уж действительно название!

В мясных лавках всякий раз, когда Анну́ просила, чтобы ей дали карбонад, мясник смеялся ей в лицо; он не знал, что такое карбонад, этот дикарь!.. До чего все это раздражало меня!

По воскресеньям, чтобы немного развлечься, мы, всей семьей, вооружившись дождевыми зонтиками, отправлялись гулять по набережным Роны. Инстинктивно мы всегда двигались по направлению к югу, к Перрашу. «Мне кажется, что мы здесь ближе к нашим краям»,— говорила моя мать, тосковавшая еще больше, чем я... Эти семейные прогулки были довольно унылы. Господин Эйсет ворчал, Жак все время плакал, а я по обыкновению шел позади всех; не знаю почему, но я стыдился показываться на улице,— вероятно, потому, что мы были бедны.

Через месяц Анну̀ заболела. Туманы ее убивали. Пришлось отправить ее на юг. Эта бедная девушка, страстно любившая мою мать, не хотела расставаться с нами. Она умоляла, чтобы мы ее не отсылали, обещала не умирать. Пришлось насильно усадить ее на пароход. Очутившись на юге, она с горя вышла там замуж.

После отъезда Анну̀ другой прислуги в дом не взяли, и это казалось мне верхом несчастья. Жена привратника исполняла самую тяжелую работу, а моя мать обжигала у плиты свои прелестные белые руки, которые я так любил целовать. Закупки же делал Жак. Ему давали в руки большую корзину и говорили: «Купишь то-то и то-то». Он покупал все очень хорошо, но, разумеется, всегда при этом плакал.

Бедный Жак! Он тоже не был счастлив. Господин Эйсет, видя его вечно в слезах, не взлюбил его и щедро угощал тумаками... То и дело слышалось: «Жак, ты осел! Жак, ты дурак!» Дело в том, что в присутствии отца Жак совершенно терялся, и усилия, которые он делал, чтобы удержать слезы, безобразили его. Страх делал его глупым. Господин Эйсет был его

злым роком. Вот послушайте хотя бы историю с кувшином.

Однажды вечером, садясь за стол, заметили, что в доме не было ни капли воды.

— Если хотите, я схожу за водой,— предлагает услужливый Жак. И с этими словами он берет кувшин, большой фаянсовый кувшин.

Господин Эйсет пожимает плечами.

— Если пойдет Жак,— говорит он,— кувшин будет непременно разбит.

— Слышишь, Жак,—говорит своим кротким голосом госпожа Эйсет.—Смотри, не разбей его, будь осторожен.

Господин Эйсет продолжает:

— Ты можешь сколько угодно повторять ему, чтобы он его не разбил,— все равно он его разобьет.

Тут раздается плачущий голос Жака:

— Но почему же вы непременно хотите, чтобы я его разбил?

— Я не хочу, чтобы ты его разбил, я говорю только, что ты его разобьешь,— отвечает Эйсет тоном, не допускающим возражений.

Жак не возражает. Дрожащей рукой он берет кувшин и стремительно уходит с таким видом, точно хочет сказать:

«А! я его разобью?!. Ну, посмотрим!»

Проходит пять минут, десять минут... Жака все нет. Госпожа Эйсет начинает беспокоиться.

— Только бы с ним чего не случилось!

— Чорт побери! Что же может с ним случиться?—говорит ворчливо Эйсет.— Разбил кувшин и боится вернуться домой.

Но, произнеся эти слова сердитым тоном, господин Эйсет, добрейший в мире человек, встает из-за стола и подходит к двери, чтобы посмотреть, что сталось с Жаком. Ему не нужно итти

далеко: Жак стоит на площадке лестницы перед самой дверью, с пустыми руками, безмолвный, окаменевший от страха. При виде отца он бледнеет и слабым, надрывающим душу голосом произносит: «Я разбил его!..»

Да, он его разбил!..

В архивах дома Эйсет эпизод этот называется «Историей с кувшином».

Через два месяца после нашего переезда в Лион родители стали подумывать о нашем образовании. Отец охотно отдал бы нас в коллеж, но это должно было стоить чересчур дорого. «А не послать ли их нам в церковную школу? – предложила госпожа Эйсет. — Детям там как будто хорошо». Эта мысль понравилась отцу, и так как ближайшей к нам церковью была церковь Сен-Низье, то нас и отдали в церковную школу Сен-Низье.

Это была очень веселая школа! Вместо того чтобы набивать нам головы греческими и латинскими словами, как в других учебных заведениях, нас учили служить за обедней, петь антифоны, класть земные поклоны и красиво кадить, что, собственно, очень нелегко. Правда, иногда несколько часов посвящалось склонениям и сокращенной священной и всеобщей истории, но все это были лишь побочные занятия. На первом месте стояло обучение церковной службе. Раза два в неделю, не реже, аббат Мику торжественно объявлял нам между двумя понюшками табаку: «Завтра, господа, утренние уроки отменяются: мы на похоронах».

На похоронах! Какое счастье! Кроме того, бывали еще крестины, свадьбы, приезд в школу его преосвященства, причащение больного. О, это предсмертное причастие! Как гордились те из нас, кто участвовал в перенесении св. ча-

ши!.. Священник шел под красным бархатным балдахином, неся в руках чашу со св. дарами. Двое маленьких певчих поддерживали балдахин, двое других шли по обеим сторонам с большими золочеными фонарями в руках. Пятый шел впереди, размахивая трещоткой. Обычно это было моей обязанностью. По пути следования св. даров мужчины снимали шляпы, женщины крестились. Когда проходили мимо гауптвахты, часовой кричал: «Под ружье!» Солдаты сбегались и выстраивались. «На караул!»— командовал офицер... Ружья бряцали, барабаны били... Я трижды потрясал своей трещоткой, как при Sanctus'е, и мы двигались дальше.

Да, это была веселая школа! У каждого из нас хранилось в маленьком шкафчике полное облачение церковного служителя: черная с длинным шлейфом ряса, пелерина, стихарь с широкими туго накрахмаленными рукавами, черные шелковые чулки, две камилавки—одна суконная, другая бархатная — и брыжжи, обшитые мелкими белыми бусами,— словом, все, что требовалось.

Костюм этот был мне, повидимому, к лицу. «Он в нем такой милашка»,— говорила госпожа Эйсет.

К несчастью, я был очень мал ростом, и это приводило меня в отчаяние. Представьте себе, что, даже приподнявшись на цыпочки, я был не выше белых чулок Кадюффа, нашего швейцара; к тому же я был очень тщедушен... Однажды за обедней, перенося евангелие с одного места на другое, я упал под тяжестью этой книги и растянулся на ступеньках алтаря. Аналой сломался, служба была прервана. Это было в троицын день. Какой скандал!.. Но помимо этих незначительных неудобств, сопряженных с мо-

им маленьким ростом, я был очень доволен своей судьбой, и часто, ложась вечером спать, мы с Жаком говорили друг другу: «А ведь это очень веселая школа!» К несчастью, нам недолго пришлось пробыть там: друг нашей семьи, ректор одного из южных университетов, написал моему отцу, что если он хочет получить стипендию для одного из своих сыновей в Лионском коллеже, то это можно будет устроить.

— Мы поместим туда Даниэля,— сказал господин Эйсет.

— А Жак?— спросила мать.

— Жак? Я оставлю его при себе. Он будет моим помощником. Тем более, что я замечаю в нем склонность к торговле. Мы сделаем из него коммерсанта.

Совершенно не понимаю, на каком основании господин Эйсет решил, что Жак имеет пристрастие к торговле?! В те времена бедный мальчик имел только одно пристрастие — к слезам, и если бы его спросили...

Но его, как и меня, не спросили ни о чем.

Когда я пришел в коллеж, мне прежде всего бросилось в глаза то, что среди учеников я был единственный в блузе. В Лионе дети богатых людей в блузах не ходят. Их носят одни только уличные мальчишки. На мне же была простенькая клетчатая блузка, сшитая еще во время моего пребывания на фабрике. Значит, у меня был вид уличного мальчишки... При моем появлении в классе ученики захихикали: «Смотрите! Он в блузе!!» Учитель скорчил гримасу, и с этого момента он не взлюбил меня. Он говорил со мною каким-то пренебрежительным тоном, никогда не называя меня по имени: «Эй, вот вы там... малыш...» А между тем я раз двадцать повторял ему, что меня зовут Даниэлем Эй-се-том... В конце концов

мои товарищи тоже стали называть меня Малышом, и это прозвище так и осталось за мной. Проклятая блуза!

Но не одна только блуза отличала меня от других детей... У всех у них были красивые сумки из желтой кожи, чернильницы из душистого букса, тетради в толстых переплетах. Книги у них были новенькие с примечаниями внизу страниц, а у меня старые, подержанные, купленные у букинистов, покрытые плесенью, пахнувшие гнилью; корешки были всегда разорваны, и порой в них нехватало многих страниц. Жак старательно переплетал их с помощью картона и клейстера, но последним он чересчур злоупотреблял, отчего все они отвратительно пахли. Он смастерил мне также сумку с бесчисленными отделениями, очень удобную, но опять-таки злоупотребил клеем. Потребность клеить и переплетать превратилась у Жака в какую-то манию, как и его привычка плакать. Перед нашей печкой всегда красовалось множество маленьких горшочков с клеем, и, как только ему удавалось убежать из магазина, он клеил и переплетал. В остальное время он разносил по городу пакеты, писал под диктовку, ходил за провизией, словом, занимался «коммерцией».

А я... я скоро понял, что если вы стипендиат, носите блузу и называетесь «Малышом», то вам нужно работать вдвое больше, чем другим, для того чтобы с ними сравняться. И Малыш действительно мужественно принялся за работу.

Молодец Малыш! Я вижу его зимой в нетопленной комнате, сидящим с закутанными в одеяло ногами за рабочим столом. На дворе мелкий снег бьет по стеклам окон; из магазина доносится голос господина Эйсета, диктующего:

«Я получил ваше почтенное письмо от 8-го этого месяца».

И слезливый голос Жака, повторяющий:

«Я получил ваше почтенное письмо от 8-го этого месяца».

Иногда дверь тихонько отворялась и в комнату входила госпожа Эйсет. Она на цыпочках подходила к Малышу. Тсс!..

— Работаешь? — спрашивала она вполголоса.

— Да, мама.

— Тебе не холодно?

— О, нет!

Малыш лгал: ему было очень холодно. Тогда госпожа Эйсет садилась около него со своим вязаньем и сидела так часами, считая шопотом петли и по временам глубоко вздыхая.

Бедная госпожа Эйсет! Она постоянно думала о своих родных краях, которые не надеялась больше увидеть. Увы! На свое и на наше несчастье ей суждено было очень скоро увидеть их...

ГЛАВА III
ОН УМЕР. МОЛИТЕСЬ ЗА НЕГО!

Это было в понедельник, в июле месяце.

Выйдя из коллежа, я дал соблазнить себя игрой в горелки, а когда решился, наконец, пойти домой, то оказалось, что час был гораздо более поздний, чем я предполагал. Всю дорогу, от площади Терро до улицы Лантерн, я бежал, не останавливаясь, с книгами за поясом и шапкой в зубах. Но так как я страшно боялся отца, то на лестнице остановился на минуту передохнуть и придумать какую-нибудь историю, чтобы оправдать мое опоздание. Затем я храбро позвонил.

Дверь мне отворил сам господин Эйсет.

— Как ты поздно! — сказал он.

Дрожа от страха, я начал выкладывать свою ложь, но он не дал мне кончить и, прижав меня к груди, молча поцеловал долгим поцелуем.

Я ожидал по меньшей мере строжайшего выговора, а потому такая встреча меня удивила. Первой моей мыслью было, что у нас обедает священник из церкви Сен-Низье, так как я по опыту знал, что в такие дни меня никогда не бранили. Но, войдя в столовую, я увидел, что ошибся. На столе было только два прибора: мой и отца.

— А мама? А Жак? — спросил я с удивлением.

— Мама и Жак уехали, Даниэль. Твой брат, аббат, очень болен, — сказал Эйсет непривычно мягким для него голосом.

Но, заметив, что я побледнел, он, чтобы успокоить меня, прибавил почти весело:

Это я только так сказал *очень* болен; в действительности же нам сообщили только, что он в постели. Но ведь ты знаешь свою мать? Она захотела непременно к нему поехать, и я дал ей в провожатые Жака... В общем, ничего серьезного... А потому садись и будем есть, я умираю от голода.

Я молча сел за стол, но сердце мое сжималось, и я с большим трудом удерживался от слез при мысли, что мой старший брат, аббат, очень болен. Мы грустно пообедали, сидя друг против друга и не говоря ни слова. Отец ел быстро, пил большими глотками, потом внезапно останавливался и о чем-то задумывался... Я же сидел неподвижно на конце стола, точно оцепенев от горя. Я вспоминал все те интересные истории, которые рассказывал мне аббат,

когда приезжал к нам на фабрику... Видел как он отважно приподнимал свою рясу, чтобы перепрыгнуть через бассейн... Мне вспоминалась также его первая обедня, на которой присутствовала вся наша семья. Как он был красив, когда, повернувшись к нам лицом и воздев руки, произносил: «Dominus vobiscum» таким мягким голосом, что госпожа Эйсет плакала от радости!.. И я себе представлял его теперь лежащего в постели, больного, — да, очень больного, я это чувствовал. И что еще больше усиливало мое огорчение, это — угрызения совести, внутренний голос, твердивший мне: «Бог тебя наказывает. Это твоя вина! Нужно было прямо из коллежа итти домой. Не следовало лгать». И полный страха при мысли, что бог, чтобы наказать меня, пошлет смерть брату, я в отчаянии говорил про себя: «Я никогда, никогда не буду больше после школы играть в горелки».

После обеда зажгли лампу. Надвигался вечер. Господин Эйсет разложил на скатерти среди остатков десерта свои толстые конторские книги и вслух проверял счета. Кошка Финэ, истребительница тараканов, грустно мяукая, бродила вокруг стола... Я открыл окно и облокотился на подоконник...

Уже совсем стемнело. Было душно... Слышно было, как внизу люди смеялись и болтали, стоя у дверей своих домов; издалека, с форта Луаяс слабо доносился барабанный бой... Прошло несколько минут. Я не двигался с места и, глядя куда-то в темноту, предавался грустным мыслям, как вдруг резкий звонок оторвал меня от окна. Я с ужасом взглянул на отца, и мне показалось, что на его лице промелькнуло выражение такого же мучительного волнения и страха, какие

охватили в эту минуту меня. Этот звонок испугал и его.

— Звонят!.. — сказал он мне почти шопотом.

— Останьтесь, папа! Я отворю сам...

И я бросился к двери.

На пороге стоял какой-то человек. Я с трудом разглядел его в темноте. Он протягивал мне что-то, чего я не решался взять...

— Телеграмма! — сказал он.

— Телеграмма? Боже! Что это значит?..

Я взял ее, дрожа от волнения, и собирался уже захлопнуть дверь, но мужчина придержал ее ногой и холодно сказал:

— Нужно расписаться.

Расписаться! Я этого не знал. Это была первая телеграмма в моей жизни.

— Кто это там, Даниэль? — закричал господин Эйсет дрожащим голосом.

— Так... нищий, — ответил я и, сделав человеку знак подождать меня, побежал в свою комнату, ощупью обмакнул перо в чернильницу и вернулся обратно.

— Распишитесь вот здесь, — сказал почтальон.

Дрожащей рукой, при свете горевших на лестнице ламп, Малыш расписался; потом запер дверь и вошел в столовую, спрятав телеграмму под блузу.

Да, я спрятал тебя под блузой, тебя, вестницу несчастья! Я не хотел, чтобы господин Эйсет увидел тебя, так как заранее знал, что ты принесла нам что-то страшное, и потому, когда я потом распечатал тебя, ты не сказала мне ничего нового. Слышишь, телеграмма?! Ты не сказала мне ничего такого, чего мое сердце не угадало заранее...

— Это был нищий? — спросил отец, пристально глядя на меня.

— Да, нищий, — ответил я, не краснея.

И, чтобы рассеять его подозрения, снова занял мое место у окна.

Я просидел так некоторое время, не произнося ни слова, не двигаясь, прижимая к груди эту бумажку, которая меня жгла.

Я старался хладнокровно рассуждать, успокаивал себя, говоря: «Как знать? Может быть, это добрая весть. Может быть, пишут, что он выздоровел...» Но в глубине души я ясно чувствовал, что это неправда, что я лгал себе самому, что телеграмма не сообщит нам о выздоровлении брата.

Наконец, я решился пойти в свою комнату, чтобы узнать всю правду. Не спеша, медленными шагами вышел я из столовой, но очутившись у себя, с лихорадочной поспешностью бросился зажигать лампу. Как дрожали мои руки, распечатывая эту вестницу смерти, и какими жгучими слезами обливал я ее, когда, наконец, распечатал!! Я двадцать раз перечел ее в надежде, что ошибся, — но, увы! Сколько я ее ни перечитывал и ни переворачивал, ища в ней какого-то иного смысла, я не мог заставить ее сказать ничего другого, кроме того, что она мне сказала и что я заранее знал:

«Он умер. Молитесь за него!»

Сколько времени я простоял так, плача перед раскрытой телеграммой, — не знаю. Помню только, что глаза мои горели и что я долго их промывал, прежде чем выйти из комнаты. Потом я вернулся в столовую, держа в своей маленькой, судорожно сжатой руке трижды проклятую телеграмму.

Что мне было делать? Как объявить ужасную весть отцу?.. Какое непростительное ребячество

заставило меня скрыть это от него? Немного позже, немного раньше, — разве он не узнал бы? Какое это было безумие! По крайней мере, если бы я отдал ему телеграмму сразу же, как только ее принесли, мы вместе распечатали бы ее, и теперь все было бы уже кончено.

Мучимый этими вопросами, я подошел к столу и сел около отца. Бедняга только что закрыл свои конторские книги и бородкой пера щекотал белую мордочку Финэ. Сердце сжалось у меня при виде этого. Доброе лицо отца, слабо освещенное лампой, порой оживлялось, он улыбался, и мне хотелось крикнуть: «О, нет, нет! Не смейтесь, пожалуйста, не смейтесь!!»

И вот, в то время как я грустно смотрел на него, сжимая в руке телеграмму, господин Эйсет неожиданно поднял голову, и наши взгляды встретились. Не знаю, что он прочел в моих глазах, знаю только, что лицо его внезапно исказилось, из груди его вырвался громкий крик, и душу раздирающим голосом он спросил меня: «Он умер?.. Да?..» Телеграмма выскользнула у меня из рук, рыдая бросился я ему на шею, и мы долго, долго плакали, сжимая друг друга в объятиях, а у наших ног Финэ играла с телеграммой, с этой ужасной вестницей смерти, причиной всех наших слез!..

Верьте мне — я не лгу. Все это было давно, очень давно. Мой дорогой аббат, которого я так любил, давно уже спит в сырой земле... Но и теперь еще, всякий раз, когда я получаю телеграмму, я без дрожи ужаса не могу ее распечатать. Мне все представляется, что я прочту в ней: *«Он умер! Молитесь за него!»*

ГЛАВА IV
КРАСНАЯ ТЕТРАДЬ

В старинных требниках встречаются наивные, раскрашенные картинки, на которых богоматерь изображена с глубокой морщиной на каждой щеке, — божественным шрамом, которым художник как бы хочет сказать: «Посмотрите, как она плакала!!» Такую морщину — морщину слез, я увидел на похудевшем лице госпожи Эйсет, когда она, похоронив своего сына, вернулась в Лион.

Бедная мать! С этого дня она больше не улыбалась. Платья она носила теперь только черные, с лица ее не сходило выражение глубокой скорби. Себя и свое сердце она облекла в глубокий траур, который уж никогда больше не снимала... В остальном в доме Эйсетов все осталось попрежнему. Стало только немного более мрачно, вот и все. Священник церкви Сен-Низье отслужил несколько обеден за упокой души аббата; детям из старой блузы отца выкроили два черных костюма, и жизнь, печальная жизнь, потекла попрежнему.

Прошло порядочно времени со смерти нашего дорогого аббата, когда однажды вечером (мы уже собирались ложиться спать) я с удивлением увидел, что Жак запер нашу дверь на ключ, старательно заткнул в ней все щели и направился ко мне с торжественным и вместе с тем таинственным видом.

Нужно сказать, что после возвращения с юга в привычках нашего друга Жака произошла удивительная перемена. Во-первых, — но этому вряд ли кто поверит, — он больше не плакал или почти не плакал; во-вторых, его любовь к картонажному искусству почти совсем прошла. Маленькие горшочки с клеем время от вре-

мени еще придвигались к огню, но уже без прежнего увлечения, и теперь, когда нужна была какая-нибудь папка, приходилось молить о ней Жака чуть ли не на коленях... А картонка для шляп, уже более недели назад заказанная госпожой Эйсет, все еще не была закончена!.. Домашние этого не замечали, но я видел, что с Жаком творилось что-то странное. Несколько раз я заставал его в магазине; он разговаривал сам с собою и энергично жестикулировал. По ночам он не спал; я слышал, как он что-то бормотал сквозь зубы, потом вдруг вскакивал с постели и принимался расхаживать большими шагами по комнате... Все это было неестественно и пугало меня. Мне казалось, что Жак сходит с ума.

И в этот вечер, когда я увидел, что он запирает нашу дверь на ключ, мысль о сумасшествии снова пришла мне в голову, и на минуту мне стало страшно... Но бедный Жак не заметил моего испуга и торжественно, взяв мою руку в свои, проговорил:

— Даниэль, мне нужно сделать тебе одно признание, но прежде поклянись, что ты никогда никому об этом не скажешь.

Я сразу понял, что Жак не был сумасшедшим, и, не колеблясь, ответил:

— Клянусь тебе, Жак.

— Так вот! Ты ничего не знаешь?.. Тсс!.. Я сочинил поэму, большую поэму...

— Поэму, Жак?!. Ты сочиняешь поэму, — ты!?

Вместо ответа Жак вытащил из-под куртки огромную красную тетрадь, переплетенную им самим, на которой было написано его прекрасным почерком:

«Религия! Религия!»
ПОЭМА В ДВЕНАДЦАТИ ПЕСНЯХ
Сочин ние Эйсета (Жака)

Это было так грандиозно, что у меня закружилась голова.

Подумайте только!.. Жак, мой брат Жак, тринадцатилетний мальчик, вечно рыдавший и возившийся с горшочками клея, Жак сочиняет поэму в двенадцати песнях: «Религия! Религия!»

И никто не подозревал этого! И его продолжали посылать с большой корзиной в руках к зеленщикам за овощами! И отец, чаще чем прежде, кричал ему: «Жак, ты осел!»...

О, бедный, милый Эйсет (Жак)! С какой радостью бросился бы я вам на шею, если бы только смел! Но я не смел... Подумайте только: «Религия! Религия!» Поэма в двенадцати песнях!.. Однако справедливость заставляет меня сказать, что эта поэма в двенадцати песнях была далеко не окончена. Мне кажется даже, что готовы были только четыре первых стиха первой песни. Но вам ведь известно, что в работе этого рода самое трудное — начало, и Эйсет (Жак) имел полное основание сказать, что «теперь, когда мои первые четыре стиха готовы, — все остальное пустяки, вопрос времени»*.

Увы, это «остальное», которое было только «вопросом времени» — Эйсет (Жак) никогда так и не мог закончить... Что поделаешь? У каждой поэмы своя судьба, и, повидимому, судьба поэмы в двенадцати песнях: «Религия! Религия!» заключалась именно в том, чтобы в ней никогда

* Вот они эти четыре стиха, поразившие меня в тот вечер и переписанные прекрасным рондо из первой страницы красной тетради:

Вера! Религия! Вера!
Тайна! Чудное слово!
Глас небесного зова!
Милость, о милость без меры!

Не смейтесь над этими строками. Они стоили ему больших усилий.

не было этих двенадцати песен! Несмотря на все свои усилия, поэт так и не пошел дальше первых четырех стихов. В этом было что-то роковое. В конце концов несчастный мальчик, потеряв терпение, послал свою поэму к чорту и отпустил на все четыре стороны свою Музу (в то время еще говорили: Муза). В этот самый день возобновились его рыдания и маленькие горшочки с клейстером снова появились перед огнем... А красная тетрадь?.. У красной тетради тоже была своя судьба. «Я отдаю ее тебе, — сказал мне Жак. — Сделай с ней все, что тебе вздумается»... И знаете, что я с ней сделал? Я исписал ее своими стихами, чорт возьми, — стихами Малыша!! Жак заразил меня своим недугом.

А теперь, пока Малыш подбирает свои рифмы, мы — если читатель не будет иметь ничего против — перешагнем через четыре или пять лет его жизни. Мне хочется поскорее добраться до весны 18... года, память о которой до сих пор свежа в доме Эйсет. Такие незабываемые даты существуют во всех семьях.

К тому же этот период моей жизни, о котором я здесь умалчиваю, не представляет большого интереса для читателя. Это была старая песня: слезы и нищета, неудачи в делах, запоздалые платежи за квартиру, кредиторы, устраивающие сцены; бриллианты матери и серебро, заложенные в ломбарде; дыры на простынях, панталоны в заплатах, всякого рода лишения, ежедневные унижения, вечный вопрос о завтрашнем дне, дерзкие звонки судебных приставов, швейцар, который улыбается, когда мимо него проходят... А потом эти займы, опротестованные векселя, а потом... а потом...

И вот мы уже в 18... году.

В этом году Малыш заканчивал курс.

Это был, если память не изменяет мне, юноша с большими претензиями, всерьез считавший себя философом и поэтом; ростом же не выше сапога и без единого волоса на подбородке.

И вот однажды утром, когда этот великий философ-Малыш собирался уже итти в школу, Эйсет-отец позвал его в магазин и, как только он вошел туда, сказал ему резким голосом:

— Брось свои книжки, Даниэль, — ты не пойдешь больше в коллеж.

Заявив это, Эйсет-отец принялся расхаживать по магазину, не говоря ни слова. Он был, видимо, очень взволнован, и Малыш тоже, — могу вас в этом уверить... После долгого молчания Эйсет-отец опять заговорил.

— Даниэль, мой мальчик, — сказал он, — я должен сообщить тебе неприятную новость... да, очень неприятную... Нам придется расстаться друг с другом, и вот почему...

Но в эту минуту громкое, душу раздирающее рыдание раздалось за неплотно затворенной дверью.

— Жак, ты осел! — не повертывая головы, закричал господин Эйсет и потом продолжал:

— Когда шесть лет назад, разоренные революционерами, мы приехали в Лион, я надеялся, что упорным трудом смогу восстановить наше потерянное состояние. Но тут вмешался дьявол, и я только еще глубже, по самую шею влез в долги и в нищету... Сейчас все кончено, мы окончательно увязли... Чтобы выкарабкаться из беды, нам остается только одно: продать то немногое, что еще осталось, и, поскольку вы оба уже взрослые, начать — каждому из нас по-своему — самостоятельную жизнь.

Новое рыдание невидимого Жака прервало господина Эйсета, но он сам был так взволно-

ван, что на этот раз не рассердился и только сделал знак Даниэлю, чтобы тот закрыл дверь, и затем продолжал:

— Вот, что я решил: впредь до нового распоряжения, твоя мать отправится на юг к своему брату, дяде Батисту. Жак останется в Лионе, он получает здесь место в ломбарде. Я буду работать коммивояжером в Обществе виноделов... И тебе тоже, мое бедное дитя, придется самому зарабатывать свой хлеб... Я как раз только что получил письмо от ректора, в котором он предлагает тебе место репетитора в колледже. Вот, прочти.

Малыш взял письмо.

— Насколько я могу судить, — сказал он, не переставая читать, — я должен ехать, не теряя времени...

— Да, придется выехать завтра же.

— Хорошо, я поеду.

Сказав это, Малыш сложил письмо и твердой, недрогнувшей рукой вернул его отцу. Как видите, это был большой философ.

В эту минуту в магазин вошла госпожа Эйсет, а за ней робко следовал Жак... Они оба подошли к Малышу и молча его поцеловали; они уже со вчерашнего дня знали обо всем.

— Уложите его вещи, — резко проговорил господин Эйсет, — он поедет завтра утром с первым пароходом.

Госпожа Эйсет глубоко вздохнула, из груди Жака вырвался какой-то намек на рыдание, и это было все. В нашем доме начинали уже привыкать к несчастьям.

На следующий день после этого незабываемого вечера вся семья проводила Малыша на пароход. По странному совпадению это был тот самый пароход, который шесть лет тому назад

привез в Лион семью Эйсет. Капитан Женьес, старший повар Монтелимар!.. Разумеется, вспомнили и о дождевом зонтике Анну, и о попугае Робинзоне, и о некоторых других эпизодах, имевших место во время высадки... Эти воспоминания несколько оживили печальный отъезд и вызвали на губах госпожи Эйсет слабое подобие улыбки.

Но вот раздался звон колокола. Надо было уезжать.

Малыш вырвался из объятий своих друзей и храбро взошел по мостику на пароход.

— Будь благоразумен! — крикнул ему вслед отец.

— Не хворай! — проговорила госпожа Эйсет. Жак хотел что-то сказать, но он так плакал, что не мог произнести ни слова.

Малыш же не плакал, нет! Как я уже имел честь доложить вам, это был большой философ, а философам не полагается показывать, что они растроганы.

А между тем, один бог знает, как он любил эти дорогие ему существа, которых он оставлял там, за собою в утреннем тумане! Знает бог, как охотно отдал бы он за них свою жизнь... Но что поделаешь! Радость покинуть Лион, движение парохода, прелесть путешествия, гордость от сознания, что он уже взрослый, свободный, самостоятельный человек, который путешествует один и зарабатывает свой хлеб, — все это опьяняло Малыша и мешало ему долго останавливаться на мысли о трех дорогих ему существах, рыдавших там, на набережной Роны...

О, они не были философами, эти трое! Взглядом, полным глубокой тоски и нежности, они долго следили за астматическим ходом судна, и

когда черный султан его дыма казался уже только маленькой ласточкой на горизонте, они все еще кричали: «Прощай! Прощай!» и махали платками.

А в это время господин философ прохаживался взад и вперед по палубе, заложив руки в карманы и подставляя лицо свое ветру. Он насвистывал, лихо сплевывал, заглядывал под шляпы дам, наблюдал за управлением судна, играл плечами, находил себя неотразимым. Еще не доехали до Вьенн, а он уже успел сообщить старшему повару и двум поваренкам, что он поступил на службу по учебному ведомству и очень хорошо зарабатывает. Они поздравляли его, и он чувствовал себя довольным и гордым.

Разгуливая по палубе, наш философ наткнулся на лежавшую неподалеку от большого колокола груду канатов, на которых шесть лет тому назад просиживал долгие часы Робинзон Крузо, держа на коленях клетку с попугаем. Это воспоминание заставило его рассмеяться и слегка покраснеть.

«Как я, вероятно, был смешон, — подумал он,— со своей голубой клеткой и этим фантастическим попугаем...»

Бедный философ! Он и не подозревал тогда, что на всю жизнь был обречен так нелепо таскать за собой голубую, цвета иллюзии, клетку и зеленого, цвета надежды, попугая...

Увы! Сейчас, когда я пишу эти строки, бедный малый все еще продолжает носить с собой эту большую голубую клетку! Только лазоревая краска ее бледнеет с каждым днем, а зеленый попугай полинял и потерял уже больше половины своих перьев... Увы!..

По приезде в родной город Малыш прежде

всего отправился в Академию, где жил ректор.

Этот ректор, друг Эйсета-отца, был высокий красивый сухощавый старик, очень подвижной, без тени педантизма. Эйсета-сына он принял очень приветливо, но тем не менее не мог удержаться от жеста изумления, когда того ввели к нему в кабинет.

— Ах, боже мой! — воскликнул он: — какой же он маленький!

Дело в том, что Малыш действительно был до смешного мал ростом и казался совсем еще мальчиком, тщедушным мальчиком.

Восклицание ректора было для него ошеломляющим ударом. «Они не захотят меня принять», — подумал он, задрожав всем телом.

К счастью, точно угадав, что творилось в этой бедной маленькой голове, ректор продолжал:

— Подойди ко мне, мой мальчик... Так, значит, мы сделаем из тебя классного наставника?.. В твои годы, с твоим ростом и всей твоей внешностью — эта работа будет для тебя нелегка... Но раз это нужно, раз тебе необходимо зарабатывать, мы постараемся устроить все это как можно лучше... Для начала мы не поместим тебя в слишком большое заведение... Я отправлю тебя в коммунальную школу, находящуюся в горах, в нескольких льё отсюда... Там ты станешь настоящим человеком, привыкнешь к своей работе, вырастешь, и, когда у тебя на подбородке появится пушок, мы посмотрим, что делать дальше...

Говоря это, ректор писал записку директору Сарландского коллежа, рекомендуя ему своего протеже. Кончив письмо, он отдал его Малышу, посоветовав ему уехать в тот же день. Затем

дал ему несколько благих советов и дружески потрепал по щеке, обещая не терять его из виду.

Теперь мой Малыш спокоен и доволен. Он кубарем слетает с вековой лестницы Академии и, не переводя духа, бежит занять место в дилижансе, который отправляется в Сарланд.

Но дилижанс отправлялся только после полудня, надо ждать еще целых четыре часа. Малыш пользуется этим временем для того, чтобы пройтись по залитой солнцем эспланаде и показаться своим соотечественникам. Исполнив этот долг, он начинает подумывать о подкреплении своих сил и отправляется на поиски какого-нибудь кабачка, который был бы ему по карману... Как раз напротив казарм ему бросается в глаза небольшой кабачок, очень чистенький, с красивой новой вывеской:

«ПРИЮТ СТРАНСТВУЮЩИХ ПОДМАСТЕРЬЕВ»

«Вот это как раз для меня», — думает он и, после некоторого колебания (Малыш в первый раз в жизни собирается войти в ресторан), с решительным видом открывает дверь.

Кабачок в эту минуту совершенно пуст. Выбеленные известкой стены... Несколько небольших дубовых столиков... В одном углу длинные палки подмастерьев с медными наконечниками, украшенные разноцветными лентами... За стойкой, уткнув нос в газету, храпит какой-то толстяк.

— Эй, есть тут кто-нибудь, — кричит Малыш, стуча кулаком по столу жестом трактирного завсегдатая.

Сидящий за стойкой толстяк не считает нужным проснуться из-за такого пустяка; но из соседней комнаты выбегает трактирщица... Увидав нового посетителя, послан-

ного ей провидением, она громко вскрикивает:

— Праведное небо! Господин Даниэль!

— Анну! Старая моя Анну, — в свою очередь восклицает Малыш. И вот они уже в объятиях друг друга.

Да, да, это Анну, старая Анну, бывшая прислуга Эйсетов, а теперь трактирщица, мать «товарищей», жена Жана Пейроля, этого толстяка, который храпит там, за стойкой... И если бы вы знали, как она счастлива, эта славная Анну, как счастлива, что снова видит господина Даниэля! Как она его целует! Как обнимает! Как душит в своих объятиях!

Во время этих излияний сидящий за стойкой толстяк просыпается.

Сначала его немного удивляет горячность приема, оказываемого его женой юному незнакомцу, но когда он узнает, что этот молодой незнакомец не кто иной, как сам господин Даниэль Эйсет, Жан Пейроль краснеет от удовольствия и начинает услужливо суетиться возле знатного посетителя.

— Вы завтракали, господин Даниэль?

— Нет, не завтракал, добрейший господин Пейроль... Потому-то я и зашел сюда!

Боже правый!.. Господин Даниэль не завтракал!.. Скорей, скорей... Анну спешит в кухню; Жан Пейроль мчится в погреб, — славный погреб, по отзыву странствующих подмастерьев.

В один миг прибор поставлен, завтрак подан, — Малышу остается только сесть за стол и начать действовать... По левую его руку стоит Анну и режет ему тоненькие ломтики хлеба для яиц, — свежих, белых, нежных, как пух, яиц. По правую руку — Жан Пейроль наливает

ему старого Шато Неф'а, которое сверкает в его стакане, точно горсть рубинов. Малыш счастлив; он пьет как какой-нибудь тамплиер, ест как монах странноприимного ордена св. Воина, а между двумя глотками успевает еще сообщить о своем поступлении на службу по учебному ведомству, и о том, что это даст ему возможность честно зарабатывать свой хлеб. Нужно было слышать, каким тоном он произносит эти слова: *честно зарабатывать свой хлеб.* Старая Анну́ вне себя от восхищенья.

Энтузиазм Жана Пейроля не столь горяч. Он находит вполне естественным, что господин Даниэль зарабатывает свой хлеб, раз он в состоянии это делать. В возрасте господина Даниэля он, Жан Пейроль, уже около пяти лет странствовал один по белу свету и ни лиара не стоил своим родным. Напротив...

Вполне понятно, что почтенный трактирщик ни с кем не делится своими размышлениями. Осмелиться сравнивать Жана Пейроля с Даниэлем Эйсетом!.. Анну́ никогда не потерпела бы этого.

Малыш тем временем чувствует себя прекрасно. Говорит, пьет, ест; он оживлен, глаза его блестят, щеки пылают... О-ля! Хозяин! Несите скорее стаканы! Малыш желает чокнуться... Жан Пейроль приносит стаканы, и все чокаются. Сначала пьют за здоровье госпожи Эйсет, потом за здоровье господина Эйсет, потом за Жака, за Даниэля, за старую Анну́, за ее мужа, за университет... За что еще?..

Два часа проходят в этих излияниях и в болтовне. Говорят о мрачном прошлом, о розовом будущем. Вспоминают фабрику, Лион, улицу Лантерн, вспоминают бедного аббата, которого все так любили...

Но вот Малыш встает из-за стола. Пора ехать.

— Уже?!.— грустно говорит Анну.

Малыш извиняется: ему необходимо с кем-то повидаться перед отъездом. По очень важному делу... Как жаль! Было так хорошо. И сколько хотелось бы еще рассказать!.. Но разумеется, раз это нужно, раз господин Даниэль должен кого-то повидать, то его друзья из «Странствующего подмастерья» не будут его больше задерживать... Счастливого пути, господин Даниэль! Да хранит вас бог, дорогой наш хозяин! И уже выйдя на улицу, Жан Пейроль и его жена все еще продолжают напутствовать его своими пожеланиями.

А известно ли вам, между прочим, кто этот «тот», кого Малышу так хочется повидать перед своим отъездом из города?

Это — фабрика! Фабрика, которую он так любил и так оплакивал... Сад, мастерские, большие платаны... Все друзья его детства, радости первых лет его жизни... Что поделаешь? Сердце имеет свои слабости; оно может любить даже дерево, даже камни, даже фабрику... К тому же сама история говорит, что старый Робинзон, вернувшись в Англию, снова отправился в плаванье и сделал не одну тысячу льё для того, чтобы снова посетить свой пустынный остров.

Неудивительно поэтому, если Малыш прошел несколько лишних шагов, чтобы увидеть свой пустынный остров.

Высокие платаны, своими султанообразными макушками выглядывавшие из-за крыш домов, уже узнали своего старого друга, бежавшего к ним со всех ног. Издали они приветствуют его и наклоняются друг к другу, точно желая сказать: «Ведь это—Даниэль Эйсет! Даниэль Эйсет вернулся!!.»

И он спешит, спешит, но, дойдя до фабрики, останавливается, пораженный.

Перед ним высокие серые стены, из-за которых не выглядывают ни ветви олеандров, ни ветви гранатового дерева... Прежних окон нет,— одни только слуховые окошки... Нет и мастерских; вместо них—часовня. Над дверью большой крест из красного песчаника с латинской надписью вокруг...

Увы! Фабрики больше уже нет: она превратилась в монастырь кармелиток, куда мужчинам вход воспрещен!

ГЛАВА V
ЗАРАБАТЫВАЙ СВОЙ ХЛЕБ

Сарланд—небольшой городок в Севеннах, построенный в глубине узкой долины, окруженной горами точно высокой стеной. Когда в него проникает солнце, он превращается в раскаленную печь, а когда дует северный ветер—в ледник.

Вечером в день моего приезда, северный ветер, дувший с утра, продолжал неистовствовать, и хотя была уже весна, Малыш, сидевший на империале дилижанса, чувствовал, въезжая в город, как холод пробирает его до костей.

Улицы были темны и пустынны... На площади несколько человек в ожидании дилижанса расхаживали взад и вперед перед плохо освещенной конторой.

Спустившись с империала, я, не теряя ни минуты, попросил проводить меня в коллеж. Я торопился вступить в исполнение своих обязанностей.

Здание коллежа помещалось неподалеку от городской площади. Пройдя две или три широких

тихих улицы, человек, несший мой чемодан, остановился перед большим домом, в котором все, казалось, давным-давно уже вымерло.

— Вот здесь, — сказал он, поднимая дверной молоток.

Молоток тяжело опустился... дверь отворилась... Мы вошли.

С минуту я ждал в полутемных сенях. Носильщик положил на пол мой чемодан, я расплатился с ним, и он поспешно ушел... Массивная дверь тяжело захлопнулась за ним... Вслед за тем ко мне подошел заспанный швейцар с фонарем в руке.

— Вы, должно быть, новенький? — спросил он меня сонным голосом.

Он принял меня за ученика...

— Я совсем не ученик,—ответил я, гордо выпрямляясь,—я приехал сюда в качестве учителя; проведите меня к директору.

Швейцар был, повидимому, удивлен; приподняв слегка свою фуражку, он пригласил меня зайти на минутку в его комнату. Директор с учениками был в церкви. Меня проводят к нему, как только кончится вечерняя служба.

В каморке швейцара кончали ужинать. Высокий красивый малый с белокурыми усами тянул из стакана водку, сидя рядом с маленькой, худощавой, болезненного вида женщиной, желтой как айва, и закутанной до самых ушей в старую шаль.

— В чем дело, господин Кассань? — спросил малый с усами.

— Это новый учитель,—ответил швейцар, указывая на меня. — Господин такого маленького роста, что я было принял его за ученика.

— Дело в том,—сказал человек с усами, глядя на меня поверх своего стакана, — что у нас

есть ученики, которые не только выше ростом, но и старше, чем вы... Велльон старший, например.

— И Круза,— прибавил швейцар.

— И Субейроль,—сказала женщина.

Они стали разговаривать между собой вполголоса, уткнувшись носами в свою противную водку и искоса поглядывая на меня... С улицы доносился вой ветра и крикливые голоса учеников, певших в часовне молитвы.

Наконец, раздался звон колокола, и в вестибюле послышался шум шагов.

— Служба кончилась, — сказал мне господин Кассань, вставая: — Пойдемте к директору.

Он взял фонарь, и я последовал за ним.

Здание коллежа показалось мне необъятным... Бесконечные коридоры, громадные лестницы с железными узорчатыми перилами... Все очень старое, почерневшее, закопченное... Швейцар сообщил мне, что до 89 года в этом здании помещалось Морское училище, в котором насчитывалось около восьмисот учеников, принадлежавших к самым старинным дворянским семьям.

Пока он сообщал мне все эти ценные сведения, мы подошли к кабинету директора... Господин Кассань тихонько приоткрыл двойную, обитую клеенкой, дверь и два раза постучал по деревянной панели.

— Войдите,— ответил голос из комнаты, и мы вошли.

Это был очень большой рабочий кабинет, оклеенный зелеными обоями. В глубине за длинным столом сидел директор и писал при бледном свете лампы с низко опущенным абажуром.

— Господин директор,— сказал швейцар, подталкивая меня вперед,— вот новый классный

надзиратель, приехавший на место господина Серьера.

— Хорошо, — произнес директор, не оборачиваясь.

Швейцар поклонился и вышел. Я продолжал стоять посреди комнаты, теребя пальцами шляпу.

Кончив писать, директор обернулся ко мне, и я мог хорошо рассмотреть его маленькое, бледное, худое лицо, освещенное холодными бесцветными глазами. Он, в свою очередь, чтобы лучше меня разглядеть, приподнял абажур лампы и нацепил на нос пенсне.

— Да ведь это ребенок!— воскликнул он, привскочив в кресле.—Что я буду делать с ребенком?!.

При этих словах Малышом овладел безумный страх: он уже видел себя на улице без всяких средств... Он едва мог пробормотать два-три слова и передать директору рекомендательное письмо.

Директор взял письмо, прочел его, сложил, развернул, перечел еще раз и, наконец, сказал мне, что благодаря совершенно исключительной рекомендации ректора и из уважения к моей почтенной семье, он соглашается взять меня к себе, несмотря на то, что его пугает моя чрезмерная молодость. Потом он пустился в длинные рассуждения о важности моих новых обязанностей, но я его больше не слушал. Самым существенным было то, что меня не отсылали обратно. Меня не отсылали, и я был счастлив, безумно счастлив! Я хотел бы, чтобы директор имел тысячу рук и чтобы я мог их все перецеловать.

Страшный лязг железа остановил мой порыв. Я быстро обернулся и очутился перед высоким человеком с рыжими бакенбардами, неслышно во-

шедшим в кабинет. Это был инспектор коллежа.

Склонив набок голову, как на картине «Ecce Homo», он смотрел на меня с самой ласковой улыбкой, побрякивая связкой ключей всевозможных размеров, висевших на его указательном пальце. Эта улыбка расположила бы меня в его пользу, но его ключи бренчали так грозно: «дзинь! дзинь! дзинь!», что мне сделалось страшно.

— Господин Вио, — сказал директор, — вот заместитель господина Серьера.

Вио поклонился и улыбнулся мне самой обворожительной улыбкой. Но его ключи зазвенели со злобной иронией, точно желая сказать: «Этот маленький человечек — заместитель Серьера? Полноте! Полноте!»

Директор, так же как и я, понял, что сказали ключи, и прибавил со вздохом:

— Я знаю, что уход господина Серьера для нас страшная, почти незаменимая потеря (при этих словах ключи буквально зарыдали...), но я убежден, что если вы, господин Вио, возьмете нового репетитора под свое особое покровительство и поделитесь с ним своими драгоценными взглядами на преподавание, то порядок и дисциплина заведения не особенно пострадают от ухода господина Серьера.

Попрежнему ласковый и улыбающийся, господин Вио ответил, что я могу рассчитывать на его благосклонность и что он с удовольствием поможет мне своими советами. Но ключи его не были ко мне благосклонны. Нужно было только послушать, как они звенели и в бешенстве скрежетали: «Если ты только шевельнешься, жалкий глупец, — берегись!»

— Господин Эйсет, — закончил директор, — вы

можете теперь итти. Эту ночь вам придется провести еще в гостинице... Завтра в восемь часов утра будьте здесь... До свидания...

Жестом, полным достоинства, он отпустил меня.

Более чем когда-либо ласковый и улыбающийся, господин Вио проводил меня до двери и, прощаясь со мной, сунул мне в руку маленькую тетрадку.

— Это устав заведения,—сказал он:—прочтите и хорошенько поразмыслите.

Затем он открыл дверь и запер ее за мной, выразительно зазвенев ключами: «дзинь! дзинь! дзинь!»

Эти господа забыли посветить мне... Несколько минут я блуждал по большим совершенно темным коридорам, стараясь ощупью найти дорогу. Кое-где слабый свет луны проникал через решетку высокого окна и помогал мне ориентироваться. Вдруг во мраке галереи сверкнула блестящая точка, двигавшаяся мне навстречу... Я сделал еще несколько шагов, светящаяся точка увеличилась, приблизилась ко мне, прошла мимо, удалилась и исчезла. Это было точно видение, но как ни мимолетно оно было, я все же уловил малейшие его детали.

Представьте себе двух женщин, две тени... Одна старая, сморщенная, согнутая вдвое, с громадными очками на носу, закрывающими половину ее лица; другая молодая, стройная, легкая и тонкая, как все привидения, но с глазами, каких обычно не бывает у привидений — такими большими и такими черными... Старуха держала в руках маленькую медную лампочку. Черные глаза ничего не несли... Обе тени промелькнули мимо, быстрые, безмолвные, не видя меня, и долго после их исчезновения я все еще стоял

на том же месте под двойственным впечатлением очарования и страха.

Я ощупью продолжал свой путь, но сердце мое сильно билось, и я все видел перед собой во мраке страшную колдунью в больших очках, а рядом с нею Черные глаза...

Однако мне необходимо было найти пристанище на ночь, а это было дело нелегкое. К счастью, человек с белокурыми усами, который курил трубку в дверях швейцарской, пришел мне на помощь и предложил проводить в небольшую приличную гостиницу, не очень дорогую, где за мной будут ухаживать, как за принцем. Можете себе представить, с каким удовольствием я принял это предложение!

Мой спутник производил впечатление доброго малого. Я узнал дорогой, что его зовут Рожэ, что он учитель танцев, верховой езды, фехтования и гимнастики в Сарландском коллеже и что он долго служил в африканских стрелках. Это последнее обстоятельство окончательно расположило меня к нему. Детям свойственно любить военных. Мы расстались у входа в гостиницу, обменявшись крепким рукопожатием и обещанием сделаться друзьями.

А теперь, читатель, мне нужно сделать тебе одно признание,

Когда Малыш очутился один в холодной комнате, перед кроватью этой незнакомой и такой банальной гостиницы, вдали от тех, кого он любил,— сердце его не выдержало, и этот философ расплакался, как ребенок. Жизнь пугала его теперь. Он чувствовал себя слабым и безоружным перед нею и плакал, плакал... Но вдруг, среди слез, образ его близких пронесся перед его глазами; он увидел свой дом опустевшим, семью рассеянной по всему свету,—мать здесь,

отец там... Ни крова, ни домашнего очага!.. И, забыв свое личное горе, думая только об общем несчастьи, Малыш принял великое, благородное решение: собственными силами воссоздать дом Эйсет и восстановить семейный очаг. Гордый сознанием, что нашел благородную цель жизни, он отер слезы, недостойные мужчины и «восстановителя семейного очага», и, не теряя ни минуты, принялся за чтение устава господина Вио, желая поскорее ознакомиться со своими новыми обязанностями.

Этот устав, любовно переписанный рукою самого Вио, его автора, представлял собой настоящий трактат из трех частей:

1) обязанности репетитора по отношению к начальству;

2) обязанности репетитора по отношению к его коллегам;

3) обязанности репетитора по отношению к ученикам.

Там были предусмотрены все случаи, от разбитого оконного стекла до одновременного поднятия обеих рук во время занятий; все подробности жизни учителей и классных надзирателей были отмечены, начиная с их жалованья и кончая полубутылкой вина, на которую они имели право за каждой едой.

Устав кончался красноречивой тирадой, восхвалением всех этих правил; но, несмотря на все свое уважение к произведению господина Вио, у Малыша не хватило сил довести чтение до конца, и как раз на самом патетическом месте он заснул...

Эту ночь я спал плохо. Тысячи фантастических сновидений тревожили мой сон... То мне казалось, что я слышу ужасный звон ключей господина Вио: «дзинь! дзинь! дзинь!», то ста-

рая колдунья с большими очками садилась у моего изголовья, и я в испуге внезапно пробуждался; то Черные глаза (о! какие они были черные!) появлялись в ногах моей кровати и смотрели на меня с каким-то странным упорством...

На другой день в восемь часов утра я был уже в коллеже. Господин Вио, стоя в дверях со связкой ключей в руке, наблюдал за приходом экстернов и приветствовал меня самой ласковой улыбкой.

— Подождите в вестибюле,—сказал он мне,—когда ученики соберутся, я познакомлю вас с вашими коллегами.

Я стал расхаживать взад и вперед по вестибюлю, кланяясь чуть не до земли старшим преподавателям, которые, запыхавшись, пробегали мимо меня. Только один из этих господ ответил на мой поклон. Это был священник, преподаватель философии, «большой чудак», по словам господина Вио... Я сразу полюбил этого чудака.

Прозвонил звонок, классы наполнились... Четверо или пятеро молодых людей двадцати пяти или тридцати лет, плохо одетые, с бесцветными лицами, бежали по коридору и остановились как вкопанные при виде господина Вио.

— Господа,—проговорил инспектор, указывая на меня:—вот господин Даниэль Эйсет, ваш новый коллега.—Сказав это, он отвесил низкий поклон и удалился, как всегда улыбающийся, склонив голову набок и как всегда звеня своими ужасными ключами.

Мои коллеги и я молча рассматривали друг друга.

Первым заговорил самый высокий и толстый из них; это был господин Серьер, знаменитый Серьер, которого я должен был заместить.

— Чорт возьми, — вскричал он весело, — вот уж, правда, можно сказать, что учителя, как дни, следуют один за другим, но не походят друг на друга.

Это был намек на громадную разницу в росте между нами. Все рассмеялись, и я первый, но уверяю вас, что в эту минуту Малыш охотно продал бы свою душу дьяволу, чтобы только быть на несколько дюймов повыше.

— Это ничего, — прибавил толстый Серьер, протягивая мне руку, — хотя мы с вами и не подходим под одну мерку, мы все же можем распить вместе несколько бутылочек. Идемте с нами, коллега... Я угощаю всех прощальным пуншем в кафе «Барбет» и хочу, чтобы вы тоже присутствовали... Мы лучше познакомимся за стаканами.

И, не дав мне времени ответить, он взял меня под руку и увлек на улицу.

Кафе «Барбет», куда меня повели мои новые коллеги, находилось на плац-параде. Его посещали главным образом унтер-офицеры местного гарнизона, и при входе в него прежде всего бросалось в глаза множество киверов и портупей, висевших на вешалках...

В этот день отъезд Серьера и его прощальный пунш привлекли в кафе всех его «завсегдатаев».

Унтер-офицеры, с которыми меня познакомил Серьер, отнеслись ко мне очень радушно. Но, сказать по правде, появление Малыша не произвело большой сенсации, и я очень скоро был забыт в том углу залы, куда я, смущенный, удалился... Пока наполнялись стаканы, ко мне подсел толстый Серьер. Он был без сюртука и держал в зубах длинную глиняную трубку, на которой красовалось его имя, сделанное фарфо-

ровыми буквами. Весь учебный персонал школы имел в кафе «Барбет» такие же трубки.

— Ну, коллега, — сказал мне толстый Серьер, — как видите, в нашей профессии бывают и хорошие минуты... В общем, вы удачно попали, выбрав для своего дебюта Сарланд. Во-первых, абсент в кафе «Барбет» превосходен, а, во-вторых, там, в коробке вам будет не так уж плохо.

«Коробкой» он называл коллеж.

— У вас будет младший класс, шалуны мальчишки, которых надо держать в строгости. Вы увидите, как я великолепно их вышколил. Директор не злой человек, коллеги хорошие малые; вот только старуха и этот Вио...

— Какая старуха? — с трепетом спросил я.

— О, вы скоро узнаете ее. Во все часы дня и ночи ее можно встретить, шныряющей по коллежу с огромными очками на носу. Это тетка директора. Она исполняет здесь обязанности экономки. Ну, и ведьма! Если мы до сих пор не умерли с голоду, то это не по ее вине.

По этому описанию я узнал колдунью в очках и невольно покраснел. Раз десять я готов был прервать моего коллегу и спросить: «А Черные глаза»... Но я не осмелился. Говорить о Черных глазах в кафе «Барбет»!!.

Между тем, пунш совершал круговую; пустые стаканы наполнялись, полные осушались, раздавались тосты, возгласы: «о! о!», «а! а!», бильярдные кии мелькали в воздухе, все толкались, громко смеялись, сыпали каламбурами, делали друг другу признания.

Мало-помалу Малыш почувствовал себя смелее; он вышел из своего угла и со стаканом в руке, громко разговаривая, прохаживался по кафе.

Унтер-офицеры были теперь его друзьями. Одному из них он, не краснея, рассказал, что происходит из богатой семьи, но за свойственные молодым людям легкомысленные поступки изгнан из родительского дома; что он временно поступил на службу в коллеж для того, чтобы иметь средства к существованию, но что оставаться там долго он не собирается... Имея таких богатых родителей, понимаете...

Ах, если бы оставшиеся в Лионе могли его слышать в эту минуту!

Но, вот она, человеческая натура! Когда в кафе «Барбет» узнали, что я блудный сын, повеса, негодный мальчишка, а вовсе не бедный мальчик, обреченный нищетой на педагогическую деятельность, — все стали смотреть на меня другими глазами, и самые старейшие унтер-офицеры удостоили меня своим разговором. Больше того: перед уходом, Рожэ, учитель фехтования, с которым я накануне подружился, встал и предложил тост за Даниэля Эйсета. Представляете себе, как горд был Малыш!

Этот тост напомнил, что пора расходиться по домам. Было уже без четверти десять, и нужно было возвращаться в коллеж.

Человек с ключами ждал нас у входа.

— Господин Серьер, — сказал он моему толстому коллеге, шатавшемуся от выпитого им прощального пунша, — сейчас вы в последний раз поведете своих учеников в класс. Как только они все там соберутся, мы — директор и я — представим им нового классного надзирателя.

И действительно, спустя несколько минут директор, господин Вио и новый репетитор торжественно вошли в класс.

Все встали.

Директор представил меня ученикам и произ-

нес по этому поводу немного длинную, но полную достоинства речь; потом он удалился в сопровождении толстого Серьера, который все больше и больше пьянел от прощального пунша. Вио остался последним. Он не произносил никаких речей, но его ключи — «дзинь! дзинь! дзинь!» — говорили за него и говорили так злобно и угрожающе свое «дзинь! дзинь! дзинь!», что все головы попрятались под крышки пюпитров, и даже сам классный надзиратель почувствовал какое-то беспокойство.

Но как только страшные ключи скрылись за дверью, шаловливые детские рожицы показались из-за пюпитров, все бородки перьев очутились у губ, и блестящие, насмешливые, испуганные глазенки уставились на меня, в то время как взволнованный шопот пронесся от стола к столу.

Несколько смущенный, я медленно взошел на кафедру. Я попытался окинуть присутствующих свирепым взглядом, затем, усилив, насколько мог, свой голос, крикнул, стукнув два раза по столу:

— За работу, господа! За работу!

Так начал Малыш свой первый урок.

ГЛАВА VI
МЛАДШИЕ

Они не были злы, эти малыши; злыми были те, другие. Эти же никогда не делали мне ничего дурного, и я их очень любил, потому что школа не наложила еще на них своего отпечатка и вся душа их отражалась в глазах.

Я никогда не наказывал их. К чему? Разве наказывают птиц?.. Когда они щебетали слишком громко, мне достаточно было крикнуть:

«Тише!» и весь мой птичник сразу умолкал, — минут на пять, во всяком случае.

Самому старшему в классе было одиннадцать лет. Подумайте только — одиннадцать лет! А этот толстый Серьер хвастался, что он их «вышколил»!..

Я не пытался дрессировать их. Я старался быть с ними всегда добрым — только и всего.

Иногда, когда они вели себя хорошо, я им рассказывал какую-нибудь сказку... Сказка!.. Какое счастье! Они живо складывали тетрадки, закрывали книги; чернильницы, линейки, ручки для перьев — все как попало бросали в пюпитры, потом, скрестив руки на столе, широко раскрывали глаза и слушали. Я сочинил для них пять или шесть фантастических сказок: «Дебюты кузнечика», «Несчастья Жана-кролика» и др. Тогда, как и теперь, Лафонтен был моим любимым святым в литературном календаре, и все мои «истории» были пересказом его басен; я только прибавлял к ним некоторые эпизоды из моей собственной жизни. В них всегда играл роль бедный сверчок, вынужденный зарабатывать свой хлеб, подобно Малышу; божьи коровки, рыдавшие за склеиваньем папок, подобно Жаку Эйсету... Малышей все это очень забавляло; забавляло и меня самого. К несчастью, господин Вио не допускал подобных забав.

Три-четыре раза в неделю ужасный человек с ключами производил генеральный осмотр всего коллежа, чтобы убедиться, все ли там идет согласно требованиям устава... В один из таких дней он явился в мой класс как раз в самый трогательный момент рассказа о Жане-кролике. При появлении господина Вио весь класс вздрогнул. Дети в испуге переглянулись. Рассказчик сразу остановился. Жан-кролик так и замер с приподнятой лапкой, насторожив свои длинные уши.

Стоя у кафедры, улыбающийся господин Вио обводил удивленным взглядом опустевшие пюпитры. Он молчал, но его ключи свирепо звенели: «Дзинь! дзинь! дзинь! Ленивая команда! Так-то вы работаете?..»

Дрожа от волнения, я пытался успокоить ужасные ключи...

— Дети очень много работали последнее время, — пробормотал я. — Мне хотелось в награду рассказать им маленькую сказку!..

Вио ничего не ответил. Он с улыбкой поклонился, еще раз заставил проворчать свои ключи и вышел из класса.

В четыре часа дня, во время перемены, он подошел ко мне и, как всегда улыбающийся, безмолвно вручил мне свою тетрадь с уставом, открытую на странице двенадцатой: *«Обязанности классного наставника по отношению к ученикам»*.

Я понял, что мне не полагалось рассказывать сказки, и я больше уж никогда не рассказывал их.

В продолжение нескольких дней дети были безутешны. Им нехватало Жана-кролика, и невозможность вернуть им его терзала мое сердце. Если бы вы знали, как я любил этих мальчуганов! Мы никогда не расставались... Коллеж был разделен на три совершенно обособленных отделения: старшее, среднее и младшее; каждое имело свой собственный двор, свой дортуар, свой класс. Таким образом, малыши всецело принадлежали мне. Мне казалось, что у меня тридцать пять человек детей.

За исключением их — ни единого друга. Вио напрасно улыбался, напрасно брал меня под руку во время рекреаций и давал разные советы, касавшиеся устава заведения, — я не любил его и не мог любить: его ключи внушали

мне непреодолимый страх. Директора я никогда не видел. Старшие преподаватели презирали Малыша и смотрели на него свысока. Что же касается моих коллег, то симпатия, которую, повидимому, выказывал мне человек с ключами, отдаляла их от меня; к тому же с того дня, как я познакомился с унтер-офицерами, я больше ни разу не был в кафе «Барбет», и этого они мне не прощали.

Даже швейцар Кассань и учитель фехтования Рожэ не представляли в этом отношении исключения и тоже были против меня. Особенно враждебно относился ко мне учитель фехтования. Всякий раз, когда я проходил мимо него, он с таким свирепым видом крутил свои усы и таращил глаза, точно намеревался изрубить своей шпагой целую сотню арабов. Однажды, поглядывая на меня, он очень громко сказал Кассаню, что терпеть не может шпионов. Кассань ничего не ответил, но по его виду я ясно понял, что он тоже их не любил... О каких шпионах шла речь?.. Я много думал об этом.

В сущности, я переносил с большим мужеством проявление всеобщей антипатии. Я занимал вместе с репетитором среднего отделения маленькую комнату в третьем этаже, под самой крышей, и вот в ней-то я и скрывался в часы классных занятий. А так как мой коллега все свободное время проводил в кафе «Барбет», то комната принадлежала мне одному, это была *моя* комната, *мой* собственный угол.

Как только я приходил туда, я запирал дверь на ключ, придвигал свой чемодан — стульев в комнате не было — к старому письменному столу, испещренному чернильными пятнами и надписями, вырезанными перочинным ножом, раскладывал на нем все свои книги и принимался за работу...

Была весна... Поднимая голову, я видел безоблачное голубое небо и большие деревья школьного двора, уже покрытые листьями. Кругом полная тишина. Только изредка доносился монотонный голос какого-нибудь ученика, отвечавшего урок, сердитый возглас преподавателя, или слышалась ссора воробьев в листве... И потом снова все погружалось в безмолвие. Коллеж, казалось, спал...

Но Малыш не спал. Он даже не предавался мечтам, что представляет собой самую очаровательную форму сна, он работал, работал безустали, набивая себе голову греческим и латынью почти до потери сознания.

Порой, в самый разгар сухих занятий, ему слышался чей-то таинственный стук в дверь.

— Кто там?

— Это я, Муза, твоя старинная подруга, вдохновительница красной тетради; отвори мне скорее, Малыш!

Но Малыш не отворял. Какое ему было дело до Музы?

К чорту красную тетрадь! В данную минуту самым важным было написать как можно больше сочинений по греческому языку, сдать экзамен на кандидата, получить звание учителя и как можно скорее создать новый прекрасный домашний очаг семейству Эйсет.

Мысль, что я работал для семьи, придавала мне мужество, скрашивала мою жизнь. Даже комната моя и та казалась мне уютнее... О, моя мансарда, милая мансарда, какие прекрасные часы провел я в твоих четырех стенах! Как энергично я там работал! Каким мужественным чувствовал я себя тогда! Какая жалость... почему не могу я быть сейчас тем Малышом, каким был тогда?..

Но если на мою долю выпадали хорошие часы, то не было недостатка и в дурных. Два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам, надо было водить детей на прогулку. Эти прогулки были для меня настоящей пыткой.

Обыкновенно мы отправлялись на так называемую *Поляну*, большую лужайку, расстилавшуюся зеленым ковром у подошвы горы в полумиле от города. Высокие каштановые деревья, три или четыре загородных кабачка, выкрашенные в желтый цвет, быстрый ручеек, прятавшийся в траве, делали это местечко очаровательным и радостным для глаз... Все три отделения отправлялись на Поляну порознь, но там их соединяли в общую группу и оставляли под надзором одного из воспитателей, которым всегда оказывался я. Оба мои коллеги проводили время в соседних кабачках, где их угощали старшие ученики, а так как меня никогда не приглашали, то я оставался смотреть за учениками... Тяжелая обязанность в таком красивом уголке!

Как хорошо было бы растянуться на зеленой траве, в тени каштанов, и, слушая пение ручья, опьяняться ароматом душистых трав!.. А вместо этого надо было наблюдать, кричать, наказывать... Весь коллеж оставался на моих руках. Ужасно!..

Но еще тяжелее, чем надзор за учениками на самой Поляне, было путешествие через весь город с моим младшим отделением. Другие два шли прекрасно, нога в ногу, и стучали каблуками, как старые солдаты наполеоновской гвардии. Чувствовались дисциплина, барабан. Мои же малыши ничего в этом не смыслили. Они не шли рядами, а держали друг друга за руки и всю дорогу болтали, как сороки. Тщетно я кричал:

«Соблюдайте расстояние!» Они меня не понимали и шли вкривь и вкось.

Голова колонны была еще более или менее удовлетворительна. Я ставил туда старших, самых серьезных, тех, которые носили курточки, но зато хвост — какая сутолока, какой беспорядок! Кучка непослушных ребят, растрепанные волосы, грязные руки, рваные штаны!.. Я не решался на них глядеть.

Desinat in piscem, — говорил мне по этому поводу улыбающийся Вио, иногда не лишенный остроумия. Но как бы там ни было, хвост моей колонны имел крайне плачевный вид.

Поймете ли вы, как тяжело мне было появляться на улицах Сарланда с подобной ватагой, в особенности в воскресные дни? Колокола трезвонили, улицы были полны народа... Навстречу попадались воспитанницы пансионов, идущие к вечерне, модистки в розовых шляпках, элегантные юноши в светло-серых брюках. И надо было проходить мимо всех в своем поношенном костюме и с этим смешным отрядом. Какой стыд!..

Среди всех этих растрепанных бесенят, которых я водил два раза в неделю по городу, один, полупансионер, в особенности приводил меня в отчаяние своей безобразной и неряшливой внешностью.

Представьте себе маленького, до смешного маленького уродца, и при этом страшно неуклюжего, грязного, вечно растрепанного, плохо одетого и в довершение всего — кривоногого.

Никогда еще подобный ученик, если вообще можно назвать это существо таким именем, не фигурировал в списках учащихся. Он был бы позором для каждого училища.

Что касается меня, то я чувствовал к нему отвращение, и, когда в дни наших прогулок ви-

дел, как он с грацией молодого утенка ковыляет в конце колонны, мною овладевало свирепое желание прогнать его энергичным пинком ноги, чтобы спасти честь своего отделения.

«Увалень» — как прозвали его за более чем неправильную походку — не принадлежал к аристократической семье, и это сразу было видно по его манерам и разговору, а в особенности, по тому знакомству, которое он свел в округе.

Все уличные мальчишки в Сарланде были его друзьями.

Благодаря ему, во время наших прогулок нас всегда сопровождала целая толпа сорванцов, которые по дороге кувыркались, показывая на него пальцами, бросали в него шелухой от каштанов, дурачились и кривлялись. Моих малышей это очень забавляло, но я не смеялся и писал каждую неделю длинный доклад директору об ученике Увальне и о многочисленных беспорядках, вызываемых его пребыванием в школе.

К несчастью, на мои доклады не обращали внимания, и я попрежнему должен был показываться на улице в обществе Увальня, становившегося все грязнее и уродливее.

В одно из воскресений, в яркий, солнечный день, он явился на прогулку в таком виде, что мы пришли в ужас. Ничего подобного вам, наверно, никогда и не снилось. Черные руки, ботинки без шнурков, с ног до головы в грязи, в каких-то лохмотьях вместо штанов... Чудовище!

Забавнее всего было то, что в этот день его, повидимому, тщательно принарядили, посылая в школу. Его волосы, лучше чем обыкновенно причесанные, еще хранили следы помады, и бант его галстука носил на себе отпечаток заботливых

материнских рук. Но по дороге в коллеж так много грязных канав!.. Увалень побывал, очевидно, во всех.

Увидев, что он, как ни в чем не бывало, занял свое место в рядах учеников, спокойный и улыбающийся, я закричал ему в приливе отвращения и негодования:

— Вон отсюда! Убирайся!

Но Увалень, думая, что я шучу, продолжал шагать вместе с другими. Ему казалось, что он очень хорош в этот день.

Я снова крикнул: — Вон отсюда! Вон!

Грустный и жалкий, он посмотрел на меня умоляющим взглядом. Но я был непоколебим, и отряд мой двинулся вперед, оставив его одного, неподвижного среди улицы.

Я думал, что избавился от него на целый день, но когда мы выходили из города, смех и перешептывание в задних рядах заставили меня обернуться.

В четырех или пяти шагах от нас Увалень важно следовал за нами.

— Прибавьте шагу! — сказал я двум ученикам, шедшим впереди.

Они поняли, что речь шла о том, чтобы подшутить над кривоногим, и понеслись вперед с невероятной быстротой.

Время от времени все оборачивались, чтобы посмотреть, следует ли еще за нами Увалень, и смеялись, видя его далеко, далеко позади совсем маленького, величиной с кулак, но все еще бежавшего во всю прыть по пыльной дороге мимо торговцев пирожными и лимонадом.

Этот сумасшедший прибежал на Поляну почти одновременно с нами. Но он был страшно бледен от усталости и с таким трудом волочил ноги, что жалко было смотреть.

Его вид тронул меня, и, устыдившись своей жестокости, я тихонько подозвал его к себе.

На нем была поношенная в красную клетку блуза, точь-в-точь блуза Малыша, какую он носил в Лионе.

Я сразу узнал ее и сказал себе: «Несчастный! И тебе не стыдно?! Да ведь это ты себя, Малыша, мучаешь ради забавы». И в душе обливаясь слезами, я с этой минуты горячо полюбил этого несчастного, обездоленного мальчика...

Увалень уселся на землю, так как у него сильно болели ноги. Я сел рядом и заговорил с ним... Купил ему апельсин... Я готов был омыть ему ноги.

С этого дня Увалень сделался моим другом, и я узнал о нем много трогательного.

Он был сыном кузнеца, который, наслышавшись о благах образования, отказывал себе во всем, бедняга, чтобы поместить своего сына полупансионером в коллеж. Но, увы, Увалень не был создан для школы, и она приносила ему очень мало пользы.

В день его поступления ему дали пропись с палочками и сказали: «Пиши палочки». И весь год Увалень выводил палочки. Но какие!.. Кривые, грязные, прихрамывающие, настоящие палочки Увальня.

Никто им не занимался. Он не принадлежал, собственно, ни к одному классу; обычно он входил в тот, дверь которого была открыта. Один раз его нашли выводящим свои палочки в последнем, старшем классе... Курьезный ученик был этот Увалень!

Я смотрел на него иногда за уроком, когда он, согнувшись в три погибели над тетрадью, обливался потом, пыхтел, высовывал язык, обхватывал перо всей рукой и так на него надав-

ливал, точно хотел пронзить им стол... После каждой палочки он окунал перо в чернильницу, а после каждой строчки прятал язык и отдыхал, потирая руки.

Но с тех пор как мы стали друзьями, Увалень работал охотнее...

Кончив страницу, он карабкался на четвереньках на мою кафедру и молча клал передо мной свое произведение. Я дружески хлопал его по плечу и говорил: «Очень хорошо». Это было отвратительно, но мне не хотелось его обескураживать.

Но мало-помалу его палочки, действительно, становились прямее, перо брызгало меньше, и на его тетрадях не было уже стольких клякс. Я думаю, что в конце концов мне удалось бы его чему-нибудь научить, но, к несчастью, судьба разлучила нас. Репетитор среднего отделения оставил коллеж, а так как учебный год скоро кончался, то директор не хотел брать нового. Младшее отделение дали бородатому ученику предпоследнего класса, а мне было поручено отделение средних.

Для меня это было настоящей катастрофой.

Во-первых, «средние» пугали меня. Я видал их в «действии» в дни прогулок на Поляне, и мысль, что мне придется быть все время с ними, сжимала мне сердце.

Во-вторых, мне надо было расстаться с «маленькими», с моими дорогими малышами, которых я так любил!.. Как будет относиться к ним бородатый ритор?.. Что станется с Увальнем? Я чувствовал себя несчастным в полном смысле этого слова.

Мои малыши тоже были в отчаянии. В день моего последнего урока, когда прозвонил звонок, наступили волнующие минуты... Они все хотели

поцеловать меня... Некоторые из них сумели даже сказать мне при этом несколько очень милых, трогательных слов.

А Увалень?

Увалень молчал, но в ту минуту, когда я выходил из класса, он подошел ко мне весь красный и торжественно положил мне в руку превосходную тетрадь с «палочками», выведенными специально для меня.

Бедный Увалень!

ГЛАВА VII
ПЕШКА

Таким образом, я принял под свое попечение отделение средних.

Я нашел в нем пятьдесят злых сорванцов, толстощеких горцев от двенадцати до четырнадцати лет, сыновей разбогатевших арендаторов, которых родители посылали в коллеж для того, чтобы, платя за них по сто двадцати франков в триместр, сделать из них потом маленьких буржуа.

Невоспитанные, дерзкие, надменные, они говорили между собой на грубом севенском наречии, в котором я ровно ничего не понимал; почти все они отличались непривлекательной внешностью, свойственной детям переходного возраста: большие красные руки с отмороженными пальцами, голоса охрипших петухов, тупой взгляд, и ко всему этому какой-то специфический запах коллежа... Они сразу же возненавидели меня, совсем еще меня не зная. Я был для них врагом, «пешкой», и с первого дня моего появления на кафедре между нами началась война, ожесточенная и беспрерывная.

Жестокие дети! Как они заставляли меня страдать!..

Мне хотелось бы говорить о них без злобы, все эти огорчения так далеки теперь от меня... Но нет, не могу! Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я чувствую, как рука моя дрожит от лихорадочного волнения. Мне кажется, что я снова все переживаю...

Они-то, наверно, забыли меня. Они не помнят ни Малыша, ни его прекрасного пенсне, купленного им для того, чтобы придать себе более солидный вид...

Мои прежние ученики теперь уже взрослые серьезные люди. Субейроль — нотариус где-то в Севеннах; Вейлльон (младший) — секретарь в суде; Лупи — аптекарь; Бузанкэ — ветеринар. Все они занимают известное положение, отрастили брюшко, хорошо устроились.

Возможно, что, встречаясь где-нибудь в клубе или на церковном дворе и вспоминая доброе старое время в коллеже, они заводят разговор и обо мне.

— Послушай, секретарь, а помнишь ты маленького Эйсета, нашу сарландскую «пешку», с длинными волосами и лицом, точно сделанным из папье-маше? Какие каверзы мы строили ему!

Да, это правда, господа! Вы строили ему хорошие каверзы, и ваша бывшая «пешка» до сих пор еще их не забыла.

Несчастная «пешка»! Как часто она вас смешила... И как часто заставляли вы ее плакать... Да, плакать... Вы доводили ее до слез, и это придавало особую прелесть вашим проказам...

Сколько раз после такого мучительного дня, бедняга, свернувшись в клубок на своей постели, кусал одеяло, чтобы вы не услыхали его рыданий.

Ведь так ужасно жить в атмосфере недоброжелательства, в вечном страхе, всегда насторо-

же, всегда обозленным, готовым к отпору... Так ужасно наказывать (поневоле бываешь несправедлив), так ужасно сомневаться, повсюду видеть западни, ни есть, ни спать спокойно и постоянно, даже в минуты «перемирия», думать: «Боже мой!.. Что-то они теперь еще затевают?»

Нет! Проживи это «пешка», Даниэль Эйсет, еще сто лет, он все равно никогда не забудет того, что перенес в Сарландском коллеже с того печального дня, когда он поступил в среднее отделение.

А между тем, — не хочу лгать, — с переменой отделения я кое-что все-таки выиграл: я видал теперь Черные глаза.

Два раза в день, в рекреационные часы, я издали видел их углубленными в работу, там, в окне первого этажа, выходящего во двор среднего отделения. Они казались чернее и больше, чем когда-либо, устремленные с утра до вечера на нескончаемое шитье: Черные глаза всегда шили, шили безустали... Старая колдунья в очках только для шитья и взяла их из воспитательного дома. Черные глаза не знали ни отца, ни матери, и круглый год без отдыха шили под неумолимым взором страшной колдуньи в очках, прявшей около них свою пряжу.

А я глядел на них. Рекреации казались мне чересчур короткими. Я провел бы всю свою жизнь под этим благословенным окном, за которым работали Черные глаза. Они тоже знали, что я здесь. Время от времени они отрывались от своего шитья, и мы взглядами, без слов говорили друг с другом.

— Вы очень несчастны, господин Эйсет?

— И вы тоже, бедные Черные глаза?

— У нас нет ни отца, ни матери.

— А мои отец и мать далеко.

— Если бы вы только знали, как ужасна колдунья в очках!

— Дети заставляют меня очень страдать, поверьте...

— Мужайтесь господин Эйсет!

— Мужайтесь, прелестные Черные глаза!

На этом наш разговор кончался. Я всегда боялся появления господина Вио с его ключами: «дзинь! дзинь! дзинь!» А наверху, за окном у Черных глаз был тоже свой Вио. После минутного диалога они спешили опуститься на работу под свирепым взглядом больших очков в стальной оправе.

Милые Черные глаза! Мы разговаривали издалека и только украдкой, и все же я любил их всей душой.

Я любил также аббата Жермана.

Аббат Жерман был преподавателем философии. Он слыл чудаком, и в коллеже все боялись его — даже директор, даже сам господин Вио. Он говорил мало, резким, отрывистым голосом, всем говорил «ты», ходил большими шагами, закинув назад голову, приподняв свою рясу, и громко, как драгун, стучал каблуками своих башмаков. Он был высокий и сильный. Я долгое время считал его очень красивым, но однажды, взглянув на него на более близком расстоянии, заметил, что это, полное благородства львиное лицо было страшно изуродовано оспой. Все оно было в шрамах и рубцах, точно после ударов сабли. Настоящий Мирабо в рясе.

Аббат, одинокий и нелюдимый, жил в маленькой комнатке в задней части дома, называемой старым коллежем. Никто никогда не заходил к нему, кроме двух его братьев, двух злых без-

дельников, учеников моего класса, воспитывавшихся на его счет... По вечерам, проходя двором в дортуары, всегда можно было видеть там, наверху, в черном полуразрушенном корпусе старого коллежа бледный свет маленькой лампы аббата Жермана. Часто также утром, отправляясь в класс на урок, начинавшийся в шесть часов, я видел сквозь туман свет этой лампы: аббат Жерман еще не ложился... Говорили, что он работает над большим сочинением по философии.

Еще не познакомившись с ним, я уже чувствовал большую симпатию к этому странному аббату. Его обезображенное, но тем не менее прекрасное, дышавшее умом, лицо привлекало меня. Но меня так запугали рассказами о его чудачествах и грубостях, что я не решался сделать первый шаг для знакомства. И все же — к счастью для себя — я его сделал, и вот при каких обстоятельствах.

Нужно вам сказать, что в то время я с головой ушел в историю философии. Тяжелая работа для Малыша. И вот в один прекрасный день на меня напала охота прочесть Кондильяка... Между нами говоря, этот добряк совсем не стоит того, чтобы его читали: с серьезной философией он не имеет ничего общего, и весь его философский багаж может уместиться в оправе какого-нибудь грошового перстня. Но ведь вы знаете, — в молодости о людях и о вещах бывают совершенно превратные понятия.

Итак, я хотел прочитать Кондильяка. Во что бы то ни стало мне нужен был Кондильяк. К несчастью, его не было ни в школьной библиотеке, ни у сарландских книгопродавцев. Тогда я решил обратиться к аббату Жерману. Его братья сказали мне, что в его комнате находится бо-

лее двух тысяч томов, и я не сомневался, что найду у него книгу, о которой так мечтал. Но этот странный человек внушал мне страх, и потребовалась вся сила моей любви к Кондильяку, чтобы заставить меня подняться в его убежище.

Подходя к его двери, я почувствовал, что ноги мои дрожат от страха... Я тихонько постучал два раза...

— Войдите!— ответил голос титана.

Свирепый аббат Жерман сидел верхом на низеньком стуле, приподняв рясу так, что видны были его мускулистые ноги в черных шелковых чулках. Облокотившись на спинку стула, он читал толстый с золотым обрезом фолиант и курил маленькую короткую трубку из тех, что называются «носогрейками».

— Это ты? — проговорил он, едва взглянув на меня. — Добрый день! Как поживаешь?.. Что тебе нужно?..

Резкий голос, строгий вид комнаты, заставленной книгами, непринужденная поза аббата, короткая трубка, которую он держал в зубах,— все это очень смутило меня. Но я все же объяснил, как мог, причину моего прихода и попросил дать мне знаменитого Кондильяка.

— Кондильяка?! Ты хочешь читать Кондильяка? — воскликнул, улыбаясь, аббат Жерман. — Какая странная фантазия... Не выкуришь ли ты лучше со мной трубку? Сними со стены вон ту хорошенькую и разожги ее... Увидишь, что это несравненно лучше всех Кондильяков в мире!

Я отказался, краснея.

— Не хочешь?.. Дело твое, мой мальчик. Твой Кондильяк вон там, наверху, на третьей полке слева... Можешь взять его с собой. Только не запачкай, а не то надеру тебе уши.

Я достал Кондильяка с третьей полки слева и намеревался уже уходить, но аббат остановил меня.

— Так ты занимаешься философией? — спросил он, глядя мне в глаза. — Но разве ты всему этому веришь... Басни, мой милый, чистые басни!.. И подумать только, что они вздумали сделать из меня профессора философии! Как вам это нравится!?! Преподавать что? Нуль, ничто... Они могли бы с таким же успехом сделать меня инспектором звезд или контролером дыма пенковых трубок!.. Несчастный я! Какие необыкновенные профессии приходится подчас избирать из-за куска хлеба... Тебе ведь это тоже немножко знакомо?.. О, тебе нечего краснеть... Я знаю, что ты не очень-то счастлив здесь, бедная маленькая «пешка»; знаю, что дети делают твою жизнь несносной...

Аббат Жерман на мгновение умолк. Он казался очень рассерженным и неистово колотил трубкой по ногтю, стряхивая пепел. Участие этого достойного человека к моей судьбе глубоко взволновало меня, и я должен был держать Кондильяка перед глазами, чтобы скрыть навернувшиеся на них слезы.

После маленькой паузы аббат продолжал:

— Кстати, я забыл тебя спросить... Ты любишь бога?.. Нужно его любить, мой милый, и уповать на него, и молиться ему неустанно, без этого ты никогда не выкарабкаешься из беды... От тяжелых страданий я знаю только три лекарства: труд, молитву и трубку — глиняную трубку, обязательно очень короткую... запомни это... А что до философов, то на них не рассчитывай, они никогда ни в чем тебя не утешат. Я прошел через все это, ты можешь мне верить.

— Я верю вам, господин аббат.

— А теперь иди, ты меня утомляешь... Когда тебе понадобятся книги — приходи и бери. Ключ от комнаты всегда в двери, а философы всегда на третьей полке слева... Больше не разговаривай со мной... прощай!

Он снова принялся за чтение и даже не взглянул на меня, когда я выходил.

Отныне все философы мира были в моем распоряжении. Я входил в комнату аббата Жермана без стука, как к себе. Чаще всего в те часы, когда я приходил туда, аббат давал урок, и комната пустовала. Его маленькая трубка отдыхала на краю стола среди фолиантов с красным обрезом и бесчисленных листов бумаги, исписанных какими-то каракулями... Но иногда я заставал аббата Жермана дома. Он читал, писал или же расхаживал большими шагами взад и вперед по комнате. Входя, я робко произносил:

— Здравствуйте, господин аббат!

Чаще всего он ничего не отвечал мне... Я брал с третьей полки слева требуемого философа и уходил, как будто даже незамеченный им... В течение всего года мы едва обменялись какими-нибудь двадцатью словами, но что из этого! Какой-то внутренний голос говорил мне, что мы большие друзья.

Между тем, каникулы приближались. Целыми днями можно было слышать, как в классе рисования ученики, занимавшиеся музыкой, репетировали разные польки и марши, готовясь ко дню раздачи наград. Польки эти всех веселили. По вечерам же, за последним уроком можно было видеть, как из пюпитров вынималось множество маленьких календарей, и каждый мальчуган отмечал на своем истекший день: «Еще одним меньше!» Двор был завален досками для эстрады. Выколачивали кресла, выбивали ковры... Ни регулярных за-

нятий, ни дисциплины... Неизменными оставались только ненависть к «пешке» и каверзы, ужасные каверзы...

Наконец, наступил великий день. И пора уже было. Дольше я не выдержал бы.

Награды раздавались в моем дворе, во дворе среднего отделения... Я до сих пор еще вижу перед собой пеструю палатку, затянутые белой материей стены, большие зеленые деревья, разукрашенные флагами, а внизу, под ними, целое море дамских шляп, кепи, касок, портупей, головных уборов, украшенных цветами, лент, перьев, помпонов, султанов... В глубине — длинная эстрада, на которой в малиновых бархатных креслах разместилось школьное начальство... О, эта эстрада! Какими все чувствовали себя перед ней маленькими! Какой надменный и величественный вид придавала она всем тем, кто сидел на ней. У всех этих господ были, казалось, какие-то новые, необычные физиономии.

Аббат Жерман тоже был на эстраде, но он, повидимому, совершенно не отдавал себе в этом отчета. Растянувшись в кресле и откинув голову, он рассеянно слушал своих соседей и, казалось, следил сквозь листву деревьев за дымом воображаемой трубки...

У подножья эстрады сверкали на солнце тромбоны и валторны. На скамейках — ученики всех трех отделений со своими воспитателями, а за ними толпа их родителей. Учитель второго отделения помогал дамам пробираться к своим местам. «Позвольте пройти! Позвольте пройти!» — кричал он. Затерянные в толпе ключи господина Вио, казалось, то и дело перебегали с одного конца двора на другой и звенели: «дзинь! дзинь! дзинь!» — то справа, то слева, то здесь, то там — повсюду одновременно.

Началась церемония. Было жарко. В палатке душно... Толстые дамы с багровыми лицами дремали под сенью своих шляп и перьев, лысые мужчины вытирали вспотевшие головы пунцовыми фуляровыми платками. Все было ярко-красного цвета: лица, ковры, флаги, кресла... Произносились речи, им аплодировали, но я их не слышал... Там, за окном первого этажа Черные глаза шили на своем обычном месте, и душа моя стремилась к ним... Бедные Черные глаза! Даже в такой день страшная колдунья в очках не давала им отдыха.

Когда была произнесена фамилия последнего из награжденных учеников, музыка заиграла торжественный марш, и все поднялись со своих мест. Беспорядок. Суматоха. Профессора покидали эстраду. Ученики перепрыгивали через скамейки, чтобы добраться до своих родных. Поцелуи, объятия, возгласы: «Сюда!», Сюда!» Сестры награжденных учеников гордо выступали с венками братьев в руках. Пробираясь между рядами стульев, шелковые платья шуршали: «фру! фру! фру!..» Малыш стоял неподвижно за деревом и смотрел на проходивших нарядных дам, тщедушный, смущенный, краснея за свой поношенный костюм.

Мало-помалу двор опустел. У главного подъезда стояли директор и господин Вио, ласкали уезжавших детей, отвешивали низкие поклоны их родителям.

— До будущего года! До будущего года! — говорил, льстиво улыбаясь, директор. Ключи господина Вио ласково звенели: «Дзинь! дзинь! дзинь! Возвращайтесь к нам, маленькие друзья, возвращайтесь к нам на будущий год!»

Дети рассеянно, на ходу, подставляли лица

для поцелуев и одним прыжком перескакивали через все ступеньки.

Одни из них садились в прекрасные экипажи с гербами; их матери и сестры подбирали свои широкие юбки, чтобы дать им место... Ну, пошел!.. Скорее в замок!.. Они снова увидят свои парки, лужайки, вольеры с редкими птицами, качели под акациями, бассейны с лебедями и большую террасу, на которой по вечерам подают шербет.

Другие карабкались в высокие семейные шарабаны и садились рядом с хорошенькими весело смеющимися девушками в белых головных уборах. Правила сама фермерша с золотой цепочкой на шее. Погоняй, Матюрина! Они возвращаются на ферму; будут есть там теплые булки с маслом, пить мускат, ловить птиц на приманную дудочку и валяться в душистом свежем сене.

Счастливые дети!.. Они уезжали... Все уезжали!.. О, если бы и я тоже мог уехать!..

ГЛАВА VIII
ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

Коллеж опустел. Все разъехались. Эскадроны толстых крыс носятся по дортуару и среди белого дня производят кавалерийские атаки. Чернильницы высыхают в пюпитрах. Во дворе, на деревьях веселятся воробьи. Эти господа пригласили к себе товарищей из города, из епархии, из супрефектуры, и с утра до вечера раздается их оглушительное чириканье.

Малыш слушает их, сидя за работой в своей комнате, под самой крышей. Его из милости оставили в коллеже на время каникул, и он пользуется этим для того, чтобы основательно

изучить греческих философов. Только в комнате слишком жарко, а потолок слишком низок... Можно задохнуться... Окна без ставней. Солнце, точно пылающий факел, врывается в комнату и раскаляет все. Штукатурка на балках лопается и отваливается... Большие мухи, отяжелевшие от жары, спят, прилипшие к оконному стеклу... Малыш делает страшные усилия, чтобы не заснуть. Голова его тяжела, точно налита свинцом, веки смыкаются...

Работай же, Даниэль Эйсет, работай! Нужно восстановить домашний очаг... Но нет! Он не в состоянии... Буквы танцуют перед его глазами, потом начинает кружиться сама книга, вслед за ней стол, затем комната... Чтобы отогнать эту странную дремоту, Малыш встает и делает несколько шагов; но, дойдя до двери, он шатается и тяжело падает на пол, сраженный непреодолимым сном.

На дворе чирикают воробьи, трещат кузнечики; белые от пыли, с потрескавшейся от солнца корой, потягиваются всеми своими ветвями платаны.

Малыш видит странный сон: ему кажется, что стучат в дверь комнаты и чей-то очень громкий голос зовет его по имени: «Даниэль! Даниэль!..» Этот голос... он его узнал. Таким же тоном он когда-то кричал: «Жак! Ты осел!»

Стук в дверь усиливается.

— Даниэль. Мой Даниэль! это твой отец, открой же скорее!

Страшный кошмар! Малыш хочет ответить, хочет открыть. Он приподнимается на локте, но голова его слишком тяжела: он снова падает и теряет сознание...

Когда Малыш приходит в себя, он очень удивлен тем, что лежит в белой кровати с длинными

синими занавесками, бросающими кругом приятную тень. Мягкий свет, тихая комната. Не слышно ничего, кроме тиканья стенных часов да звона чайной ложечки по фарфору... Малыш не знает, где он, но ему очень хорошо. Занавески раздвигаются. Эйсет-отец с чашкой в руках склоняется над ним и ласково улыбается ему. Глаза его полны слез... Малышу кажется, что продолжается все тот же сон.

— Это вы, отец? Правда — вы?..

— Да, мой Даниэль, да, мое дорогое дитя,— это я.

— Но где же я?..

— В больнице, вот уже неделя... Теперь ты поправляешься, но ты был очень болен...

— Но вы сами... Как попали вы сюда? Поцелуйте меня еще раз, отец! Знаете, я смотрю на вас и мне кажется, что все это сон.

Эйсет-отец целует его.

— А теперь укройся хорошенько, будь умником... Доктор не разрешает тебе говорить.

И чтобы не дать сыну разговаривать, добряк не умолкает.

— Вообрази себе, что неделю назад Общество виноделов дает мне поручение объездить Севенны. Можешь себе представить мою радость: случай повидать моего Даниэля! Приезжаю в коллеж... Тебя зовут, ищут... Даниэля нигде нет! Велю проводить меня в твою комнату: она заперта изнутри... Я стучу: никого... Бац! Ударом ноги вышибаю дверь и нахожу тебя лежащим на полу в страшнейшем жару. Бедное мое дитя, как ты был болен!.. Пять дней, не переставая, бредил! Я не отходил от тебя. Ты все время нес околесицу, твердил о необходимости восстановить домашний очаг... Какой очаг? Скажи? Ты кричал: «Не надо ключей! Выньте ключи из замков!..»

Ты смеешься? Клянусь, мне было тогда не до смеха. Какие ночи я провел около тебя! Нет понимаешь, этот господин Вио — его ведь зовут Вио, не правда ли? — не хотел мне разрешить ночевать в училище. Ссылался на какой-то устав... Подумаешь, устав!! Да какое мне дело до его устава?! Этот педант думал, что запугает меня, потрясая ключами перед моим носом. Но я хорошо осадил его, можешь быть спокоен!..

Малыш содрогается, слыша о дерзком поступке господина Эйсета, но он быстро забывает о ключах Вио.

— А что мама? — спрашивает он, протягивая руки таким жестом, точно хочет обнять ее.

— Если ты будешь раскрываться, то ничего не узнаешь, — отвечает господин Эйсет сердитым тоном. — Ну, послушай, укройся же!.. Твоя мать здорова, она теперь у дяди Батиста.

— А Жак?

— Жак? О, это осел!.. Когда я говорю «осел», то ты понимаешь, что я это только так, в шутку... В сущности Жак очень хороший мальчик... Да не раскрывайся же, чорт возьми! Он очень хорошо устроился. Попрежнему плачет, конечно, но все же очень доволен. Его директор взял к себе в секретари... Он должен только писать под диктовку... Очень приятная служба.

И он так всю жизнь и будет писать под диктовку, бедный Жак!..

И Малыш весело рассмеялся, а, глядя на него, засмеялся и господин Эйсет, не переставая ворчать на «проклятое» одеяло, которое все сползало.

Благословенный лазарет! Какие восхитительные часы проводит Малыш за синими занавесками своей кровати!.. Господин Эйсет не отходит от него, просиживает весь день у его изголовья.

Малышу хотелось бы, чтобы господин Эйсет никогда не уезжал... Увы! Это невозможно: Общество виноделов вызывает его. Он должен ехать, должен продолжать свое путешествие по Севеннам...

После отъезда отца Малыш остается один, совсем один в безмолвном лазарете. Он проводит все дни за книгой, сидя в большом кресле, придвинутом к окну. Утром и вечером желтая госпожа Касань приносит ему еду. Малыш выпивает чашку бульона, сосет крылышко цыпленка и говорит: «Благодарю вас, госпожа Кассань». Ни слова больше. От этой женщины веет лихорадкой, и она ему не нравится. Он даже не смотрит на нее.

И вот однажды утром, когда он сухо, не отрывая глаз от книги, произносит свое обычное «благодарю вас, госпожа Кассань», он к удивлению своему слышит другой, мягкий голос, спрашивающий его: — Как вы себя чувствуете сегодня, господин Даниэль?

Малыш поднимает голову, и угадайте, кого он видит... Черные глаза! Да, Черные глаза, неподвижные и улыбающиеся, смотрят на него...

Черные глаза сообщают своему другу, что желтая женщина больна и что им поручено ему прислуживать. Опустив ресницы, они прибавляют, что очень рады видеть господина Даниэля поправившимся; потом, сделав глубокий реверанс, они удаляются, говоря, что вернутся вечером. И действительно, вечером Черные глаза приходят снова, они приходят и на следующее утро и вечером следующего дня. Малыш в восторге. Он благословляет и свою болезнь, и болезнь желтой женщины — все болезни в мире. Если бы никто не болел, ему никогда не удалось бы побыть наедине с Черными глазами!

Благословенный лазарет! Какие восхитительные часы проводит Малыш в своем кресле для выздоравливающих, придвинутом к окну!.. По утрам, при солнечном свете, в Черных глазах под длинными ресницами сверкает множество золотых блесток; по вечерам они тихо сияют во мраке, разливая вокруг мягкий свет, подобный сиянию звезд... Малыш мечтает о Черных глазах все ночи напролет, они не дают ему спать. С рассвета он уже на ногах и готовится к их посещению. Ему нужно сделать им столько признаний!.. Но, когда Черные глаза появляются, он ничего им не говорит...

Черные глаза, повидимому, очень удивлены таким молчанием. Они то и дело приходят и уходят, находят тысячу предлогов для того, чтобы оставаться около больного, постоянно надеясь, что он, наконец, заговорит... Но этот противный Малыш все не решается.

Иногда, собравшись с духом, он храбро начинает: «Мадемуазель!..»

Тотчас же Черные глаза вспыхивают и смотрят на него, улыбаясь. Но, при виде этой улыбки, несчастный теряет голову и дрожащим голосом прибавляет: «Благодарю вас за все ваши заботы обо мне». Или еще: «Бульон сегодня превосходен!»

Тогда Черные глаза делают очаровательную гримаску, которая означает: «Как? Только и всего!», и со вздохом удаляются.

После их исчезновения Малыш приходит в отчаяние: «О, завтра, завтра я обязательно скажу им!»

А назавтра все опять начинается сызнова.

В конце концов, чувствуя, что у него никогда нехватит храбрости сказать Черным глазам все, что он о них думает, Малыш решается им написать... Однажды вечером он просит дать ему

чернил и бумаги, чтобы написать одно важное,— о, очень важное письмо!.. Черные глаза, конечно, угадали, о каком письме идет речь,— они так хитры, эти Черные глаза!.. Живо бегут они за чернилами и бумагой, раскладывают все это перед больным и уходят, смеясь про себя.

Малыш начинает писать. Он пишет всю ночь, а когда наступает утро, замечает, что это бесконечное письмо содержит всего только три слова,— понимаете ли, всего только три слова. Но эти три слова — самые красноречивые слова в мире, и он рассчитывает, что они произведут большой эффект.

А теперь — внимание!.. Черные глаза должны скоро притти... Малыш волнуется; он заранее приготовил письмо и дает себе клятву отдать его Черным глазам, как только они придут. Вот как все произойдет: Черные глаза войдут и поставят бульон и цыпленка на стол. «Добрый день, господин Даниэль!..» И тогда он смело скажет им: «Милые Черные глаза. Вот вам письмо. Возьмите!»

Но тсс!.. Легкие шаги в коридоре... Черные глаза приближаются... Малыш держит письмо в руке. Сердце его сильно бьется.

Ему кажется, что он умирает...

Дверь отворяется... О, ужас!!.

Вместо Черных глаз появляется старая колдунья, страшная колдунья в очках!

Малыш не осмеливается спросить объяснения, но он совершенно подавлен. Почему же они не пришли?!. С нетерпением ждет он вечера... Увы! Черные глаза не являются ни вечером, ни на другой день, ни в следующие дни... Они не придут больше никогда...

Черные глаза прогнали! Отослали обратно в воспитательный дом, где их продержат четыре

года, до их совершеннолетия... Черные глаза крали сахар!..

Прощайте, чудные дни в лазарете! Черные глаза исчезли, и, в довершение несчастья, начинают съезжаться ученики... Как?! Уже начало занятий?!! Как скоро пролетели каникулы!!

В первый раз после шести недель Малыш сходит вниз, во двор—бледный, худой, еще более «Малыш» чем когда-либо!.. Весь коллеж пробуждается. Его моют сверху донизу; по коридорам течет вода. Ключи господина Вио беснуются с присущей им злобой. Ужасный Вио воспользовался каникулами, чтобы прибавить несколько параграфов к своему уставу и несколько ключей к своей связке. Бедному Малышу надо держать ухо востро!

Каждый день прибывают ученики. Кляк! Кляк! У подъезда школы снова останавливаются шарабаны и коляски, те самые, которые подъезжали в день раздачи наград... Несколько прежних учеников выбыли из списков, но их заменили новые. Формируются отделения. В этом году Малыш опять получит среднее. Бедная «пешка» уже заранее дрожит. Но в конце концов кто знает? Быть может, дети будут не так злы в этом году.

Утром в день начала занятий торжественное благословение в часовне, обедня святому духу. Veni, creator spiritus! Вот директор в прекрасном черном фраке с маленькой пальмовой веточкой в петличке. За ним весь главный штаб преподавателей в парадных мантиях. У естественных наук—горностай оранжевого цвета, у словесных—белого. Преподаватель второго курса, большой ветреник, позволил себе явиться в светлых перчатках и в какой-то фантастической шляпе. У господина Вио не очень-то довольный вид.

Veni, creator spiritus! Стоя в глубине церкви, в

толпе учеников, Малыш с завистью смотрит на величественные мантии и на серебряные пальмовые ветки... Когда же он-то будет преподавателем?.. Когда удастся ему восстановить домашний очаг? Увы! Прежде чем достигнешь этого, сколько еще придется потратить времени и труда! Veni, creator spiritus! Малышу грустно; от звуков органа ему хочется плакать... Вдруг там, в углу клироса, он замечает прекрасное изрытое оспой лицо. Оно улыбается ему, и от этой улыбки Малышу становится легче. Стоило ему только увидеть аббата Жермана, чтобы почувствовать в себе прилив бодрости и мужества. Veni, creator spiritus!

Два дня спустя после обедни святого духа — новое торжество. Именины директора. В этот день с незапамятных времен весь коллеж празднует святого Теофиля на лоне природы, угощаясь холодными закусками и лиможскими винами. В этот раз, как и всегда, директор ничего не жалеет, чтобы придать этому чисто семейному празднику ту торжественность, которая, удовлетворяя великодушным порывам его сердца, в то же время не вредила бы интересам заведения. На рассвете все ученики и учителя усаживаются в большие, разукрашенные пестрыми флагами повозки, и поезд мчится галопом, таща за собой два громадных фургона, нагруженных корзинами с шипучими винами и съестными припасами... Впереди, на первой повозке начальство и музыка. Музыкантам отдан приказ играть погромче. Щелкают бичи, звенят бубенцы, груды тарелок стучат, ударяясь о жестяную посуду... Весь Сарланд в ночных колпаках бросается к окнам, чтобы посмотреть праздничный поезд директора.

Торжество происходит на Поляне. Тотчас же по приезде туда, расстилают скатерти на траве,

и дети помирают со смеха при виде преподавателей, сидящих на земле, среди фиалок, как школьники... Режут и передают друг другу куски сладкого пирога. Вылетают пробки. Глаза горят. Разговоры не умолкают... Среди всеобщего оживления у одного только Малыша озабоченный вид. Внезапно лицо его заливает румянец. Директор встает. В руках у него исписанный лист бумаги:

— Господа, мне только что передали вот это стихотворение, посвященное мне неизвестным поэтом. Повидимому, у нашего Пиндара, господина Вио, в этом году есть соперник. Хотя эти стихи слишком лестны для меня, я все же прошу разрешения прочесть их вам.

— Да, да... Читайте!.. Читайте!

И тем же звучным голосом, каким он говорил в день раздачи наград, директор начинает читать...

Это—довольно ловко состряпанное поздравление, полное рифмованных любезностей по адресу директора и всех этих господ. Не забыта даже колдунья в очках. Поэт называет ее «ангелом трапезной», и это звучит очень мило.

Раздаются продолжительные рукоплескания. Несколько голосов требуют автора. Малыш встает, красный, как мак, и скромно кланяется. Со всех сторон одобрительные возгласы. Малыш становится героем праздника. Директор хочет поцеловать его. Старые преподаватели сочувственно жмут ему руку. Классный наставник среднего отделения просит у него стихи, чтобы поместить их в журнале. Малыш счастлив. Весь этот фимиам вместе с винными парами ударяет ему в голову. Но в эту минуту он слышит,—и это немного отрезвляет его,—как аббат Жерман шопотом произносит: «Дурак!», а ключи его соперника звенят как-то особенно свирепо...

Когда утихает первый взрыв энтузиазма, ди-

ректор хлопает в ладоши, призывая всех к молчанию.

— Теперь ваша очередь, господин Вио. После Музы игривой — Муза серьезная.

Господин Вио не спеша вынимает из кармана переплетенную тетрадь, много обещающую по внешнему виду, и приступает к чтению, бросив косой взгляд на Малыша.

Произведение господина Вио — идиллия в духе Вергилия в честь устава. Ученик Менальк и ученик Дорилас ведут между собой беседу в стихах. Менальк — ученик школы, где процветает устав; Дорилас — ученик школы, где нет устава... Менальк перечисляет суровые блага строгой дисциплины. Дорилас — бесплодные радости безудержной свободы.

В конце концов Дорилас разбит. Он вручает победителю приз, и голоса обоих соединяются в радостной песне в честь устава.

Поэма кончена... Гробовое молчание... Во время чтения дети унесли свои тарелки на другой конец Поляны и спокойно уплетают там пироги, нисколько не думая о Менальке и Дориласе. Господин Вио смотрит на них издали с горькой усмешкой. Преподаватели терпеливо выслушали его, но ни у одного из них нехватает смелости аплодировать. Бедный господин Вио! Это форменный провал... Директор пытается его утешить:

— Конечно, тема сухая, господа, но поэт отлично справился с ней.

— Я нахожу, что это превосходно, — говорит, не краснея, Малыш, которого начинает пугать собственный успех.

Но вся эта ложь ни к чему: господин Вио не желает никаких утешений. Он молча кланяется с горькой улыбкой. Она не покидает его весь день, а вечером, на обратном пути, среди пения

учеников, завывания инструментов и грохота повозок, катящихся по мостовой заснувшего города, Малыш слышит около себя в темноте звяканье ключей своего соперника, злобно ворчащих: «Дзинь! дзинь! дзинь! Мы вам отомстим за это, господин поэт!»

ГЛАВА IX
ДЕЛО БУКУАРАНА

День святого Теофиля был последним днем каникул.

За ним наступили печальные дни. Точь-в-точь как бывает на другой день после масленицы. Все были не в духе — и учителя, и ученики... После двухмесячного отдыха коллеж с трудом входил в обычную колею. Машина действовала плохо, подобно механизму старых часов, которые давно уже не заводили... Но мало-помалу, благодаря усилиям господина Вио, все наладилось. Ежедневно в одни и те же часы, при звоне одного и того же колокола, маленькие двери, выходившие во двор, отворялись и вереницы детей, прямых, как деревянные солдатики, попарно дефилировали под деревьями; потом колокол звонил вторично—динг! донг!—и те же дети снова входили в дом через те же самые двери... Динг! донг! Вставайте! Динг! донг! Ложитесь! Динг! донг! Учитесь! Динг! донг! Развлекайтесь! И так в течение целого года.

Устав торжествовал. Как был бы счастлив ученик Менальк жить под ферулой господина Вио, в этом образцовом сарландском коллеже.

Один я был темным пятном на фоне этой очаровательной картины. Класс мой плохо успевал. Ужасные «средние» вернулись со своих гор еще более безобразными, более грубыми и более же-

стоками, чем когда-либо. Я тоже ожесточился: болезнь сделала меня нервным и раздражительным, и я не мог ни к чему относиться спокойно. Слишком мягкий в прошлом году, я был слишком строг в текущем... Я думал таким образом обуздать злых мальчишек, и за каждую провинность наказывал весь класс добавочными работами или оставлял без отпуска.

Эта система не привела ни к чему. Мои наказания, оттого что я ими злоупотреблял, обесценивались, и вскоре пали так же низко, как ассигнаты IV года. Однажды я совершенно растерялся. Весь класс взбунтовался, а у меня больше не было боевых запасов, чтобы дать отпор мятежникам. Я как сейчас вижу себя на кафедре, сражающимся, как бешеный, среди криков, плача, хрюканья, свиста. «Вон!.. Кукуреку!.. ксс!.. ксс!.. Долой тиранов!.. Это несправедливо!..» В воздухе мелькали чернильницы, комки жеваной бумаги расплющивались на моем пюпитре, и все эти маленькие чудовища, под предлогом разных требований, облепили мою кафедру и выли, как настоящие макаки.

Иногда, доведенный до полного отчаяния, я призывал на помощь господина Вио. Подумайте, какое унижение!.. Со дня святого Теофиля человек с ключами был со мной очень холоден, и я чувствовал, что мои мучения его радовали... Всякий раз, когда он неожиданно с ключами в руках входил в класс, его появление действовало подобно камню, брошенному в пруд, полный лягушек: в мгновение ока все оказывались на своих местах, уткнув носы в книги. Водворялась такая тишина, что можно было слышать, как пролетала муха. Господин Вио ходил несколько минут взад и вперед по классу, позвякивая ключами, среди наступившей тишины,

и затем, бросив на меня насмешливый взгляд, уходил, не сказав ни слова.

Я был очень несчастлив. Мои коллеги, классные надзиратели, смеялись надо мной; директор, когда я с ним встречался, был со мной нелюбезен: без сомнения, здесь не обошлось без влияния Вио... А тут еще история с Букуараном, которая меня совсем доканала.

Ах, эта история! Я уверен, что она попала в летописи коллежа и что жители Сарланда еще и сейчас о ней говорят... Со своей стороны, я тоже хочу рассказать об этом случае. Настало время поведать обществу всю правду...

Пятнадцать лет; большие ноги, большие глаза, большие руки, низкий лоб и манеры батрака — таков был маркиз де Букуаран, гроза двора «средних», единственный представитель севенской знати в Сарландском коллеже. Директор очень дорожил этим учеником ввиду аристократического лоска, придаваемого заведению его именем. В коллеже его не называли иначе, как «маркизом». Все его боялись, и я сам невольно поддавался общему настроению и говорил с ним всегда очень сдержанно.

Некоторое время мы были с ним в довольно сносных отношениях. Правда, маркиз позволял себе иногда дерзко смотреть на меня и отвечать мне вызывающим тоном, напоминавшим старый режим, но я делал вид, что не замечаю этого, чувствуя, что имею дело с сильным противником.

Но один раз этот бездельник позволил себе при всем классе так нагло возразить мне, что терпение мое лопнуло.

— Господин Букуаран, — сказал я, стараясь сохранить хладнокровие, — возьмите свои книги и выйдите из класса.

Это приказание поразило негодяя своей неслыханной строгостью. Он был ошеломлен и, не двигаясь с места, смотрел на меня, вытаращив глаза.

Я почувствовал, что ввязываюсь в скверную историю, но я зашел уже слишком далеко, чтобы отступать.

— Вон отсюда, господин Букуаран! — повторил я.

Ученики ждали, затаив дыхание... Впервые за все время в моем классе было тихо.

На мое вторичное приказание маркиз, уже пришедший в себя от изумления, ответил мне,— и надо было слышать, каким тоном:

— Я не выйду!

По всему классу пронесся шопот восхищения. Я встал с места, возмущенный.

— Так вы не выйдете?! Ну, это мы еще посмотрим!..—И я сошел с кафедры...

Бог мне свидетель, что в эту минуту я был далек от мысли о каком бы то ни было насилии. Мне хотелось только показать ему, что я умею быть твердым. Но, увидав, что я схожу с кафедры, он начал так презрительно смеяться, что я невольно сделал движение, чтобы схватить его за шиворот и стащить со скамейки...

Но как только я поднял руку, негодяй нанес мне страшный удар выше локтя громадной железной линейкой, спрятанной у него под курткой. Я вскрикнул от боли.

Весь класс захлопал в ладоши.

— Браво, маркиз! Браво!

Тут уж я совершенно потерял голову. Одним прыжком я очутился на столе, другим—на маркизе, и, схватив его за горло и пустив в дело ноги, кулаки и зубы, я стащил его с места и с такой силой вышвырнул из класса, что он дока-

тился чуть не до середины двора... Все это было делом одной секунды... Я никогда не предполагал в себе такой силы.

Ученики оцепенели. Они больше уже не кричали: «Браво, маркиз!» Они боялись. Букуаран, самый сильный в классе, был усмирен этим тщедушным воспитателем, «пешкой»! Неслыханная вещь!.. Мой авторитет в классе поднялся настолько же, насколько упало обаяние маркиза.

Когда я снова взошел на кафедру, бледный и дрожащий от волнения, все головы поспешно склонились над пюпитрами. Класс был усмирен. Но что подумают директор и господин Вио обо всей этой истории?!? Как! Я осмелился поднять руку на ученика! На маркиза Букуарана. На самого знатного ученика во всем коллеже! Без сомнения, меня выгонят из коллежа.

Эти размышления,—немного запоздалые,—омрачили мое торжество. Настал мой черед бояться. Я говорил себе: «Наверно, маркиз пошел жаловаться» и с минуты на минуту ждал появления директора. Я дрожал до конца урока, но никто не пришел.

Во время перемены я очень удивился, увидав Букуарана смеющимся и играющим с другими учениками. Это немного успокоило меня, и так как весь день прошел мирно, то я вообразил, что мой бездельник ничего не расскажет и я отделаюсь одним страхом.

К несчастью, следующий четверг был днем отпуска и вечером маркиз в дортуар не вернулся. В душу мою закралось тяжелое предчувствие, и я не спал всю ночь напролет.

На другой день, во время первого урока, ученики перешептывались, глядя на пустовавшее место Букуарана. Я умирал от беспокойства, но не подавал вида, что волнуюсь.

Около семи часов дверь резко отворилась. Все дети встали.

Я чувствовал, что погиб...

Первым вошел директор, за ним господин Вио и, наконец, высокий старик в длинном застегнутом до самого подбородка сюртуке с воротником в четыре пальца вышиной, сделанном на волосе. Я не знал его, но сразу догадался, что это Букуаран-отец. Он крутил свои длинные усы и ворчал что-то сквозь зубы.

У меня не хватило духа сойти с кафедры, чтобы приветствовать этих господ. Они, со своей стороны, войдя, тоже не поклонились мне. Они остановились посреди класса и до самого ухода ни разу не взглянули в мою сторону.

Открыл огонь директор.

— Господа,— сказал он, обращаясь к ученикам,— мы пришли сюда, чтобы выполнить тягостную обязанность... весьма тягостную. Один из ваших воспитателей совершил такой серьезный проступок, что наш долг сделать ему публичный выговор.

И он поспешил исполнить этот долг, и его выговор длился по крайней мере четверть часа. Все факты были извращены: маркиз был лучший ученик в коллеже; я, без всякого к тому повода, обошелся с ним непозволительно грубо; я не извинился, — словом, я пренебрег своими обязанностями...

Что было отвечать на такие обвинения?!.

Несколько раз я порывался защищаться: «Позвольте, господин директор...» Но директор меня не слушал.

После него говорил господин Букуаран-отец... И как говорил!!. Настоящий обвинительный акт... Несчастный отец! У него чуть не убили сына!.. На это жалкое, маленькое, беззащитное

существо набросились, как... как... как бы это выразиться? как набрасывается буйвол, дикий буйвол... Ребенок вот уже два дня не встает с постели. Вот уже два дня, как его мать, вся в слезах, ухаживает за ним...

Конечно, если бы он имел дело с настоящим мужчиной, то он, де Букуаран-отец, сам отомстил бы за своего ребенка. Но *этот* еще мальчишка, которого он жалеет. Да будет все-таки *ему* известно, что если когда-нибудь еще он коснется хотя бы волоска этого ребенка, то ему отрежут оба уха...

Во время этой блестящей речи ученики исподтишка посмеивались, а ключи господина Вио трепетали от удовольствия. Побледнев от бешенства, бедный «*он*», стоя на кафедре, слушал все эти оскорбления, глотал обиду и... молчал. Если бы он что-нибудь ответил, его выгнали бы из коллежа, а куда бы он тогда делся?..

Наконец, через час, истощив свое красноречие, все трое ушли. После их ухода в классе поднялся страшный шум. Я тщетно пытался восстановить тишину: дети смеялись мне в лицо. История с Букуараном окончательно подорвала мой авторитет.

Да, это была ужасная история!.. Она взволновала весь город... И в Маленьком клубе, и в Большом, во всех кафе, на музыке, всюду только об этом и говорили. «Хорошо осведомленные» люди передавали такие подробности, что волосы становились дыбом. Этот воспитатель был настоящим чудовищем, людоедом! Он истязал ребенка с утонченной, неслыханной жестокостью. Говоря о нем, его называли не иначе, как «палачом».

Когда молодому Букуарану надоело лежать в постели, родители перенесли его на кушетку,

занимавшую самое лучшее место в их гостиной, и в течение недели через эту гостиную прошли нескончаемые процессии. Интересная «жертва» была предметом всеобщего внимания.

Двадцать раз сряду его заставляли рассказывать этот случай, и всякий раз негодяй придумывал какую-нибудь новую подробность. Матери содрогались, старые девы называли его «бедным ангелом» и совали ему конфеты. Оппозиционная газета воспользовалась этим случаем и в свирепой статье разгромила коллеж, противопоставив ему одно из религиозных учреждений этой округи...

Словом, история наделала много шуму. Директор был взбешен, и если он меня не выгнал из коллежа, то только благодаря протекции ректора. Увы, для меня было бы лучше, если б меня выгнали тогда же. Моя жизнь сделалась невыносимой. Дети не слушались меня и при малейшем замечании грозили мне, что поступят, как Букуаран,—пойдут жаловаться своим родителям. Кончилось тем, что я перестал обращать на них внимание.

Одна мысль всецело владела мною в это время—отомстить Букуарану. У меня постоянно стояла перед глазами дерзкая физиономия старого маркиза, и уши мои краснели, когда я вспоминал брошенную им угрозу. Впрочем, если бы даже я захотел забыть все эти оскорбления, мне не удалось бы это: два раза в неделю, в дни прогулок, когда наши отделения проходили мимо кафе, я каждый раз знал, что увижу господина де Букуарана, стоящего перед дверью среди группы гарнизонных офицеров без фуражек и с бильярдными киями в руках. Они уже издали встречали нас насмешками; затем, когда мы приближались, маркиз кричал громко, гля-

дя на меня с вызывающим видом: «Добрый день, Букуаран!»

— Добрый день, отец! — раздавался из рядов визгливый голос этого отвратительного мальчишки, и офицеры, ученики, прислуживавшие в кафе мальчики — все хохотали.

Это «добрый день, Букуаран!» сделалось для меня пыткой, и не было никакой возможности ее избежать. Дорога на Поляну вела мимо этого кафе, и мой преследователь никогда не пропускал свидания со мной.

Иногда я испытывал сильное желание подойти к нему и вызвать его на дуэль, но некоторые соображения удерживали меня: прежде всего, конечно, боязнь быть выгнанным, а затем, рапира маркиза, эта чортовски длинная рапира, погубившая столько человеческих жизней в те времена, когда он служил в лейб-гвардии.

И тем не менее, доведенный однажды до крайности, я отыскал Рожэ, учителя фехтования, и без лишних слов объявил ему, что намерен драться с маркизом на шпагах. Рожэ, с которым я давно уже не разговаривал, слушал меня сначала довольно безучастно, но когда я кончил, он в порыве восторга горячо пожал мне руки.

— Браво, господин Даниэль! Я всегда знал, что с вашей внешностью вы не можете быть шпионом. Но на какой чорт вы связались с этим Вио? Теперь вы снова наш, и все забыто! Вашу руку. У вас благородное сердце... Теперь о вашем деле: вас оскорбили? Хорошо! Вы хотите требовать удовлетворения? Очень хорошо! Вы не имеете ни малейшего понятия о фехтовании? Очень, очень хорошо! Вы хотите, чтобы я помешал тому, чтобы этот старый индюк заколол вас? Превосходно! Приходите в фехтовальную залу, и через шесть месяцев вы его заколете.

Видя, как горячо принял мою сторону этот милейший Рожэ, я покраснел от удовольствия. Мы условились об уроках: три часа в неделю; условились и о цене,—совершенно исключительной, по его уверению. (Действительно «исключительной»: впоследствии я узнал, что он брал с меня вдвое дороже, чем с других!) Когда все эти условия были выяснены, Рожэ взял меня дружески под руку.

— Господин Даниэль,— сказал он,— сегодня уже слишком поздно для занятий, но, во всяком случае, мы можем пойти в кафе «Барбет» закрепить нашу сделку... Бросьте ребячиться! Неужели вы боитесь итти в это кафе?.. Идемте же, чорт возьми! Расстаньтесь на время с этим гнездом педантов. Вы найдете в кафе друзей, добрых малых, «благородные сердца», и в их обществе скоро оставите ваши бабьи манеры, которые вам так вредят.

Увы, я дал себя уговорить! Мы пошли в кафе «Барбет». Оно было все так же полно шума, криков, табачного дыма и красных штанов; те же кивера и те же портупеи висели на тех же вешалках.

Друзья Рожэ встретили меня с распростертыми объятиями. Он был прав,—это были благородные сердца. Узнав о моей истории с маркизом и о принятом мною решении, они один за другим подходили ко мне и жали мне руку: «Браво, молодой человек! Очень хорошо!»

У меня тоже было благородное сердце... Я велел подать пунш, все пили за мой успех, и все благородные сердца единогласно решили, что в конце учебного года я убью маркиза Букуарана.

ГЛАВА X

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Настала зима, сухая, суровая и мрачная, какая бывает только в горных местностях. Дворы коллежа с большими оголенными деревьями и с замерзшей, точно окаменевшей, землей имели печальный вид. Приходилось вставать до рассвета, при огне, было холодно, вода в умывальниках замерзала... Ученики одевались медленно, колокол сзывал их по нескольку раз. «Торопитесь же, господа!»—кричали воспитатели, расхаживая по комнате, чтобы согреться... Ученики молча, кое-как строились в ряды, спускались по большой, слабо освещенной лестнице, а потом шли по длинным коридорам, в которых дул убийственный зимний ветер.

Плохая это была зима для Малыша!..

Я совсем не мог работать. В классе нездоровый жар печки усыплял меня. Во время классных занятий, спасаясь от холода моей мансарды, я бежал в кафе «Барбет», откуда уходил только в самую последнюю минуту. Теперь Рожэ давал мне там свои уроки, так как холода выгнали нас из фехтовальной залы, и мы упражнялись в кафе бильярдными киями, прихлебывая пунш. Офицеры давали заключение о качестве ударов. Все эти благородные люди сделались моими друзьями и каждый день обучали меня какому-нибудь новому приему, который должен был неминуемо сразить этого бедного маркиза де Букуарана. Они научили меня также искусству подслащивать абсент, а когда эти господа играли на бильярде, я был их маркером...

Да, это была тяжелая зима для Малыша!..

Однажды утром, когда я входил в кафе «Бар-

бет»,— я как сейчас помню стук бильярдных шаров и треск огня в большой кафельной печке,— Рожэ быстро подошел ко мне:

— На пару слов, господин Даниэль!— сказал он с таинственным видом, увлекая меня в соседнюю залу.

Он поведал мне тайну своей любви!.. Можете себе представить, как я был горд, выслушивая признание человека такого громадного роста. Это и меня самого делало как будто немного выше.

История такова. Этот бахвал, учитель фехтованья, встретил в городе, — где именно, он не хотел сказать,—некую особу, в которую безумно влюбился. По его словам, эта особа занимала в Сарланде такое высокое положение, — гм! гм! вы понимаете?—такое исключительное положение, что учитель фехтованья до сих пор не мог понять, как он осмелился поднять так высоко свои взоры?! И тем не менее, несмотря на занимаемое этой особой положение, положение такое высокое, такое... и прочее и прочее — он надеялся добиться ее любви и даже считал, что настал момент пустить в ход письменное признание. К несчастью, учителя фехтованья не очень-то ловко владеют пером. Другое дело, если бы речь шла о какой-нибудь гризетке; но с особой, занимающей «такое высокое положение, такое... и прочее» — нельзя было разговаривать стилем винных погребков. Тут нужен был настоящий поэт.

— Я понимаю, в чем тут дело,—сказал многозначительно Малыш.—Вам надо состряпать для этой особы любовное письмо, и вы вспомнили обо мне.

— Вот именно, — ответил учитель фехтованья.

— Ну, в таком случае я к вашим услугам. Мы начнем, когда вам будет угодно. Но для того

чтобы мои письма не казались заимствованными из «Образцового письмовника», вы должны дать мне некоторые сведения об этой особе...

Учитель фехтованья посмотрел вокруг с недоверчивым видом и потом шопотом, касаясь своими усами моего уха, произнес:

— Она блондинка. Из Парижа. Пахнет, как цветок, и зовут ее Сесиль.

Он ничего больше не мог сообщить мне ввиду исключительного положения особы, положения такого высокого... и прочее и прочее. Но и этих данных для меня было достаточно, и в тот же вечер, во время классных занятий, я написал свое первое письмо белокурой Сесили.

Эта оригинальная переписка Малыша с таинственной особой продолжалась около месяца. В течение месяца я писал в среднем по два любовных письма в день, причем некоторые из них были нежны и туманны, как письма Ламартина к Эльвире; другие пламенны и страстны, как письма Мирабо к Софи. Были и такие, которые начинались словами: «О, Сесиль! *Порою, на утесе диком*»... и заканчивались: «*Говорят, что от этого умирают... Попробуем!*» Иногда вмешивалась и Муза:

Уста твои пылкие
Хочу лобызать!

Сейчас я говорю об этом со смехом, но в то время, клянусь вам, Малыш не смеялся и проделывал все это самым серьезным образом. Окончив письмо, я отдавал его Рожэ для того, чтобы он его переписал своим красивым почерком. Получив от нее ответ (она отвечала, несчастная!), он, в свою очередь, спешил принести его мне, и на этих ответах я строил свои дальнейшие действия.

В общем, эта игра увлекала меня, возможно даже, увлекала больше, чем следовало. Эта невидимая блондинка, благоухающая, как белая сирень, не выходила у меня из головы. Минутами мне казалось, что я пишу ей от себя. Я наполнял эти письма личными признаниями, проклятиями судьбе и тем низким и злым существам, среди которых мне приходилось жить... «О, Сесиль, если бы ты знала, как я нуждаюсь в твоей любви!»

Порой, когда Рожэ, покручивая усы, говорил мне: «Клюет!.. Клюет!.. Продолжайте!», я чувствовал в глубине души какую-то досаду и думал: «Как может она верить, что эти письма, полные страсти и печали, пишет ей этот толстый балагур, этот Fanfan la Tulipe.

Но тем не менее она этому верила. Так твердо верила, что в один прекрасный день учитель фехтованья с торжествующим видом вручил мне только что полученный от нее ответ: «Сегодня вечером, в девять часов, позади здания супрефектуры».

Не знаю, моим ли красноречивым письмам, или своим длинным усам обязан был Рожэ этим успехом? Решить этот вопрос я предоставляю вам, сударыни. Во всяком случае, в эту ночь Малыш спал беспокойно в своем унылом дортуаре. Ему снилось, что он высокого роста, что у него длинные усы и что парижанки, занимавшие совершенно исключительное положение, назначают ему свидания за зданием супрефектуры...

Комичнее всего было то, что на следующий день мне пришлось писать благодарственное послание Сесили: благодарить «ангела, согласившегося провести ночь на земле...» за то счастье, которое она мне дала.

Должен сознаться, что Малыш писал это

письмо с бешенством в душе. К счастью, переписка на этом прекратилась, и я больше ничего не слыхал ни о Сесили, ни о ее высоком положении.

ГЛАВА XI
МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ, УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНЬЯ

В этот день 18 февраля дети не могли играть на дворе, так как за ночь выпало много снега. Тотчас же по окончании утреннего урока их всех собрали в зале, где, защищенные от дурной погоды, они должны были провести все рекреационное время в ожидании дальнейших занятий.

Надзор за ними был поручен мне.

«Залом» назывался у нас бывший гимнастический зал Морского училища. Представьте себе четыре высокие, голые стены с маленькими решетчатыми окнами; кое-где в стенах наполовину уже выдернутые крюки, остатки больших лестниц, а посредине потолка, прикрепленное веревкой к самой большой балке, огромное железное кольцо.

Детям, повидимому, очень нравилось играть здесь. Они шумно бегали по залу, поднимая столбы пыли; некоторые пробовали достать кольцо; другие, повиснув на нем на руках, громко визжали; пятеро или шестеро — более спокойного темперамента — жевали у окна хлеб, посматривая на покрывавший улицы снег и на людей, лопатами бросавших его на телеги.

Но я не слышал всей этой шумной возни.

Один, в углу, я со слезами на глазах читал только что полученное письмо, и если бы в этот момент дети разнесли весь коллеж, я ничего не заметил бы... Письмо было от Жака и

на нем виднелся штемпель Парижа... Да, Парижа!!! Вот его содержание:

«Дорогой Даниэль,

Мое письмо, конечно, удивит тебя. Ты и не подозревал, не правда ли, что вот уже две недели, как я в Париже. Я покинул Лион, никому ничего не сказав. Безрассудный поступок,— но что поделаешь? Я слишком скучал в этом отвратительном городе, особенно после твоего отъезда...

Я приехал сюда с тридцатью франками в кармане и с пятью или шестью письмами от сен-низьерского священника. К счастью, провидение сразу взяло меня под свое покровительство и направило к одному старому маркизу, к которому я и поступил в качестве секретаря. Мы приводим в порядок его мемуары; я пишу под его диктовку и получаю за это сто франков в месяц. Как видишь, это не очень блестяще, но я все-таки надеюсь, что время от времени буду иметь возможность посылать кое-что домой...

Ах, мой дорогой Даниэль, что за прелестный город Париж! Здесь по крайней мере нет этих вечных туманов; конечно, иногда идет дождь, но это маленький веселый дождь вместе с солнцем. Я нигде такого не видел! В результате, я совершенно переменился; представь себе, я больше не плачу — нечто совершенно невероятное!..»

На этой фразе я был прерван глухим шумом проезжавшего под окнами экипажа. Карета остановилась у подъезда коллежа, и я услышал, как дети во все горло закричали: — Супрефект! Супрефект!

Визит господина супрефекта предвешал несомненно нечто из ряда вон выходящее. Обыч-

но он приезжал в Сарландский коллеж один или два раза в год, и это всегда было целым событием. Но в данную минуту, единственно, что меня интересовало и что было для меня важнее сарландского супрефекта и всего Сарланда вообще — это письмо моего брата Жака. А потому, в то время как развеселившиеся ученики толпились у окон, чтобы посмотреть на выходящего из кареты супрефекта, я вернулся в свой угол и продолжал читать:

«...Сообщаю тебе, мой дорогой Даниэль, что наш отец сейчас в Бретани, где он скупает сидр по поручению одной фирмы. Узнав, что я состою секретарем маркиза, он пожелал продать ему несколько бочонков этого сидра, но, к сожалению, маркиз ничего не пьет, кроме вина, и притом только испанского! Я написал об этом отцу, и знаешь, что он мне ответил? — Свое неизменное: «Жак, ты осел!» Но я не придаю этому значения, мой дорогой Даниэль, так как знаю, что в глубине души он очень любит меня.

Что касается мамы, то ты ведь знаешь, что она теперь совсем одна. Тебе следовало бы ей написать: она жалуется на твое молчание.

Забыл сказать одну вещь, которая, конечно, обрадует тебя: у меня комната в Латинском квартале... В Латинском квартале!.. Подумай только!.. Настоящая комната поэта, как ее описывают в романах, с маленьким окном и видом на море крыш... Кровать моя не широка, но если понадобится, мы отлично уместимся на ней вдвоем. В углу стоит рабочий стол, на котором будет очень удобно писать стихи. Я уверен, что если бы ты все это увидел, то тебе захотелось бы как можно скорей ко мне приехать. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы ты был здесь со

мной, и я не ручаюсь за то, что в один прекрасный день не вызову тебя сюда.

А пока что, люби меня попрежнему и не слишком переутомляйся, чтобы не захворать.

Целую тебя.

Твой брат Жак».

Добрый Жак! Какую сладостную боль причинил он мне своим письмом! Я и смеялся, и плакал в одно и то же время. Моя жизнь за последние месяцы — пунш, бильярд, кафе «Барбет» — все это казалось мне теперь отвратительным сном, и я сказал себе: «Довольно! Кончено! Теперь я буду работать, буду таким же мужественным, как Жак!»

В эту минуту прозвучал колокол. Мои ученики построились в ряды. Все они оживленно болтали о супрефекте и указывали друг другу на стоявшую у подъезда карету. Я передал их с рук на руки преподавателям и, освободившись от них, бросился бегом по лестнице. Мне так хотелось поскорее остаться одному в своей комнате с письмом моего Жака!

— Господин Даниэль! Вас ждут в кабинете директора.

У директора?.. Для чего понадобился я директору?.. Швейцар смотрел на меня как-то странно. Вдруг я вспомнил о супрефекте.

— Господин супрефект тоже наверху? — спросил я.

— Да, — ответил швейцар.

Сердце мое забилось надеждой, и я стал поспешно подниматься по лестнице, шагая через четыре ступеньки.

Бывают дни, когда точно сходишь с ума. Услыхав, что супрефект ждет меня у директора — знаете ли вы, что я вообразил? Я вообразил, что он обратил на меня внимание в день

раздачи наград и приехал теперь в коллеж специально для того, чтобы предложить мне быть его секретарем! Мне казалось это вполне естественным. Письмо Жака с его рассказами о старом маркизе, очевидно, помутило мой рассудок.

Как бы то ни было, но по мере того как я поднимался по лестнице, моя уверенность все возрастала: секретарь супрефекта! Я не помнил себя от радости...

На повороте коридора я встретил Рожэ. Он был очень бледен и взглянул на меня с таким видом, точно хотел мне что-то сказать. Но я не остановился: у супрефекта не было времени ждать меня!

Когда я подходил к дверям кабинета, сердце мое сильно билось. Секретарь супрефекта! Я должен был на секунду остановиться, чтобы перевести дух. Я поправил галстук, пригладил рукой волосы и тихонько повернул ручку двери.

Если б я знал, что меня ожидало!..

Супрефект стоял, небрежно облокотившись на мраморную доску камина, и улыбался в светлорусую бороду. Директор, в халате, с бархатной шапочкой в руках стоял возле него в подобострастной позе. Срочно вызванный Вио скромно держался в сторонке.

Как только я вошел, супрефект промолвил, указывая на меня:

— Так вот тот господин, который обольщает наших горничных?

Он произнес эту фразу звонким, насмешливым голосом, не переставая улыбаться. Я сначала подумал, что он шутит, и ничего не ответил, но супрефект не шутил и после минутного молчания, все еще улыбаясь, продолжал:

— Ведь я имею честь говорить с господином

Даниэлем Эйсетом, не правда ли? С господином Даниэлем Эйсетом, соблазнителем горничной моей жены?

Я не знал, о чем шла речь, но услыхав слово «горничная», которое мне вторично бросали в лицо, почувствовал, что краснею от стыда, и воскликнул с искренним негодованием:

— Горничную?.. я?!. Я никогда не соблазнял никакой горничной.

Искра презрения сверкнула из-под очков директора, и я услыхал, как ключи зазвенели в углу: «Какая наглость!»

Супрефект продолжал улыбаться. Он взял с каминной доски маленький сверток бумаг, который я сначала не заметил, и, небрежно помахивая им, повернулся ко мне:

— Сударь, — сказал он, — вот веские доказательства вашей вины: письма, найденные у этой особы. Правда, они без подписи, и горничная не пожелала никого назвать... Но дело в том, что в этих письмах часто упоминается коллеж, и, на ваше несчастие, господин Вио узнал ваш почерк и ваш стиль...

Тут ключи свирепо зазвенели, а супрефект все с той же улыбкой прибавил:

— В Сарландском коллеже не так уж много поэтов!

При этих словах у меня мелькнула ужасная мысль... Мне захотелось поближе взглянуть на эти бумаги, и я бросился к супрефекту. Испугавшись скандала, директор хотел было остановить меня, но супрефект спокойно протянул мне пачку.

— Взгляните! — сказал он мне.

Боже мой! Мои письма к Сесили!..

... Они все, все были здесь, с первого, начинавшегося восклицанием: «*О, Сесиль! Порою, на*

утесе диком...» до последнего благодарственного гимна: *«ангелу, согласившемуся провести ночь на земле...»* И подумать, что все эти красивые цветы любовной риторики я бросал под ноги какой-то горничной!.. Подумать, что эта особа, занимающая такое высокое положение, такое... и прочее и прочее, каждое утро мыла грязные галоши жены супрефекта!.. Можете себе представить мое бешенство, мое смущенье!

— Ну, что вы на это скажете, господин Дон-Жуан? — насмешливо спросил супрефект после минутного молчания. — Это ваши письма? Да или нет?

Вместо ответа я опустил голову. Одно слово могло бы меня спасти. Но я не произнес этого слова. Я готов был все перенести, чтобы не выдать Рожэ... Заметьте, что во все время этой катастрофы Малыш ни на минуту не заподозрил своего друга в нечестности. Увидав свои письма, он подумал: «Рожэ, вероятно, ленился их переписывать; он предпочитал сыграть за это время партию на бильярде и отсылал мои»... Как он был наивен, этот Малыш!

Увидев, что я не желаю отвечать, супрефект спрятал письма в карман и, повернувшись к директору и его помощнику, сказал:

— Теперь, господа, вы сами знаете, как вы должны поступить.

В ответ на эти слова ключи господина Вио мрачно зазвенели, а директор, кланяясь чуть не до земли, сказал, что господина Эйсета следовало бы немедленно выгнать из училища, но что, во избежание скандала, он оставит его здесь еще на неделю, — ровно на столько, сколько нужно для того, чтобы найти нового воспитателя.

При этом страшном слове «выгнать» все мое

мужество покинуло меня. Я молча поклонился и быстро вышел из кабинета. Едва я очутился один в коридоре, как слезы брызнули у меня из глаз, и я стремглав бросился в свою комнату, заглушая платком рыданья.

Рожэ ждал меня там. Он казался очень встревоженным и большими шагами расхаживал по комнате.

Увидав меня, он тотчас же подошел ко мне.

— Господин Даниэль? — проговорил он, вопросительно взглядывая на меня.

Ничего не отвечая, я тяжело опустился на стул.

— Слезы?!. Бросьте ваше ребячество!..—продолжал грубым тоном учитель фехтованья. — Все это ни к чему!.. Да ну, скорей же!.. Что там такое произошло?

Тогда я подробно рассказал ему об ужасной сцене в кабинете.

По мере того как я говорил, лицо Рожэ прояснялось; он уж не смотрел на меня с прежним высокомерием, и когда узнал, что я согласился быть выгнанным, чтобы не выдать его, он протянул мне обе руки и просто сказал:

— Даниэль, у вас благородное сердце.

В эту минуту до нас донесся шум отъезжавшего экипажа; это уезжал супрефект.

— Вы благородная душа, — повторял мой добрый друг, учитель фехтованья, крепко, до боли сжимая мне руки. — Да, вы благородная душа... Больше я вам ничего не скажу, но вы должны понять, что я никому не позволю жертвовать собой ради меня.

Говоря это, он все ближе подходил к двери.

— Не плачьте, господин Даниэль, — я сейчас же пойду к директору, и, клянусь вам, что не вы будете выгнаны из училища.

Он сделал еще шаг к выходу, потом вернулся

с таким видом, точно он что-то забыл, и шопотом проговорил:

— Выслушайте внимательно то, что я скажу вам на прощанье. Ваш друг Рожэ не один на свете; у него есть дряхлая мать, которая живет далеко, в глуши... Мать!.. бедная, святая женщина!.. Обещайте мне, что вы ей напишете. Я снова прошу вас о письме, но уже о последнем... Обещайте же мне, что напишете ей, когда все будет кончено.

Это было сказано спокойно, но таким тоном, что я почувствовал страх.

— Что вы хотите сделать? — вскричал я.

Рожэ ничего не ответил; он только слегка распахнул свою куртку, и я увидел в его кармане блестящее дуло пистолета.

Я бросился к нему в испуге.

— Вы хотите лишить себя жизни, несчастный?! Застрелиться?..

Он холодно ответил:

— Мой милый, когда я был на военной службе, я дал себе слово, что если когда-либо в результате безрассудного поступка, буду разжалован, то не переживу позора. Настало время сдержать это слово... Через какие-нибудь пять минут я буду выгнан из коллежа, другими словами — «разжалован»... А через час... прощайте!.. Все будет кончено для меня...

Услышав это, я с решительным видом заградил ему путь к двери.

— Нет, нет! Рожэ, вы не выйдете отсюда!.. Я лучше потеряю место, чем соглашусь быть причиной вашей смерти.

— Не мешайте мне исполнить мой долг! — мрачно ответил он, и, несмотря на все мое сопротивление, ему удалось приоткрыть дверь.

Тогда мне пришло в голову заговорить о его

матери, об этой «бедной матери, жившей где-то в глуши». Я доказывал ему, что он должен жить ради нее, что мне всегда удастся найти себе другое место; говорил, что у нас еще целая неделя впереди и что, во всяком случае, нельзя принимать такого ужасного решения до самого последнего момента. Это соображение на него, повидимому, подействовало. Он согласился отложить на несколько часов свой визит к директору и то, что должно было последовать за этим...

В это время раздался колокол, мы обнялись, и я спустился в класс.

Но какова человеческая натура! Я вошел в свою комнату полный отчаяния, а вышел из нее почти сияющий... Малыш так гордился тем, что спас жизнь своему доброму другу — учителю фехтованья!

И все же я должен сказать, что, когда я занял свое место на кафедре и первый порыв энтузиазма прошел, я задумался о своем собственном положении. Рожэ соглашался остаться жить, разумеется, это было очень хорошо, но я сам... что я сам буду делать после того, как мой самоотверженный поступок выставит меня из коллежа?..

Положение было не из веселых. Я уже видел мать в слезах, отца в гневе, восстановление домашнего очага неосуществимым... К счастью, я вспомнил о Жаке: как хорошо, что его письмо пришло как раз сегодня утром! В конце концов все может уладиться: мне стоит только поехать к нему. Ведь он пишет, что в его кровати места хватит для нас обоих! К тому же в Париже можно всегда найти заработок...

Но тут мне пришла в голову ужасная мысль: чтобы уехать, нужны деньги... на железнодо-

рожный билет, во-первых, а затем я должен пятьдесят восемь франков швейцару, десять — одному из учеников старшего класса, и еще громадные суммы, записанные на мой счет в кафе «Барбет»! Где раздобыть столько денег?!.

«Да что там, — сказал я себе после некоторого раздумья, — стоит беспокоиться о таких пустяках. А Рожэ? Рожэ богат. У него в городе много уроков, и он будет, конечно, только счастлив достать мне несколько сотен франков, мне, человеку, спасшему ему жизнь».

Мысленно уладив свои дела, я забыл обо всех катастрофах этого дня и стал думать о своей поездке в Париж. Я был так радостно настроен, что не мог усидеть на месте, и господин Вио, явившийся в класс, чтобы насладиться зрелищем моего отчаяния, был очень разочарован, увидав мою веселую физиономию. За обедом я ел с большим аппетитом, а во дворе, во время перемены, простил нескольких шалунов. Наконец, колокол возвестил об окончании занятий.

Самым неотложным делом было повидать Рожэ. Одним прыжком я очутился у него в комнате, но она была пуста. «Понимаю,—подумал я, — он, конечно, отправился в кафе «Барбет». При наличии таких драматических обстоятельств в этом не было ничего удивительного.

Но в кафэ «Барбет» тоже не было никого. — «Рожэ, — сказали мне там, — отправился с унтер-офицерами на Поляну». Но что же, чорт возьми, могли они там делать в такую погоду?.. Меня это начинало беспокоить и, отказавшись от предложенной мне партии на бильярде, я подвернул брюки и устремился по снегу на Поляну, на поиски своего доброго друга, учителя фехтованья.

ГЛАВА XII
ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

От Сарландских ворот до Поляны добрых пол-мили, но я так быстро шел, что проделал этот путь менее, чем в четверть часа. Я дрожал за Рожэ. Я боялся, что бедный малый, вопреки своему обещанию, все расскажет директору во время урока, и мне казалось, что я вижу перед собой блеск его пистолета... Эта мрачная мысль несла меня вперед, как на крыльях.

Но вскоре я заметил на снегу следы многочисленных ног, направлявшихся к Поляне, и мысль, что учитель фехтованья был не один, меня немного успокоила.

Замедлив шаги, я принялся думать о Париже, о Жаке, о своем отъезде... Но минуту спустя мои страхи возобновились.

Несомненно, Рожэ решил застрелиться... Иначе зачем бы он пошел сюда, в это пустынное место, так далеко от города? Если же он привел с собой своих друзей из кафе «Барбет», то это для того, чтобы выпить с ними «прощальный кубок», как они называют... О, эти военные!..

И при этой мысли я опять пустился бежать. К счастью, до Поляны было теперь недалеко; я видел уже большие, покрытые снегом, деревья.

«Бедный друг, — думал я, — только бы поспеть во-время!»

Следы шагов привели меня к кабачку Эсперона.

Этот кабачок пользовался очень дурной славой. В нем сарландские кутилы устраивали свои утонченные пиршества. Я не раз бывал там в обществе «благородных сердец», но никогда еще он не казался мне таким зловещим, как в этот день. Желтый и грязный посреди белоснежной

равнины, с низкой дверью, ветхими стенами и плохо вымытыми окнами, он прятался за рощицей невысоких вязов, точно сам стыдясь своего гнусного промысла...

Подходя к кабачку, я услышал веселые голоса, смех и звон стаканов.

«Боже! — воскликнул я, содрогаясь. — Так и есть... Прощальный кубок...»

И я остановился, чтобы перевести дух.

Я находился в это время позади кабачка и, толкнув калитку, вошел в сад. Но какой сад! Ветхая поломанная изгородь, голые кусты сирени, на снегу кучи мусора и всяких нечистот и несколько низеньких беседок, совершенно белых от лежащего на них снега, похожих на хижины эскимосов... Вид до того унылый, что можно было заплакать.

Шум доносился из залы первого этажа. Попойка была, очевидно, в самом разгаре, судя по тому, что, несмотря на холод, оба окна были раскрыты настежь.

Я занес уже ногу на первую ступеньку крыльца, как вдруг услышал нечто такое, что заставило меня сразу остановиться и оцепенеть: это было мое имя, прозвучавшее среди громких взрывов хохота. Обо мне говорил Рожэ и, — странная вещь, — всякий раз, когда произносилось имя Даниэля Эйсета, слушатели покатывались со смеху.

Движимый мучительным любопытством, чувствуя, что я услышу сейчас что-то необычайное, я отошел и, не замеченный никем, благодаря снегу, заглушавшему, подобно мягкому ковру, мои шаги, проскользнул в одну из беседок, находившуюся как раз под открытыми окнами.

Всю жизнь я буду видеть перед собой эту беседку. Всю жизнь буду видеть покрывавшую

ее сухую, мертвую зелень, грязный сырой пол, маленький зеленый стол и деревянные скамейки, с которых стекала вода... Сквозь лежавший на ней снег еле проникал дневной свет; снег медленно таял, и на голову мне одна за другой падали холодные капли...

Там, в этой черной и холодной, как могила, беседке, я узнал, как злы и подлы могут быть люди; там я научился сомневаться, презирать, ненавидеть... Да сохранит тебя бог, читатель, от такой ужасной беседки!.. Неподвижный, затаив дыхание, красный от гнева и стыда, я слушал, что говорилось в кабачке Эсперона.

Мой добрый друг, учитель фехтованья, болтал безумолку... Он рассказывал о случае с Сесиль, о любовной переписке, о приезде супрефекта в коллеж и не жалел красок и выразительных жестов, которые, вероятно, были очень комичны, судя по восторженным возгласам его аудитории.

— Вы понимаете, голубчики, — говорил он насмешливым тоном, — что я недаром в течение трех лет играл в комедиях на сцене театра зуавов. Клянусь вам, была минута, когда я думал, что дело мое проиграно и что мне никогда уж больше не придется пить в вашей компании доброе винцо старика Эсперона... Правда, маленький Эйсет ничего не рассказал, но время для этого еще не ушло, и, между нами говоря, я думаю, что ему только хотелось предоставить мне честь самому на себя донести... А потому я сказал себе: «Смотри в оба, Рожэ, и начинай свою главную сцену!»

И мой добрый друг, учитель фехтованья, немедленно принялся играть свою «главную сцену», то есть изображать все то, что произошло между нами в это утро у меня в комнате. А!

Негодяй! Он ничего не забыл... Театральным тоном он кричал: «*Моя мать! Моя бедная мать!*» Потом, подражая моему голосу: «*Нет, Рожэ! Нет! Вы отсюда не выйдете!..*» Главная сцена была, действительно, в высокой степени комична, и все присутствующие умирали со смеху. Я чувствовал, как горькие слезы катились у меня по щекам, меня трясло, в ушах звенело. Я понял теперь всю омерзительную комедию этого утра; понял, что Рожэ умышленно посылал мои письма непереписанными, чтобы оградить себя от всяких случайностей; узнал, что его мать, его бедная мать умерла двадцать лет назад, и что я принял металлический футляр его трубки за пистолетное дуло.

— А прекрасная Сесиль? — спросил один из благородных людей.

— Сесиль уехала, ничего не рассказав. Она славная девушка.

— А маленький Даниэль? Что с ним теперь будет?

— Ба!.. — ответил Рожэ.

За этим последовал жест, заставивший всех рассмеяться. Этот смех окончательно вывел меня из себя. Мне захотелось выскочить из беседки и внезапно предстать перед ними подобно привидению. Но я сдержал себя. Я и без того был достаточно смешон.

Подали жаркое. Начались тосты.

— За здоровье Рожэ! За здоровье Рожэ! — кричали собутыльники.

Я не мог дольше там оставаться, — я слишком страдал. Не думая о том, что меня могли заметить, я кинулся бегом через сад. Одним прыжком я был у калитки и пустился бежать, как безумный.

Ночь надвигалась безмолвная, и на всем этом

громадном снежном поле, уже окутанном вечерними сумерками, казалось, лежала печать глубокой тоски.

Я бежал так некоторое время, подобно раненому козленку, и если бы «разбитые, истекающие кровью» сердца не были только поэтической метафорой, то вы нашли бы там, позади меня, на этой белой равнине длинный кровавый след...

Я чувствовал, что погиб. Где достать денег? Что сделать, чтобы уехать отсюда? Как добраться до моего брата Жака? Если бы я и выдал Рожэ, все равно это не помогло бы мне... Теперь, когда Сесиль уехала, он стал бы все отрицать.

Наконец, измученный и обессиленный ходьбой и отчаянием, я упал на снег у каштанового дерева. Я, может быть, пролежал бы там до утра, плача и не имея даже сил думать, как вдруг далеко, далеко, в стороне Сарланда, я услышал звон колокола. Это был колокол коллежа. Я обо всем позабыл — этот звон вернул меня к жизни. Надо было возвращаться и наблюдать за игрой детей в гимнастическом зале во время перемены... Когда я вспомнил об этом зале, в голове моей мелькнула новая мысль... В ту же минуту рыдания мои прекратились. Почувствовав себя сразу более сильным и более спокойным, я встал и твердыми шагами человека, только что принявшего непоколебимое решение, направился по дороге в Сарланд.

Если вы хотите знать, какое непоколебимое решение принял Малыш, последуйте за ним в Сарланд через всю эту белую равнину и дальше по темным грязным улицам города до самого здания коллежа; войдите вслед за ним во время перемены в гимнастический зал и обратите внимание на то, с каким странным упорством он смотрит на большое железное кольцо, раскачивающееся

посреди комнаты; а по окончании перемены последуйте за ним в класс, поднимитесь вместе с ним на кафедру и через его плечо прочтите полное скорби письмо, которое он пишет среди шума и гама бушующих детей.

«*Господину Жаку Эйсету,*
Улица Бонапарта. Париж.

Прости мне, мой дорогой Жак, то горе, которое я сейчас причиню тебе. Я еще раз заставлю тебя заплакать, — тебя, переставшего уже плакать... Но это будет в последний раз... Когда ты получишь это письмо, твоего Даниэля уже не будет в живых...»

Шум и гам в классе усиливаются. Малыш прерывает свое писание, делает замечания направо и налево, но спокойно, не выходя из себя, потом продолжает:

«... Видишь, Жак, я был слишком несчастен. Мне не оставалось ничего другого как покончить с собой... Моя будущность погублена: меня выгнали из коллежа... В этой истории замешана женщина... Сейчас слишком долго рассказывать все это... Кроме того, я наделал долгов, разучился работать, мне стыдно, я скучаю, мне все надоело, жизнь меня пугает... Лучше совсем уйти!..»

Малыш опять вынужден остановиться:
— Пятьсот стихов Субейролю! Фук и Лупи в воскресенье без отпуска.
Затем он возвращается к письму.

«...Прощай, Жак! Мне еще многое нужно было сказать тебе, но я чувствую, что расплачусь, а ученики смотрят на меня... Скажи маме, что во время прогулки я поскользнулся и свалился с утеса или что я утонул, катаясь на коньках.

Одним словом, выдумай какую-нибудь историю, пусть только бедняжка никогда не узнает правды!.. Покрепче поцелуй ее за меня, дорогую мою маму, обними также отца и постарайся поскорее восстановить домашний очаг... Прощай, я люблю тебя. Вспоминай Даниэля».

Окончив это письмо, Малыш тотчас же начинает другое.

«Господин аббат, прошу вас доставить моему брату Жаку прилагаемое письмо. Вместе с тем прошу также отрезать прядь моих волос и положить в маленький пакет для моей матери.

Простите меня за причиненную вам неприятность. Я покончил с собой потому, что был здесь слишком несчастен. Вы один, господин аббат, были всегда очень добры ко мне. Благодарю вас.

Даниэль Эйсет».

Затем Малыш кладет оба письма в один конверт и делает следующую надпись: «Прошу того, кто первый найдет мой труп, передать это письмо аббату Жерману».

Покончив с этими делами, он спокойно ждет конца урока.

Уроки кончились; ужинают, молятся и отправляются в дортуар.

Ученики ложатся. Малыш ходит взад и вперед по комнате, ожидая, чтобы они уснули. Вскоре раздается звяканье ключей господина Вио и шум его шагов по паркету. Он делает свой обход.

— Покойной ночи, господин Вио! — бормочет Малыш.

— Покойной ночи! — отвечает вполголоса инспектор. Потом он удаляется, и его шаги замирают в коридоре.

Малыш остается один. Он тихонько открывает

дверь и на момент останавливается на площадке послушать, не проснулись ли ученики. Но в дортуаре все тихо.

Тогда он спускается вниз, пробирается медленно, неслышными шагами вдоль стен. Врываясь из-под дверей, уныло завывает северный ветер... Проходя по галерее, Малыш видит двор, белый от снега среди четырех совершенно темных корпусов коллежа.

Только наверху под самой крышей светится одно окно: там аббат Жерман работает над своим сочинением. От всего сердца Малыш посылает прощальный привет доброму аббату; потом входит в зал...

Старый гимнастический зал Морского училища полон холодного зловещего мрака. Сквозь решетчатое окно льется слабый свет луны и падает прямо на громадное железное кольцо... — Ах, это кольцо... Малыш, не переставая, думал о нем в течение последних часов. Оно блестит, как серебро. В одном углу зала дремлет старая скамейка. Малыш берет ее, ставит под кольцо и становится на нее. Он не ошибся: высота подходящая. Тогда он снимает галстук, длинный шелковый фиолетовый галстук, который он повязывает вокруг шеи, как ленту, прикрепляет его к кольцу и делает затяжную петлю... Бьет час. Пора! Нужно умирать... Дрожащими руками Малыш растягивает петлю... Его трясет лихорадка. Прощай, Жак! Прощайте, мама...

Вдруг на него опускается чья-то железная рука. Он чувствует, что кто-то схватывает его за талию, поднимает и ставит на пол около скамейки. В то же время резкий и насмешливый, хорошо знакомый голос произносит:

— Вот странная фантазия упражняться на трапеции в этот час!

Малыш с изумлением оборачивается.

Перед ним аббат Жерман. Аббат Жерман без рясы, в коротких штанах и в жилетке, с болтающимися на ней брыжжами. Его прекрасное, обезображенное оспой лицо, слабо освещенное луной, грустно улыбается... Он снял самоубийцу с табурета, действуя одной рукой; в другой он все еще держит графин, полный воды, за которой он спускался во двор.

Видя испуганное, взволнованное лицо Малыша и его полные слез глаза, аббат Жерман перестает улыбаться и повторяет, — на этот раз более мягким, почти растроганным голосом:

— Какая странная фантазия, милый Даниэль, упражняться на трапеции в такой час!

Малыш стоит, весь красный от смущения.

— Я не упражняюсь на трапеции, господин аббат, — я... хочу умереть...

— Как!.. умереть?.. Ты, значит, очень несчастлив?

— О, да!.. — только и может произнести Малыш, и крупные жгучие слезы катятся у него по щекам.

— Даниэль, ты пойдешь сейчас ко мне, — говорит аббат.

Малыш качает отрицательно головой и показывает на железное кольцо с привязанным к нему галстуком... Аббат Жерман берет его за руку:

— Послушай, идем сейчас в мою комнату; если ты хочешь с собой покончить, то сделаешь это у меня наверху; там тепло и уютно.

Но Малыш противится:

— Дайте мне умереть, господин аббат! Вы не имеете права мешать мне...

Глаза аббата вспыхивают гневом.

— Аа! Вот как! — И, схватив Малыша за кушак, он уносит его подмышкой, точно какой-

нибудь сверток, несмотря на его сопротивление и мольбы...

И вот мы у аббата Жермана. В камине пылает яркий огонь; около камина на столе горит лампа, лежат трубки и целая груда исписанных каракулями бумаг.

У камина сидит Малыш. Он очень возбужден и не переставая говорит. Рассказывает о своей жизни, о своих несчастьях, о том, почему он хотел с собой покончить... Аббат слушает его, улыбаясь; потом, когда Малыш все высказал, выплакал все свое горе, облегчил свое бедное наболевшее сердце, — добрый аббат берет его за руку и говорит ему спокойно:

— Все это пустяки, мой мальчик, и было бы глупо из-за такой малости лишить себя жизни. Твоя история весьма проста: тебя выгнали из коллежа, что, откровенно говоря, большое для тебя счастье. Ну, следовательно, тебе нужно отсюда уезжать, уезжать немедленно, не выжидая этой недели... Ты ведь не кухарка какая-нибудь, чорт возьми!.. О деньгах на дорогу и об уплате долгов не беспокойся. Я беру это на себя... Деньги, которые ты хотел занять у этого негодяя, ты возьмешь у меня. Завтра мы все это уладим... А теперь — ни слова больше! Мне нужно работать, а тебе — спать... Но я не хочу, чтобы ты возвращался в этот ужасный дортуар: там тебе будет холодно и страшно... Ложись здесь, на мою постель, белье на ней свежее, чистое... Я буду всю ночь писать, а если сон меня одолеет, лягу на диван... Ну, спокойной ночи! Больше со мной не разговаривай!

Малыш ложится. Он не протестует... Все происшедшее кажется ему сном. Сколько событий за один день! Быть так близко к смерти и

очутиться в спокойной, теплой комнате, на прекрасной постели... Как хорошо Малышу!.. Время от времени, открывая глаза, он видит в мягком свете, падающем из-под абажура, доброго аббата Жермана, который курит трубку и, тихонько поскрипывая пером, исписывает своими каракулями листы белой бумаги...

На следующее утро аббат разбудил меня, хлопнув по плечу. За ночь я все позабыл... Это очень насмешило моего спасителя.

— Ну, мой мальчик, — сказал он, — бьет колокол — торопись; никто ничего не заметит; пойди, как всегда, за своими учениками, а во время перемены я буду ждать тебя здесь, и мы потолкуем.

Я вспомнил все. Я хотел поблагодарить его, но добрый аббат без разговоров вытолкал меня за дверь.

Мне не надо вам говорить, что урок показался мне в этот день очень длинным... Не успели еще ученики спуститься во двор, как я уже стучался к аббату Жерману. Он сидел перед письменным столом, ящики которого были выдвинуты, и считал золотые монеты, аккуратно укладывая их в кучки.

На шум отворяемой двери он повернул голову и, ни слова не сказав, продолжал свою работу. Окончив ее, он задвинул ящики и, сделав мне знак рукой, проговорил со своей доброй улыбкой:

— Это все тебе, — я подсчитал. Вот это на дорогу, это швейцару, это в кафе «Барбет», это тому ученику, который дал тебе взаймы десять франков... Я отложил эти деньги, чтобы нанять рекрута, вместо брата, но он будет тянуть жребий только через шесть лет, а до тех пор мы еще с тобой увидимся.

Я хотел говорить, но этот ужасный человек прервал меня:

— Теперь, мой мальчик, простимся... Колокол зовет меня в класс, а когда я кончу урок,— тебя уж не должно быть здесь. Воздух здешней Бастилии вреден для тебя... Поезжай скорее в Париж, хорошенько работай, молись богу, кури трубку и постарайся сделаться настоящим человеком. Потому что, видишь ли, мой маленький Даниэль, ты до сих пор все еще ребенок, и я очень боюсь, что ты останешься им всю свою жизнь.

С божественной улыбкой он раскрыл мне объятия, но я, рыдая, упал к его ногам. Он поднял меня и поцеловал в обе щеки.

Раздался последний звонок.

— Ну, вот, я и опаздываю, — сказал он, поспешно собирая свои тетради и книги. В дверях он еще раз обернулся ко мне:

— У меня брат в Париже, священник, прекрасный человек; ты мог бы как-нибудь зайти к нему... Но ты сейчас в таком состоянии, что все равно не запомнишь его адрес.

И, не сказав больше ни слова, он стал быстро спускаться с лестницы. Ряса его развевалась, в правой руке он держал свою шапочку, левой прижимал к груди тетради и книги... Добрый аббат Жерман!.. Прежде чем уйти, я в последний раз окинул взглядом его комнату, в последний раз посмотрел на его большую библиотеку, на маленький столик, на потухший камин, на кресло, в котором я так плакал накануне, на кровать, в которой так хорошо спал... И размышляя о жизни этого странного человека, в котором я угадывал столько мужества, столько скрытой доброты, столько самоотвержения и смирения, — я не мог не покрас-

неть при мысли о своем собственном малодушии и дал себе клятву всегда помнить аббата Жермана.

Между тем время шло, а мне нужно было еще уложить вещи, расплатиться с долгами и взять место в дилижансе...

Выходя из комнаты, я увидел на камине несколько старых, совсем почерневших трубок. Я взял самую старую, самую черную и короткую и положил ее в карман, как святыню. Потом я спустился вниз.

Дверь старого гимнастического зала была еще приоткрыта. Я не мог удержаться, чтобы, проходя мимо, не заглянуть в нее, и то, что я там увидел, заставило меня содрогнуться.

Я увидел большую темную и холодную комнату, железное блестящее кольцо и фиолетовый галстук с петлей, раскачивавшейся от сквозного ветра над опрокинутой скамейкой.

ГЛАВА XIII
КЛЮЧИ ГОСПОДИНА ВИО

Когда я выходил из коллежа, потрясенный ужасным зрелищем, дверь комнаты привратника с шумом отворилась, и я услышал чьи-то голоса, звавшие меня:

— Господин Эйсет! Господин Эйсет!

Это был хозяин кафе «Барбет» и его достойный друг, господин Кассань, оба с взволнованными, почти дерзкими лицами.

Первым заговорил хозяин кафе.

— Правда, что вы уезжаете, господин Эйсет?

— Да, господин Барбет, — спокойно ответил я. — Уезжаю сегодня.

Господин Барбет подскочил.

Господин Кассань сделал то же самое, но Бар-

бет подскочил выше, потому что ему я был должен гораздо больше, чем его другу.

— Как?! Сегодня?!

— Да, сегодня. Сейчас бегу заказать себе место в дилижансе.

Я думал, что они схватят меня за горло.

— А мои деньги?!— воскликнул Барбет.

— А мои?! — проревел Кассань.

Не отвечая, я вошел в швейцарскую и, спокойно вытащив из кармана горсть золотых, которыми меня снабдил аббат Жерман, стал отсчитывать и класть на край стола следуемые им обоим деньги.

Эффект получился потрясающий. Нахмуренные лица обоих прояснились, как по волшебству. Забрав свои золотые, немного сконфуженные выказанным страхом и обрадованные получкой, они стали рассыпаться в уверениях в дружбе и в сожалениях по поводу моего отъезда.

— Так это правда, господин Эйсет? Вы нас покидаете?.. Какая жалость! Какая потеря для заведения!..

Затем последовали «ахи», «охи», грустные вздохи, рукопожатия, с трудом сдерживаемые слезы...

Еще вчера я, вероятно, попался бы на эту удочку внешних проявлений дружбы, но теперь я был уже достаточно опытен в вопросах чувства.

Четверть часа, проведенные мною в беседке, научили меня узнавать людей... так я по крайней мере думал, и чем любезнее становились эти ужасные кабатчики, тем большее отвращение они мне внушали. А потому, резко оборвав их смешные излияния, я вышел из училища и, ускорив шаги, отправился заказать себе место в благословенном дилижансе, который должен был увезти меня далеко от этих чудовищ.

Возвращаясь из конторы дилижансов, я проходил мимо кафе «Барбет», но не зашел туда; это место внушало мне отвращение. Тем не менее, толкаемый каким-то болезненным любопытством, я заглянул в окно... Кафе было полно посетителей. Это был день матча на бильярде. В дыму пенковых трубок сверкали кивера и блестели портупеи, повешенные на гвозди. Все «благородные сердца» были в полном составе. Нехватало только учителя фехтованья.

С минуту я смотрел на все эти толстые красные лица, отраженные в зеркалах, на стаканы с абсентом и графины с водкой, в беспорядке расставленные по столу... И при мысли о том, что я тоже жил в этой клоаке, я почувствовал, что краснею... Я представил себе Малыша, бегающего вокруг бильярда, отмечающего число ударов, платящего за пунш, всеми презираемого и с каждым днем опускающегося все ниже и ниже; увидел его с неизменной трубкой в зубах, вечно напевающего какую-нибудь пошлую казарменную песенку, и это видение, напугав меня еще больше, чем мой фиолетовый галстук, качавшийся в гимнастическом зале, заставило меня в ужасе убежать...

Приближаясь к коллежу в сопровождении носильщика, я увидел идущего по площади учителя фехтованья. Веселый, с тросточкой в руке, в фетровой шляпе набекрень, он любовался своими длинными усами, отражавшимися на лакированной поверхности его великолепных сапог... Я издали с восхищением смотрел на него и думал: «Как жаль, что у такого красивого человека такая низкая душа!» Он тоже увидел меня и шел мне навстречу с добродушной, честной улыбкой на губах, с распростертыми объятьями... О, беседка!!.

— Я вас искал, — сказал он. — Что я слышал? Вы...

Он сразу умолк. Мой взгляд сковал его лживые уста. В этом взгляде, который был смело устремлен ему прямо в лицо, несчастный, очевидно, прочел очень многое, так как он вдруг побледнел, что-то пробормотал, растерялся... Но это было делом одной секунды: он тотчас же снова принял свой обычный самоуверенный вид, вонзил в меня свои холодные, блестящие, как сталь, глаза и, засунув с решительным видом руки в карманы, удалился, бормоча, что пусть тот, кто недоволен им, прямо скажет ему это...

— Проваливай, разбойник!

Когда я пришел в коллеж, ученики были в классе. Мы поднялись в мою мансарду. Носильщик взвалил на плечи мой чемодан и спустился вниз. Я оставался еще несколько минут в этой ледяной комнате и глядел на голые стены, на черный, весь изрезанный перочинными ножами стол и на видневшиеся в узком окне платаны с покрытыми снегом верхушками... Я мысленно прощался со всем этим.

В эту минуту я услышал громкий голос, доносившийся из класса: это был голос аббата Жермана. Он согрел мне душу и вызвал у меня слезы умиления...

Медленно, оглядываясь кругом, точно желая унести с собой картину всех этих мест, которые мне не предстояло уже больше увидеть, я стал спускаться с лестницы. Я прошел по длинным коридорам с решетчатыми окнами, где в первый раз встретил Черные глаза. Да хранит вас бог, милые Черные глаза!.. Я прошел мимо директорского кабинета с двойной таинственной дверью и, сделав еще несколько шагов, очутился у кабинета господина Вио... Тут я вдруг оста-

новился, как вкопанный... О, радость, о, блаженство! Ключи, страшные ключи висели в замке и слегка покачивались от ветра. Я смотрел на них с каким-то священным трепетом, как вдруг мысль о мести мелькнула у меня в голове. Вероломно, святотатственной рукой я вытащил связку из замка и, спрятав ее под сюртук, сбежал с лестницы, перепрыгивая через четыре ступеньки.

В конце двора «среднего отделения» находился глубокий колодезь... Я стрелой помчался туда... В этот час двор представлял совершенную пустыню; занавеска на окне кольдуньи в очках была еще спущена. Все благоприятствовало моему преступлению и, вытащив из-под сюртука презренные ключи, заставлявшие меня так страдать, я со всего размаха бросил их в колодезь... «Дзинь! дзинь! дзинь!..» Я услышал, как они, падая, ударялись о стенки колодца и потом тяжело шлепнулись в воду, сомкнувшуюся над ними... Совершив это преступление, я, улыбаясь, удалился.

Последний, кого я встретил, выходя из коллежа, был Вио, но это был господин Вио без ключей, испуганный, расстроенный, метавшийся во все стороны. Проходя мимо меня, он на момент остановил на мне полный отчаяния взгляд... Несчастному, очевидно, хотелось спросить меня, не видел ли я их, но он не решался... В эту минуту швейцар закричал с верхней площадки лестницы:

— Господин Вио! Я их нигде не нахожу!

И я услышал, как «человек с ключами» беззвучно прошептал «Боже мой!» и бросился, как сумасшедший, продолжать свои поиски...

Я был бы счастлив подольше насладиться этим зрелищем, но с площади раздались звуки поч-

тового рожка, а я не хотел, чтобы дилижанс уехал без меня.

А теперь прощай навсегда, большое закоптелое здание из железа и черных камней! Прощайте, противные дети! Прощай, свирепый устав! Малыш уезжает и больше не вернется к вам. А вы, маркиз де Букуаран-отец, радуйтесь своему счастью: Малыш уезжает, не наградив вас тем знаменитым ударом шпаги, который так долго обсуждали все «благородные сердца» из кафе «Барбет».

Погоняй же, кучер! Труби, рожок! Милый, старый дилижанс, унеси Малыша галопом на своей славной тройке! Унеси его в родной город, к дяде Батисту. Он спешит туда, чтобы обнять свою мать и поскорее отправиться в Париж к Эйсету (Жаку), в его комнату в Латинском квартале.

ГЛАВА XIV
ДЯДЯ БАТИСТ

Странный тип представлял собою этот дядя Батист, брат госпожи Эйсет! Ни добрый, ни злой, он рано женился на особе, похожей на жандарма в юбке, тощей и скупой женщине, которой он боялся. Этот старый ребенок знал в жизни только одну страсть — раскрашивание картинок. В течение сорока лет он жил, окруженный чашечками, стаканчиками, кистями и красками, и все свое время проводил в раскрашивании картинок в иллюстрированных журналах. Весь дом был полон старыми журналами — *«Шаривари»*, *«Иллюстрасион»*, *«Магазен Питореск»* — и географическими картами, причем все это было ярко раскрашено. А в те дни, когда тетка не давала ему денег на

покупку иллюстрированных журналов, дядя утешался тем, что раскрашивал обыкновенные книжки. Это исторический факт! У меня в руках была испанская грамматика, которую он раскрасил с первой до последней страницы, прилагательные в голубой цвет, существительные — в розовый и т. д.

С этим-то старым маниаком и его свирепой половиной госпожа Эйсет жила уже целые полгода. Несчастная женщина проводила все дни в комнате брата, сидя около него и всячески стараясь быть ему полезной. Мыла кисти, наливала в чашечки воду... Печальнее всего было то, что со времени нашего разорения дядя Батист относился к господину Эйсет с глубоким презрением, и бедная мать с утра до вечера была вынуждена выслушивать: «Эйсет человек несерьезный! Эйсет несерьезный человек!» Ах, старый дурень! Нужно было слышать, каким поучительным тоном он произносил это, раскрашивая свою испанскую грамматику! С тех пор я часто встречал людей, якобы очень занятых, которые проводя все свое время в раскрашивании испанских грамматик, считали всех остальных людей недостаточно серьезными.

Все эти подробности о дяде Батисте и об унылой жизни в его доме госпожи Эйсет я узнал только позднее. Но тем не менее уже в первый момент моего приезда я понял, как бы они ни отрицали этого, что моя мать несчастлива здесь... Когда я вошел в комнату, они только что сели обедать. Увидав меня, госпожа Эйсет привскочила от радости, и, можете себе представить, как горячо обняла она и расцеловала своего Малыша. Но вид у нее был смущенный; она говорила мало; ее всегда мягкий голос слегка дрожал, глаза были опущены в тарелку.

В своем поношенном черном платье она внушала жалость.

Дядя и тетка встретили меня очень холодно. Тетка с испуганным видом спросила, обедал ли я? Я поспешил ответить утвердительно, и она облегченно вздохнула. Она боялась за свой обед. Хороший обед, нечего сказать: горох и треска!

Дядя Батист спросил меня, не начались ли у нас каникулы?.. Я ответил, что совсем оставил коллеж и еду в Париж к брату Жаку, который нашел мне хорошее место. Я придумал эту ложь для того, чтобы успокоить бедную мать относительно моей будущности и казаться более серьезным в глазах дяди.

Услышав, что Малыш получил хорошее место, тетка вытаращила глаза.

— Даниэль, — сказала она, — тебе надо будет выписать к себе в Париж мать. Бедная женщина скучает вдали от детей и к тому же, понимаешь, это обуза для нас. Твой дядя не может быть вечно дойной коровой всей семьи...

— Дело в том, — произнес с полным ртом дядя Батист, — что я, действительно, дойная корова...

Выражение «дойная корова» понравилось ему, и он повторил его несколько раз все с той же серьезностью...

Обед длился долго, как обычно бывает у старых людей. Моя мать ела мало, она сказала мне всего несколько слов и смотрела на меня только украдкой: тетка все время за ней следила.

— Посмотри на сестру, — обратилась она к мужу, — радость свидания с Даниэлем лишила ее аппетита. Вчера за обедом она брала хлеб два раза, сегодня только раз...

Дорогая госпожа Эйсет, как хотелось мне увезти вас с собой в этот вечер. Как хотелось вырвать вас из-под власти этой безжалостной «дойной коровы» и его супруги! Но, увы, я сам ехал на-авось, имея денег ровно столько, сколько нужно на дорогу мне одному, и я знал, что комната Жака будет тесна для троих... Если бы я еще мог с вами поговорить, расцеловать вас так, как мне этого хотелось!.. Но нет!.. Нас ни на минуту не оставляли одних. Вы помните, тотчас же после обеда дядя снова принялся за испанскую грамматику, тетка стала чистить свое серебро, и оба все время украдкой следили за нами... Час отъезда наступил, и мы так и не успели ничего сказать друг другу...

Вот почему Малыш вышел из дома дяди Батиста с тяжелым сердцем. И, проходя в полном одиночестве по большой тенистой аллее, которая вела к железной дороге, он торжественно трижды поклялся вести себя впредь так, как подобает настоящему мужчине, и думать только об одном — о восстановлении домашнего очага.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I
МОИ КАЛОШИ

Если я проживу столько же, сколько мой дядя Батист, который сейчас так же стар, как старый баобаб Центральной Африки, — я все же никогда не забуду моего первого путешествия в Париж в вагоне третьего класса.

Я выехал в последних числах февраля; было еще очень холодно. Серое небо, ветер, мелкий град, голые холмы, затопленные луга, длинные ряды засохших виноградников. А внутри вагона — пьяные матросы, распевавшие песни, толстые крестьяне, спавшие с открытыми ртами, как мертвые рыбы, маленькие старушки с корзинами, дети, блохи, кормилицы — все, что полагается в вагоне для бедных, с этим присущим ему запахом табачного дыма, водки, сосисок с чесноком и затхлой соломы... Мне кажется, что я все еще там.

Садясь в вагон, я занял место в углу, у окна, чтобы видеть небо, но мне удалось проехать так только два льё, потому что какой-то военный санитар завладел моим местом под предлогом, что желает сидеть против своей жены. И Малыш,

слишком робкий, чтобы протестовать, должен был проехать двести льё, сидя между этим отвратительным толстяком, от которого пахло льняным семенем, и громадного роста, похожей на барабанщика, шампенуазкой, храпевшей все время у него на плече.

Путешествие длилось два дня. Я высидел эти два дня на одном месте, между своими мучителями, не поворачивая головы и стиснув зубы. Так как у меня не было с собой ни денег, ни провизии, то я всю дорогу ничего не ел. Два дня без еды — это невесело! У меня, правда, оставалось еще сорок су, но я их берег на тот случай, если бы, приехав в Париж, не нашел на вокзале своего друга Жака. И, несмотря на голод, у меня хватило мужества эти деньги не тратить. На беду вокруг меня в вагоне очень много ели. У меня под ногами стояла большая корзина, из которой мой сосед, военный санитар, поминутно вытаскивал всякого рода колбасы и делился ими со своей супругой. Соседство этой корзины делало меня очень несчастным, особенно на второй день путешествия. Но больше всего я все-таки страдал не от голода: я уехал из Сарланда без сапог, в одних только тонких резиновых калошах, в которых я делал обход дортуара своего отделения. Конечно, калоши — хорошая вещь, но зимою, в третьем классе!.. Боже, как мне было холодно! Я готов был заплакать. Ночью, когда все спали, я потихоньку обхватывал руками свои ноги и часами не выпускал их из рук, всячески стараясь согреть... Ах, если б меня видела госпожа Эйсет!

И все же, несмотря на голод, вызывавший судороги в его желудке, несмотря на жестокий холод, доводивший его до слез, Малыш был очень счастлив и ни за что на свете не усту-

пил бы своего места, или вернее — полуместа, которое он занимал между шампенуазкой и санитаром. В конце всех этих страданий был Жак, был Париж!

На вторые сутки, около трех часов утра я внезапно был разбужен. Поезд остановился. Весь вагон был в волнении.

Я услышал, как санитар сказал жене:

— Вот и приехали!

— Куда?— спросил я, протирая глаза.

— В Париж, чорт возьми!

Я бросился к дверцам вагона. Никаких домов. Голое поле, несколько газовых рожков, местами большие груды каменного угля, а вдали яркий красный свет и смутный гул, похожий на отдаленный шум моря. Какой-то человек с маленьким фонарем в руках проходил по вагонам, выкрикивая: «Париж! Париж! Ваши билеты!» Я невольно откинулся назад, мне сделалось страшно: это был Париж!

Как прав был Малыш, что боялся тебя, громадный, жестокий город!

Пять минут спустя поезд подошел к вокзалу. Жак ждал меня там уже целый час. Я издали увидел его высокую сутуловатую фигуру и его длинные, похожие на телеграфные столбы, руки, которыми он делал мне знаки из-за решетки. Одним прыжком я очутился около него.

— Жак!.. Брат!..

— Дорогой мой!..

И наши души слились в крепком объятии. К несчастью, вокзалы неприспособлены для таких встреч. Там есть зал для ожидания, зал для багажа, но нет зала для душевных излияний. Нас толкали, давили...

— Проходите! Проходите!— кричали нам таможенные служители.

— Пойдем отсюда, — тихонько сказал мне Жак. — Завтра я пошлю за твоим багажом.

И, взяв друг друга под руку, счастливые и легкие, как наши кошельки, мы отправились в Латинский квартал.

Впоследствии я часто пытался вспомнить впечатление, произведенное на меня Парижем в эту ночь, но вещи, как и люди, имеют, когда мы их видим в первый раз, совершенно особый облик, которого потом мы в них уже не находим. Я никогда не мог воссоздать в своем воображении Парижа, таким, каким я видел его в день своего приезда. Он представляется мне в каком-то тумане, точно я был в нем проездом в самом раннем детстве и с тех пор больше никогда уже в него не возвращался.

Помню деревянный мост через темную реку, широкую, пустынную набережную и громадный сад вдоль нее. Мы на минуту остановились у этого сада; за его решеткой смутно виднелись хижины, лужайки и деревья, покрытые инеем.

— Это Ботанический сад,—сказал мне Жак.— Там много белых медведей, львов, змей, гиппопотамов.

В воздухе, действительно, чувствовался запах диких зверей, и по временам из темноты доносились то резкие крики, то глухое рычание.

Прижавшись к брату, я во все глаза смотрел через решетку, и, смешивая в одном чувстве страха этот незнакомый мне Париж и этот таинственный сад, я представлял себе, что попал в большую темную пещеру, полную диких зверей, готовых броситься на меня. К счастью, я был не один; со мной был Жак, который защитил бы меня... Жак, милый Жак! Если бы ты всегда был со мной!..

Мы долго, долго шли по темным, бесконеч-

ным улицам... Наконец, Жак остановился на небольшой площади около какой-то церкви.

— Вот мы и в Сен-Жермен де Пре,—сказал он мне.—Наша комната наверху.

— Как, Жак! На колокольне?..

— Да, на самой колокольне. Это очень удобно. Всегда знаешь, который час!

Жак немного преувеличивал. Он жил в доме рядом с церковью, в маленькой мансарде, в пятом или шестом этаже; окно его комнатки выходило на сен-жерменскую колокольню и находилось на одном уровне с циферблатом башенных часов.

Войдя в комнату, я вскрикнул от радости:

— Огонь! Какое счастье!

Я тотчас же подбежал к камину и протянул к огню свои окоченевшие ноги, рискуя расплавить калоши. Тут только Жак обратил внимание на мою странную обувь. Она очень рассмешила его.

— Дорогой мой,—сказал он,—многие из знаменитых людей приехали в Париж в деревянных башмаках и этим хвастают. А ты сможешь сказать, что приехал сюда в одних калошах, что гораздо оригинальнее... А пока, надевай вот те туфли и давай испробуем пирог.

С этими словами Жак придвинул к камину столик, который стоял уже накрытый в углу.

ГЛАВА II

«ОТ СЕН-НИЗЬЕРСКОГО АББАТА»

Боже! Как хорошо было в эту ночь в комнате Жака! Какие веселые светлые блики бросал огонь камина на нашу скатерть! Как пахло фиалками старое вино в запечатанной бутылке! А пирог! Как вкусна была его поджаристая ко-

рочка! Да! Таких пирогов теперь уже больше не пекут. И такого вина ты никогда уже больше не будешь пить, бедный Эйсет!

По другую сторону стола, прямо против меня сидел Жак. Он все подливал мне вина, и каждый раз, когда я поднимал глаза, я встречал его смеющийся, полный чисто материнской нежности, взгляд. Я был так счастлив здесь, что меня точно охватила лихорадка. Я говорил, говорил безумолку!..

— Да ешь же,— настаивал Жак, накладывая мне на тарелку.

Но я почти не ел и все продолжал болтать. Тогда, чтобы заставить меня замолчать, он тоже начал говорить и долго рассказывал мне все, что делал в течение этого года.

«Когда ты уехал,— начал он, улыбаясь кроткой, покорной улыбкой, с какой говорил всегда даже о самых грустных вещах,—когда ты уехал, дома стало еще более мрачно. Отец совсем перестал работать. Он проводил все время в магазине, проклиная революционеров и называя меня ослом; но это ничуть не улучшало положения. Каждый день протестовались векселя, через каждые два дня являлись к нам судебные пристава... От каждого звонка замирало сердце... Да, ты во-время уехал...

... После месяца такого ужасного существования, отец поехал в Бретань, по поручению Общества виноделов, а мама—к дяде Батисту. Я провожал их обоих... Можешь себе представить, сколько я пролил слез!?. После их отъезда вся наша обстановка была продана с молотка... Да, мой милый, и продана на улице, на моих глазах, у дверей нашего дома... Если б ты знал, как ужасно присутствовать при разорении домашнего очага. Трудно представить

себе, до какой степени неодушевленные предметы связаны с нашей душевной жизнью... Когда уносили наш бельевой шкаф, — знаешь тот, у которого на филенках розовые амуры и скрипки, мне хотелось побежать за покупателем и крикнуть: «Держите его!..» — Ты ведь понимаешь это чувство? Правда?..

...Из всей нашей обстановки я оставил себе только стул, матрац и половую щетку; эта щетка впоследствии очень пригодилась мне, как ты увидишь. Я перенес все это богатство в одну из комнат нашей квартиры на улице Лантерн, так как за нее было уплачено за два месяца вперед, и очутился в полном одиночестве в этом большом помещении, пустом, холодном, без занавесок на окнах. До чего же было тоскливо, мой друг! Каждый вечер, возвращаясь из конторы, я снова все переживал и не мог привыкнуть к мысли, что я совсем один в этих четырех стенах. Я ходил из комнаты в комнату и нарочно громко хлопал дверьми, чтобы нарушить мертвую тишину. Иногда мне казалось, что меня зовут в магазин, и я отвечал: «Иду!» Когда я входил в комнату матери, мне всегда казалось, что я сейчас увижу ее грустно сидящей в своем кресле, у окна, с вязаньем в руках...

...К довершению несчастья, опять появились тараканы. Эти отвратительные существа, которых мы с таким трудом выжили по приезде в Лион, узнали, вероятно, о вашем отъезде и предприняли новое нашествие, еще более ужасное, чем первое. Вначале я пытался сопротивляться. Я проводил все вечера в кухне со свечкой в одной руке и щеткой в другой, сражаясь, как лев, но не переставая плакать... К несчастью, я был один и как ни старался всюду поспевать, — все

шло теперь далеко не так, как во времена Анну. К тому же и тараканы явились теперь в еще большем количестве. Я даже уверен в том, что все лионские тараканы—а их немало в этом большом сыром городе,—сплотились, чтобы завладеть нашим домом. Кухня кишела ими, и в конце концов я был вынужден уступить им ее... По временам я с ужасом смотрел на них в замочную скважину. Их было там несметное число... Ты, может быть, думаешь, что проклятые насекомые ограничились кухней? Как бы не так! Ты не знаешь этих жителей севера! Они стремятся завладеть всем. Из кухни, несмотря на двери и замки, они перебрались в столовую, где я устроил себе ночлег. Тогда я перенес кровать в магазин, а оттуда в гостиную. Ты смеешься? Желал бы я видеть тебя на моем месте!..

... Выживая меня из комнаты в комнату, эти проклятые тараканы довели меня до нашей прежней комнатки в конце коридора. Там они дали мне два-три дня передышки. Но, проснувшись в одно прекрасное утро, я увидел сотню тараканов, бесшумно влезавших на мою щетку, в то время как другая часть войска в боевой готовности направлялась к моей кровати... Лишенный своего оружия, преследуемый в своей последней крепости, я вынужден был бежать. Я предоставил тараканам матрац, стул и щетку и покинул этот ужасный дом на улице Лантерн, чтобы никогда больше не возвращаться в него...

... Я прожил еще несколько месяцев в Лионе, долгих, мрачных, до слез печальных месяцев. В конторе меня называли святой Магдалиной. Я никуда не ходил. У меня не было ни одного друга. Единственным развлечением были твои письма... Ах, Даниэль, как красиво

ты умеешь выразить все! Я уверен, что если бы ты только захотел, ты мог бы писать в журналах. Не то, что я! Оттого, что я постоянно пишу под диктовку, в моей голове осталось не больше мыслей, чем в швейной машинке. Я совершенно не в состоянии сам что-нибудь придумать. Господин Эйсет был совершенно прав, говоря: «Жак, ты осел!» Хотя быть ослом не так уж плохо: ослы—славные, терпеливые, сильные, трудолюбивые животные с добрым сердцем и выносливой спиной... Но вернемся к моему рассказу...

... Во всех своих письмах ты говорил о необходимости воссоздать домашний очаг, и благодаря твоему красноречию я тоже заразился этой благородной идеей. К несчастию, того, что я зарабатывал в Лионе, едва хватало на меня одного. И вот тогда мне пришла в голову мысль перебраться в Париж. Мне казалось, что там мне будет легче помогать семье, легче найти все необходимое для нашего знаменитого плана «воссоздания домашнего очага». Мой отъезд был решен, но прежде чем уехать, я принял некоторые меры предосторожности. Мне не хотелось очутиться совершенно беспомощным на улицах Парижа. Другое дело ты, Даниэль: провидение всегда благоволит к хорошеньким мальчикам; но что касается меня, долговязого плаксы!..

... Поэтому я отправился за рекомендательными письмами к нашему другу, священнику церкви Сен-Низье. Этот человек пользуется большим влиянием в Сен-Жерменском предместье. Он дал мне два письма: одно к какому-то графу, другое—к герцогу. Как видишь, я попал в недурное общество. Затем я отправился к портному, который согласился отпустить мне в кре-

дит великолепный черный фрак со всеми принадлежностями — жилетом, брюками и прочим. Я положил рекомендательные письма в карман, завернул фрак в салфетку и с тремя луидорами (тридцать пять франков на дорогу и двадцать пять франков на первые расходы) пустился в путь...

... По приезде в Париж я на следующий же день, с семи часов утра был уже на улице,—в черном фраке и в желтых перчатках. К твоему сведению, маленький Даниэль, я был ужасно смешон: в семь часов утра в Париже все черные фраки еще спят или должны спать. Но я этого не знал и с гордостью обновлял свой фрак на улицах Парижа, звонко постукивая каблуками новых ботинок. Я думал, что чем раньше выйду из дома, тем скорее встречу госпожу Фортуну. Но это опять-таки было ошибкой: госпожа Фортуна не встает так рано в Париже...

... Итак, я шествовал в то утро по Сен-Жерменскому предместью с рекомендательными письмами в кармане...

... Прежде всего я отправился к графу на улицу де Лиль, потом к герцогу на улицу Сен-Гильом. В обоих домах я застал слуг, занятых мытьем дворов и чисткой медных дощечек у звонков. Когда я сказал этим болванам, что я от священника Сен-низьерского прихода и что мне нужно поговорить с их хозяевами, они засмеялись мне в лицо и выплеснули помои к моим ногам... Что поделаешь, мой милый! Я сам виноват в этом: в такой ранний час в приличные дома приходят одни только мозольные операторы. Я, разумеется, принял это к сведению...

... Насколько я тебя знаю, я уверен, что будь ты на моем месте, ты ни за что не решил-

ся бы вернуться в эти дома и снова подвергать себя насмешливым взглядам челяди. Ну, а я храбро вернулся в тот же день после полудня и так же, как утром, просил слуг провести меня к их господам, говоря, что я от священника Сен-низьерского прихода. И хорошо, что у меня хватило смелости на это: оба эти господина были дома, и оба приняли меня. Я встретил двух совершенно различных людей и два столь же различных приема. Граф с улицы де Лиль обошелся со мной очень холодно. Его длинное, худое, до торжественности серьезное лицо очень смутило меня, и я едва мог пробормотать несколько слов. Он со своей стороны, не вступая со мной в разговор, взглянул на письмо сен-низьерского священника и положил его в карман; потом, попросив меня оставить ему мой адрес, ледяным жестом отпустил меня, сказав:

— Я подумаю о вас. Вам незачем приходить сюда. Я напишу вам, как только подвернется что-нибудь подходящее.

... Чорт бы побрал этого человека! Я вышел от него, совершенно замороженный. К счастью, прием на улице Сен-Гильом отогрел мое сердце. Герцог оказался самым веселым, самым приветливым, самым милым толстяком на свете. И он так любил этого дорогого священника Сен-низьерского прихода! Все, являвшиеся от его имени, могли рассчитывать на прекрасный прием на улице Сен-Гильом!.. Добрейший человек, этот славный герцог! Мы сразу стали друзьями. Он предложил мне понюшку табаку, надушенного бергамотом, потянул меня за ухо и отпустил, дружески потрепав по щеке и сказав на прощанье:

— Я берусь устроить ваше дело. Очень скоро

у меня будет то, что вам нужно. А до тех пор заходите ко мне, когда только пожелаете.

...Я ушел, очарованный им.

... Два дня из деликатности я не возвращался туда. Только на третий день я отправился снова в особняк на улице Сен-Гильом. Верзила в голубой, расшитой золотом, ливрее спросил мое имя. Я ответил самодовольным тоном:

— Скажите, что я от священника Сен-низьерского прихода.

... Через минуту он вернулся.

— Господин герцог очень занят. Он просит вас его извинить и притти в другой раз.

... Ты понимаешь, конечно, что я охотно извинил этого бедного герцога...

... На другой день я опять пришел в тот же самый час. Вчерашний голубой долговязый слуга, похожий на попугая, был на крыльце. Он издали меня увидел и с важностью проговорил:

— Господин герцог уехал.

— Хорошо,—ответил я.—Зайду в другой раз. Передайте ему, пожалуйста, что приходил знакомый священника Сен-низьерского прихода.

... На другой день я пришел опять и опять не мог видеть герцога; следующие дни—та же неудача. То он принимал ванну, то был у обедни; сегодня играл в мяч, назавтра—у него были гости... У него были гости!! Вот так отговорка! А что же я?.. Разве я не был гостем?!.

... В конце концов я стал до того смешон с этим вечным: «от священника Сен-низьерского прихода», что больше уже не решался говорить, от кого я пришел. Но долговязый голубой попугай никогда не забывал прокричать мне вслед с невозмутимой важностью:

— Сударь, разумеется, от священника Сен-низьерского прихода?

... И это всегда заставляло хохотать других голубых попугаев, слонявшихся по двору. Шайка бездельников!! Если бы я только мог наградить их несколькими ударами дубинки, — но не от имени сен-низьерского аббата, а от своего собственного!..

... Я уже дней десять жил в Париже, когда однажды вечером, возвращаясь с понурой головой после своего визита на улицу Сен-Гильом (я дал себе слово ходить туда до тех пор, пока меня не выгонят), я нашел в швейцарской письмо — угадай от кого?.. От графа, дорогой мой, от графа с улицы де Лиль! В письме он предлагал мне немедленно отправиться к его другу, маркизу д'Аквилю, которому нужен был секретарь... Представляешь себе мою радость? И каким это было мне уроком! Этот холодный сухой человек, на которого я так мало рассчитывал, он-то именно и позаботился обо мне, тогда как тот, другой, такой приветливый и ласковый, заставил меня в течение целой недели обивать порог его особняка, подвергая и меня самого, и сен-низьерского аббата насмешкам этих дерзких золотисто-голубых попугаев... Такова жизнь, мой милый. В Париже ее скоро узнаешь...

... Не теряя ни минуты, я побежал к маркизу д'Аквилю. Это был маленький худощавый старик, точно сотканный из одних нервов, веселый и проворный, как пчела. Ты увидишь, какой это интересный тип. Аристократическая голова, бледное тонкое лицо, прямые, как палки, волосы и всего один только глаз, — другой погиб от удара шпаги много лет назад. Но оставшийся глаз был такой блестящий, такой живой и выразительный, что маркиза нельзя было назвать «одноглазый». У него оба глаза сливались в одном, вот и все!..

... Очутившись перед этим странным маленьким стариком, я начал с того, что произнес несколько обычных в таких случаях банальностей, но он тотчас же остановил меня:

— Без фраз, — сказал он. — Я их не люблю. Перейдем сразу к делу. Я решил написать свои мемуары. К сожалению, я начал этим заниматься немного поздно, и потому мне нельзя терять времени, ибо я становлюсь очень стар. Я высчитал, что если все свои часы и минуты буду употреблять на этот труд, то мне понадобится еще целых три года, чтобы его закончить. Мне семьдесят лет; ноги мои стали уже плохи, но голова еще свежа. Поэтому я могу надеяться прожить еще три года и довести свои мемуары до конца. Но каждая минута у меня на счету, а этого мой секретарь не понял. Этот дурак,— в сущности очень талантливый юноша, от которого я был в восторге,—вздумал вдруг влюбиться и жениться. В этом, конечно, беды еще нет, но однажды утром этот чудак является вдруг ко мне с просьбой дать ему два дня отпуска, чтобы сыграть свадьбу. Вот выдумал! Дать ему два дня отпуска! Ни одного! Ни минуты!

— Но, господин маркиз...

— Никаких «но, господин маркиз...» Если вы уйдете на два дня, то вы уже уйдете совсем.

— Я ухожу, господин маркиз.

— Счастливого пути!—И с этим мой бездельник ушел... Я рассчитываю, что вы, мой друг, его замените. Условия следующие: секретарь приходит ко мне в восемь часов утра и приносит с собой завтрак. Я диктую до двенадцати. В двенадцать секретарь завтракает один, так как я никогда не завтракаю. После завтрака секретаря, который должен быть очень непродолжителен, мы снова принимаемся за работу.

Если я выхожу из дома, секретарь сопровождает меня с бумагой и карандашом. Я постоянно диктую: в карете, на прогулке, в гостях — везде! Вечером секретарь обедает вместе со мной. После обеда мы перечитываем то, что я продиктовал днем. Я ложусь в восемь часов, и секретарь свободен до следующего утра. Я плачу сто франков в месяц и обед. Это не золотые горы, но через три года, когда мемуары будут окончены, секретарь получит подарок — царский подарок, даю слово д'Аквиля. Я требую только, чтобы он был исполнителен, чтобы не женился и чтобы умел быстро писать под диктовку. Вы умеете писать под диктовку?

— Отлично умею, господин маркиз, — ответил я, с трудом сдерживая улыбку.

... В этом упорном желании судьбы заставить меня всю мою жизнь писать под диктовку было, действительно, что-то комичное...

— Ну, в таком случае, садитесь сюда. Вот вам чернила и бумага. Давайте, начнем сейчас же работать. Я остановился на XXIV главе «*Мои нелады с господином де Виллелем*». Пишите...

... И он принялся диктовать тоненьким голоском кузнечика, быстро шагая по комнате и слегка припрыгивая на ходу...

... Вот каким образом, Даниэль, я попал к этому оригиналу, в сущности прекраснейшему человеку. Пока мы очень довольны друг другом; вчера вечером, узнав о твоем приезде, он настоял на том, чтобы я взял с собой эту бутылку старого вина. Нам каждый день подают к столу такое же, из чего ты можешь заключить, как хорошо мы обедаем. Утром я приношу завтрак с собой, и ты, наверно, рассмеялся бы, если бы видел, как я ем маленький кусочек итальянского сыра в два су на

дорогой фарфоровой тарелке, сидя за столом, покрытым скатертью с гербом маркиза. Милейший человек поступает так не из скупости, а для того, чтобы избавить своего старого повара Пилуа от труда готовить мне завтрак. В общем, жизнь, которую я сейчас веду, нельзя назвать неприятной. Мемуары маркиза очень поучительны, и я узнаю много интересного о Деказе и Виллеле, что может мне впоследствии пригодиться. С восьми часов вечера я свободен и отправляюсь или в читальню, где просматриваю газеты, или же захожу проведать нашего друга Пьерота... Ты его помнишь? Пьерота из Севенн, молочного брата нашей матери? Теперь это уже не просто Пьерот, а господин Пьерот, в два обхвата толщиной. У него прекрасный магазин фарфоровой посуды в Сомонском пассаже, и так как он очень любил госпожу Эйсет, то я нашел в его доме самый радушный прием. В зимние вечера это было для меня спасением... Но теперь, когда ты здесь со мной, длинные вечера меня больше не пугают... И тебя ведь тоже, братишка? Ах, Даниэль, мой Даниэль, как я рад! Как мы будем с тобой счастливы!..»

ГЛАВА III

МОЯ МАМА — ЖАК

Жак кончил свою одиссею. Теперь очередь за мной.

Умирающий огонь в камине напрасно шепчет нам: «Идите спать, дети!» Свечи напрасно взывают к нам: «В постель! В постель! Мы догорели до самых розеток!»

— Вас никто не слушает,— отвечает им со смехом Жак. И мы продолжаем бодрствовать.

То, что я рассказываю брату, конечно, очень интересует его. Это — жизнь Малыша в Сарландском коллеже, печальная жизнь, которую читатель, вероятно, помнит. Это — уродливые и жестокие дети, преследования, ненависть, унижения, свирепые ключи господина Вио, маленькая комнатка под самой крышей, в которой можно задохнуться от жары; ночи, проведенные в слезах и, наконец, — Жак такой добрый, что ему можно рассказать все — кутежи в кафе «Барбет», абсент в обществе капралов, долги, полная нравственная распущенность, все, — вплоть до покушения на самоубийство и страшного предсказания аббата Жермана: «Ты останешья ребенком до конца своей жизни».

Облокотясь на стол, опустив голову на руки, Жак слушает до конца мою исповедь, не прерывая ее... По временам я вижу, что он вздрагивает, слышу, как он шепчет: «Бедный мальчик. Бедный мальчик».

По окончании исповеди он встает, берет мои руки в свои и говорит тихим дрожащим голосом:

— Аббат Жерман был прав. Видишь ли, Даниэль, ты, действительно, ребенок, настоящий ребенок, неспособный жить самостоятельно, и ты хорошо сделал, что приехал ко мне... С сегодняшнего дня ты не только мой брат, но и сын... Так как наша мать далеко, я заменю тебе ее... Хочешь? Скажи, Даниэль! Хочешь, чтобы я был твоей матерью, Мамой Жаком? Я не буду очень надоедать тебе, ты увидишь. Я прошу только одного: чтобы ты позволил мне всегда итти рука об руку с тобой. Тогда ты можешь быть спокоен, можешь смело смотреть жизни в глаза, как настоящий мужчина: она не съест тебя.

Вместо ответа я бросаюсь ему на шею:

— Жак! Мама Жак! Какой ты добрый!

Слезы душат меня, и я плачу на его плече, как в былое время в Лионе плакал Жак. Но теперешний Жак не плачет: «колодец высох», как он выражается... Что бы ни случилось, он уж никогда больше не будет плакать.

В эту минуту бьет семь часов. Стекла окон озаряются солнцем. Бледный свет, дрожа, проникает в комнату.

— Вот уж и день, Даниэль,—говорит Жак.— Пора спать. Ложись скорее... Тебе это необходимо.

— А ты, Жак?

— О, я! Но ведь я не провел двое суток в вагоне. К тому же, прежде чем итти к маркизу, мне нужно еще отнести книги в читальню, и я не могу терять времени... ты ведь знаешь— д'Аквиль не шутит... Я вернусь сегодня в восемь часов вечера. Отдохнув, ты, наверно, захочешь немного выйти. Советую тебе...

Тут Мама Жак начинает давать мне множество советов, очень важных для таких новичков, как я. Но, к несчастью, я уже успел растянуться на постели и хотя еще не сплю, но мысли мои уже путаются. Усталость, пирог, слезы... Смутно слышу, как кто-то говорит мне о ресторане, который где-то очень близко отсюда, о деньгах в моем жилете, о мостах, через которые надо переходить, о бульварах, по которым нужно итти, о полицейских, к которым надо обращаться за сведениями, и о колокольне Сен-Жермен де Пре, у которой мы должны встретиться. В полусне самое сильное впечатление на меня производит именно эта колокольня. Я вижу две, пять, десять сен-жерменских колоколен, выстроившихся около моей постели,

подобно дорожным указательным столбам. И между всеми этими колокольнями движется какой-то человек, мешает уголь в камине, спускает на окнах занавески, потом подходит ко мне, укрывает мне ноги плащом, целует меня в лоб и тихонько уходит, скрипнув дверью.

Я спал уже несколько часов и, вероятно, проспал бы до возвращения Мамы Жака, когда меня внезапно разбудил звон колокола. То был сарландский колокол, ужасный железный колокол, который звонил попрежнему: «Динг! донг! Просыпайтесь! Динг! донг! Одевайтесь!» Я вскочил с постели и собирался уже крикнуть, как там, в дортуаре: «Вставайте, господа!», но в эту минуту вспомнил, что я у Жака, и, громко засмеявшись, принялся, как безумный, бегать и прыгать по комнате. Колокол, который я принял было за сарландский, звонил в соседней мастерской и звучал почти так же сухо и сердито, как и школьный колокол. Только в том было еще больше злобы... К счастью, он находился теперь в двухстах льё от меня и как бы громко он ни звонил, я уж не мог его услышать.

Я подошел к окну и раскрыл его. Я точно ожидал увидеть внизу двор старшего отделения с его жалкими деревьями и «человека с ключами», пробирающегося вдоль стен...

В ту минуту, когда я открывал окно, все башенные часы били полдень. Большая сен-жерменская колокольня первая отзвонила свои двенадцать ударов angelus'а один за другим почти над самым моим ухом. В открытое окно мощные тяжелые удары падали в комнату по три сразу и, разрываясь при своем падении, подобно звонким пузырям, наполняли окружавший меня воздух шумом и гамом. На сен-жерменский angelus ответно прозвучали на разные голоса

angelus'ы других церквей... Точно привлеченный всем этим трезвоном, солнечный луч пробился сквозь облако и забегал по сырым от утренней росы крышам. Внизу грохотал невидимый Париж... С минуту я стоял у окна и смотрел на сверкавшие на солнце купола, шпицы, башни... И вдруг меня охватило безумное желание самому окунуться в этот доносившийся снизу городской шум, в эту толпу, в эту жизнь со всеми ее страстями, и я в каком-то опьянении воскликнул:

«Идем смотреть Париж!»

ГЛАВА IV
ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

В этот день, вероятно, не один парижанин, вернувшись вечером домой, рассказывал за столом: «Какого странного человечка я встретил сегодня!..» Дело в том, что Малыш, действительно, должен был казаться очень смешным со своими длинными волосами, слишком короткими штанами, резиновыми калошами и голубыми чулками, с манерами провинциала и торжественной походкой, свойственной всем людям маленького роста.

Это был один из последних зимних дней, тех теплых ясных дней, которые в Париже часто бывают более похожи на весну, чем сама весна. На улицах было людно. Ошеломленный движением и шумом, я робко шел вперед, держась поближе к домам, и каждый раз извинялся, краснея, когда кто-нибудь толкал меня. Я страшно боялся быть принятым за провинциала и поэтому не позволял себе останавливаться перед окнами магазинов и ни за что на свете не спросил бы дороги. Я шел все прямо, сначала по одной

улице, потом по другой. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я смущался. Некоторые, проходя мимо, оглядывались, другие смотрели на меня смеющимися глазами; я слышал как одна женщина сказала другой: «Посмотри-ка на этого...» Я споткнулся при этих словах... Меня смущали также испытующие взгляды полицейских. На всех перекрестках эти взгляды пытливо останавливались на мне, и, уже миновав их, я все еще чувствовал, как они издали следят за мной и жгут мне спину. Сказать правду, я был этим даже немножко обеспокоен.

Так я шел около часа и дошел до большого бульвара, обсаженного чахлыми деревьями. И столько тут было шума, людей и экипажей, что я в испуге остановился.

«Как выбраться отсюда? — думал я. — Как вернуться домой? Если я спрошу, где колокольня Сен-Жермен де Пре, надо мной будут смеяться. Я буду похож на заблудившийся колокол, возвращающийся в день пасхи из Рима».

И, чтобы лучше обдумать, что предпринять, я остановился перед театральными афишами с видом человека, соображающего, в каком театре провести ему вечер. К сожалению, афиши, хотя сами по себе и очень интересные, не давали никаких указаний насчет сен-жерменской колокольни, и я рисковал остаться тут до второго пришествия, как вдруг рядом со мной очутился Жак. Он был удивлен не меньше меня.

— Как! Это ты, Даниэль?! Что ты тут делаешь, бог мой?!

Я небрежно ответил:

— Гуляю, как видишь.

Жак с восхищением посмотрел на меня.

— Да он сделался уже настоящим парижанином!

В глубине души я был очень счастлив, что мы встретились, и повис на руке Жака с чисто детской радостью как тогда, в Лионе, когда Эйсет-отец пришел за нами на пароход.

— Как это удачно, что мы встретились, — сказал Жак. — Мой маркиз охрип, и так как, к счастью, диктовать жестами нельзя, то он до завтра дал мне отпуск... Мы воспользуемся этим и хорошенько погуляем...

С этими словами он увлекает меня за собой. Мы идем по шумным улицам Парижа, крепко прижавшись друг к другу, радуясь тому, что мы вместе.

Теперь, когда брат со мной, улицы уже больше не пугают меня. Я иду, высоко подняв голову с апломбом трубача зуавского полка, и горе тому, кто вздумает надо мной посмеяться. Одно только еще беспокоит меня — соболезнующие взгляды, которые бросает на меня Жак. О причине я спросить не решаюсь.

— А ведь знаешь, они очень недурны, твои калоши... — произносит он после некоторого молчания.

— Не правда ли, Жак?

— Да... Очень недурны. — И прибавляет с улыбкой: — Но все-таки, когда я разбогатею, я куплю тебя хорошие ботинки, на которые ты и будешь их надевать.

Бедный милый Жак! Он говорит эту фразу без тени злого умысла, но ее достаточно для того, чтобы смутить меня. Вся моя застенчивость опять возвращается ко мне. На этом большом бульваре, залитом ярким солнцем, я чувствую себя смешным в своих калошах, и все старания Жака успокоить меня и расхвалить мою обувь ни к чему не приводят: я хочу немедленно вернуться домой.

Мы возвращаемся, усаживаемся в уголке у камина и проводим остаток дня, весело болтая, как два воробья на крыше...

Перед вечером раздается стук в дверь: это слуга маркиза с моим чемоданом.

— Отлично! — говорит Мама Жак. — Мы сейчас осмотрим твой гардероб.

Чорт возьми, мой гардероб!!.

Начинается осмотр. Надо видеть наши смущенные комические лица при составлении этого жалкого инвентаря... Жак, стоя на коленях перед чемоданом, вытаскивает вещи одну за другой, громко объявляя: «Словарь... галстук... второй словарь... Что это? Трубка?.. Ты, значит, куришь?.. Еще трубка... Боже милосердный! Сколько трубок!.. Если б у тебя было столько же носков... А эта толстая книжка... что это? А!.. *Журнал штрафов. Букуарану 500 строчек... Субейролю 400 строчек. Букуарану 500 строчек... Букуарану... Букуарану...* Чорт возьми! Ты не очень-то его щадил, этого Букуарана... Во всяком случае, две или три дюжины рубашек были бы нам куда полезнее...»

Продолжая осмотр, Мама Жак вдруг вскрикивает от изумления.

— Боже мой! Даниэль! Что я вижу? Стихи? Это стихи... Так ты все еще их пишешь?.. Какой же ты скрытный! Почему никогда ничего не говорил о них в своих письмах?.. Ты ведь знаешь, что я в этом деле не совсем профан... В свое время и я писал поэму... Помнишь *Религия! Религия! Поэма в двенадцати песнях!..* Ну-ка, господин лирик, посмотрим твои стихи!..

— Нет, Жак, прошу тебя! Не стоит.

— Все вы, поэты, одинаковы, — со смехом говорит Жак. — Ну, садись вот сюда и прочти мне

свои стихи. А не то, я прочту их сам. А ты ведь знаешь, как я плохо читаю!

Эта угроза действует, и я начинаю читать.

Стихи эти я писал в Сарланде на Поляне, в тени каштанов, в то время как наблюдал за детьми. Хороши они были или плохи? Я этого теперь уже не помню, но как я волновался, когда их читал! Подумайте только: стихи, которые я никому никогда не показывал!.. К тому же автор «*Религия! Религия*» не совсем обыкновенный судья. Что если он будет надо мной смеяться? Но по мере того как я читаю, музыка рифм опьяняет меня, и голос мой становится увереннее. Жак слушает меня. Он невозмутим. Позади него на горизонте садится громадное красное солнце, заливая наши окна заревом пожара. На краю крыши тощая кошка, глядя на нас, зевает и потягивается, с хмурым видом члена дирекции Французской комедии, присутствующего на чтении трагедии... Я вижу все это одним глазом, не прерывая чтения.

Неожиданный триумф!.. Не успел я кончить, как Жак в восторге вскакивает с места и бросается мне на шею.

— О, Даниэль, как это прекрасно! Как великолепно!

— Правда, Жак? Ты находишь?..

— Восхитительно, дорогой мой, восхитительно!.. И подумать только, что все эти богатства скрывались в твоем чемодане, и ты ничего мне о них не говорил!.. Невероятно.

И Мама Жак принимается ходить взад и вперед по комнате, разговаривая сам с собой и жестикулируя. Вдруг он останавливается и произносит с торжественным видом:

— Нет никаких сомнений: ты, Даниэль, поэт и должен оставаться поэтом. В этом твое призвание...

— Но, это так трудно, Жак... Особенно вначале! К тому же ты зарабатываешь так мало...

— Пустяки, я буду работать за двоих. Не бойся.

— А домашний очаг, Жак, очаг, который мы хотим восстановить?

— Очаг я беру на себя. Я чувствую в себе достаточно сил для того, чтобы его восстановить без чьей-либо помощи. А ты будешь озарять его блеском своей славы. Подумай, как будут гордиться наши родители таким знаменитым очагом!..

Я пытаюсь сделать еще несколько возражений, но Жак на все находит ответ. Впрочем, нужно признаться, что защищаюсь я слабо. Энтузиазм брата начинает заражать и меня. Вера в мое поэтическое призвание, повидимому, растет во мне с каждой минутой, и я начинаю ощущать во всем своем существе поэтический зуд... Но есть один пункт, на котором мы с Жаком не сходимся: Жак хочет, чтобы я в тридцать пять лет сделался членом Французской академии, — я энергично от этого отказываюсь. Провались она совсем, эта Академия! Она устарела и вышла из моды, эта египетская пирамида.

— Тем более у тебя оснований вступить туда: ты вольешь немного своей молодой крови в жилы всех этих старцев из дворца Мазарини... И подумай, как будет счастлива госпожа Эйсет!

Что можно на это ответить? Имя госпожи Эйсет является неопровержимым аргументом. Придется покориться и облечься в зеленый мундир. Если же мои коллеги будут мне слишком надоедать, я поступлю, как Мериме, — не буду посещать заседаний.

Пока мы спорили, наступил вечер. Сен-жер-

менские колокола своим радостным звоном точно приветствовали вступление Даниэля Эйсета во Французскую академию.

— Идем обедать, — говорит Мама Жак и, гордый возможностью показаться в обществе академика, ведет меня в молочную на улице Сен-Бенуа. Это маленький ресторан для бедняков, с табльдотом в заднем зале для постоянных посетителей. Мы обедаем в первом зале среди господ в очень поношенных костюмах, сильно проголодавшихся и молча очищающих свои тарелки.

— Здесь почти одни только литераторы,— шопотом сообщает мне Жак.

В глубине души я не могу удержаться от некоторых печальных размышлений по этому поводу, но не делюсь ими с Жаком из боязни охладить его энтузиазм.

Обед проходит очень весело. Господин Даниэль Эйсет (из Французской академии) проявляет большое оживление и еще больший аппетит. Покончив с обедом, мы спешим вернуться на нашу колокольню, и в то время как господин академик, сидя верхом на окне, курит трубку, Жак, усевшись у стола, погружается в вычисления, которые, повидимому, его очень беспокоят. Он грызет ногти, вертится на стуле, считает по пальцам, потом неожиданно вскакивает с торжествующим криком:

— Ура!.. Добился-таки!

— Чего, Жак?

— Установления нашего бюджета, дорогой мой. Уверяю тебя, что это дело нелегкое. Подумай: шестьдесят франков в месяц на двоих!..

— Как шестьдесят?.. Я думал, что ты получаешь у маркиза сто франков в месяц.

— Да, но из этого нужно вычесть сорок фран-

ков, которые я ежемесячно посылаю госпоже Эйсет... на восстановление домашнего очага. Остаются шестьдесят. Пятнадцать франков за комнату... Как видишь, это недорого, но я должен сам стлать постель.

— Это буду делать я, Жак.

— Нет, нет. Для академика это было бы неприлично... Но вернемся к бюджету... Итак, пятнадцать франков — комната; пять франков уголь,— только пять франков, потому что я сам ежемесячно хожу за ним на завод,— остается сорок франков. Из них на твою еду положим тридцать. Ты будешь обедать в той молочной, где мы были сегодня... Там обед без десерта стоит пятнадцать су, и обед, как ты видел, не плохой... У тебя остается еще пять су на завтрак. Достаточно?

— Ну, конечно!

— У нас остается еще десять франков. Считаю семь франков прачке... Так жаль, что у меня нет свободного времени, а то я сам ходил бы на реку. Остается три франка, которые я распределяю следующим образом: на мои завтраки — тридцать су... Ты, конечно, понимаешь, что, получая хороший обед у маркиза, я не нуждаюсь в таком питательном завтраке, как ты. Последние тридцать су пойдут на разные мелочи, на табак, марки и другие непредвиденные расходы. Все это, в общем, составит как раз наши шестьдесят франков... Ну, что ты скажешь? Хорошо рассчитано?..

И Жак в порыве восторга начинает прыгать по комнате, потом вдруг останавливается, и лицо его снова принимает озабоченное выражение.

— Вот тебе на!.. Опять надо все переделывать... Я забыл одну вещь...

— Что такое??.

— А свечи!.. Как ты будешь вечером работать

без свечки? Это совершенно необходимый расход, который составит не меньше пяти франков в месяц... откуда бы нам их раздобыть... Деньги, предназначенные на восстановление домашнего очага, священны, и ни под каким предлогом... А!.. Нашел!.. Ведь скоро уже март, а с ним весна, солнце, тепло...

— Ну, и что же, Жак?

— А то, Даниэль, что когда тепло, то уголь уже больше не нужен. А потому эти пять франков, которые мы оставили на уголь, мы возьмем на свечи, и вопрос будет решен... Я положительно рожден быть министром финансов!.. Что ты на это скажешь? На этот раз наш бюджет установлен, кажется, твердо. Мы ничего не забыли... Конечно, остается еще открытым вопрос о платье и обуви, но вот что я сделаю... Я свободен ежедневно с восьми часов вечера и поищу себе место бухгалтера в каком-нибудь небольшом магазине. Я уверен, что мой друг Пьерот найдет мне подходящее место.

— Скажи, Жак, значит, ты очень дружен с Пьеротом? Часто у него бываешь?

— Да, очень часто. По вечерам там музицируют.

— Вот как! Разве Пьерот музыкант?

— Не он, нет; его дочь.

— Его дочь!?! Так у него есть дочь? Ага, Жак... Что же она хорошенькая, эта мадемуазель Пьерот?

— Нельзя задавать сразу столько вопросов, мой маленький Даниэль. Я отвечу тебе как-нибудь в другой раз. А теперь поздно, пора спать.

И, чтобы скрыть смущение, вызванное моими вопросами, Жак принимается оправлять постель с аккуратностью старой девы.

Это железная, односпальная кровать совер-

шенно такая же, как та, на которой мы спали вдвоем в Лионе на улице Лантерн.

— А помнишь, Жак, нашу кроватку на улице Лантерн? Помнишь, как мы, ложась спать, потихоньку читали романы, и отец громко кричал нам из своей комнаты: «Сейчас же погасите свет! А то я встану!»

Жак помнит это и еще многое другое... Мы переходим от воспоминания к воспоминанию, и бьет уже полночь, а мы еще и не думаем о сне.

— Ну, довольно! Спокойной ночи! — говорит Жак решительно.

Но через пять минут я слышу, как он задыхается от смеха под своим одеялом.

— Чему ты, Жак?

— Я вспомнил аббата Мику... помнишь, аббата Мику из церковной школы?

— Ну еще бы!

И мы снова смеемся, смеемся... и болтаем, болтаем без конца... На этот раз я оказываюсь разумнее брата:

— Пора спать! — говорю я.

А минуту спустя опять начинаю как ни в чем не бывало:

— А Рыжик, Жак! Там, на фабрике... Помнишь ты его?

И опять новые взрывы смеха, и опять бесконечная болтовня...

Вдруг раздается сильный удар кулаком в перегородку, как раз в том месте, где стоит наша кровать. Мы так и замерли.

— Это «Белая кукушка»... — шепчет мне на ухо Жак.

— Белая кукушка?!.. Что это такое?

— Тсс!.. Не так громко. Белая кукушка — наша соседка... Она, конечно, сердится что мы мешаем ей спать.

— Но какое у этой соседки странное имя, Жак... Белая кукушка!.. Она молодая?

— Об этом будешь судить сам, дорогой мой. Ты, конечно, с ней встретишься как-нибудь на нашей лестнице. А теперь скорее спать!.. Иначе Белая кукушка опять рассердится.

С этими словами Жак гасит свечку, и господин Даниэль Эйсет (член Французской академии) засыпает, положив голову на плечо своего брата, как в те времена, когда ему было десять лет.

ГЛАВА V
БЕЛАЯ КУКУШКА И ДАМА ИЗ БЕЛЬЭТАЖА

На площади Сен-Жермен де Пре, у церкви, налево, под самой крышей виднеется маленькое окно, которое всякий раз, когда я на него смотрю, заставляет сжиматься мое сердце. Это окно нашей бывшей комнаты, и до сих пор еще, когда я прохожу мимо него, мне кажется, что прежний Даниэль все еще сидит там, наверху, за придвинутым к окну столиком и с улыбкой сожаления смотрит на идущего по улице теперешнего Даниэля, печального и уже сгорбленного.

О, старая сен-жерменская башня, сколько воспоминаний о чудных минутах, проведенных мною там, наверху, где я жил с моим Мамой Жаком, пробуждает во мне теперь бой твоих часов!.. Что если бы вы могли прозвонить мне еще несколько таких же часов—часов бодрости и молодости! Я был так счастлив в то время. Я работал с таким увлечением!..

Мы вставали вместе с солнцем. Жак тотчас же принимался хозяйничать. Он ходил за водой, подметал комнату, приводил в порядок мой стол. Я не имел права ни к чему прикасаться. Если я спрашивал его:

— Жак, не помочь ли тебе?

Он только смеялся.

— И думать не смей, Даниэль!.. А Дама из бельэтажа?!.

Этим намеком он зажимал мне рот.

Дело в том, что в первые дни нашей совместной жизни на мне лежала обязанность ходить вниз во двор за водой. В другое время дня я не решился бы на это, но утром весь дом еще спал, и мое тщеславие было в безопасности. Я не боялся, что кто-нибудь встретит меня на лестнице с кувшином в руках. Я отправлялся за водой прямо с постели, полуодетый. В этот час двор был безлюден. Иногда только конюх в красном казакине чистил там сбрую у колодца. Это был кучер Дамы из бельэтажа, очень элегантной молодой креолки, которой в доме все очень интересовались. Присутствия этого человека было достаточно, чтобы смутить меня; мне делалось стыдно, я спешил накачать воду и возвращался домой с кувшином, наполненным только до половины. Очутившись наверху, я сам над собой смеялся, но это не мешало мне на следующий же день чувствовать такое же смущение, стоило только показаться во дворе красному казакину... И вот однажды, когда мне посчастливилось избежать с ним встречи и я весело возвращался домой с доверха наполненным кувшином, я очутился лицом к лицу с дамой, спускавшейся с лестницы. Это была Дама из бельэтажа...

Стройная, гордая, с опущенными на книгу глазами, она шла медленно, окутанная точно облаком легкими шелковистыми тканями. С первого взгляда она показалась мне красивой, но несколько бледной, и особенно запечатлелся в моей памяти маленький белый шрам в уголке

рта, под губой. Проходя мимо меня, дама подняла глаза. Я стоял, прислонившись к стене, с кувшином в руках, красный от смущения. Подумайте, быть застигнутым вот так врасплох... Непричесанный, мокрый, с раскрытым воротом рубашки—настоящий водонос... Какое унижение! Мне хотелось провалиться сквозь землю... Дама посмотрела на меня милостивым взглядом королевы и, слегка улыбнувшись, прошла мимо. Я пришел к себе разозленный и рассказал об этом случае Жаку. Он очень смеялся над моим тщеславием, но на другой день, ни слова не говоря, взял кувшин и отправился за водой. С тех пор он делал это каждое утро, и, несмотря на угрызения совести, я не противился: я слишком боялся опять встретить Даму из бельэтажа.

Покончив с хозяйством, Жак уходил к своему маркизу, и я не видел его до самого вечера. Я проводил все дни наедине с моей Музой. Сидя у открытого окна, за моим рабочим столиком, я с утра до вечера нанизывал свои рифмы. Время от времени воробей прилетал пить из жолоба у моего окошка. Он бросал на меня дерзкий вгляд и спешил сообщить другим воробьям, чем я занимаюсь; я слышал стук их маленьких лапок по черепицам... Несколько раз в день меня навещали также сен-жерменские колокола. Я очень любил их посещения. Они с шумом врывались в открытое окно и наполняли комнату музыкой. То это был веселый быстрый перезвон, то мрачные, полные скорби звуки, падавшие медленно, один за другим, как слезы. Потом меня навещали angelus'ы. В полдень это был архангел в солнечных одеждах; он являлся ко мне, весь залитый сверкающим светом; вечерний angelus — печальный сера-

фим, спускался ко мне в потоке лунного света, и воздух в комнате становился влажным, когда он встряхивал своими большими крыльями...

Муза, воробьи, колокола были моими единственными посетителями. Да и кто еще мог навещать меня? Никто меня не знал. В молочной на улице Сен-Бенуа я всегда старался усесться за маленький столик в стороне от всех, ел быстро, не отрывая глаз от тарелки, и тотчас по окончании обеда тихонько брал свою шляпу и со всех ног бежал домой. Никогда никаких развлечений, никаких прогулок, — я не бывал даже на музыке в Люксембургском саду. Болезненная застенчивость, которую я унаследовал от госпожи Эйсет, усиливалась благодаря ветхости моего костюма и моим несчастным калошам, которые еще не удалось заменить ботинками.

Улица смущала, пугала меня. Я был бы рад никогда не спускаться со своей колокольни. Иногда, впрочем, в эти прелестные парижские весенние вечера я встречал, возвращаясь из молочной, целые ватаги веселых студентов, в больших шляпах, с трубками в зубах, шедших под руку со своими возлюбленными, и это возбуждало во мне разные желания... Тогда я быстро вбегал на свой пятый этаж, зажигал свечу и бешено работал до самого прихода Жака.

С его приходом комната сразу меняла свой вид; она наполнялась весельем, шумом, движеньем. Мы пели, смеялись, обменивались впечатлениями.

— А ты хорошо поработал?—спрашивал меня Жак.—Подвигается твоя поэма?—Потом он сообщал мне о какой-нибудь новой выдумке своего маркиза, вынимал из кармана припрятанные

для меня от десерта лакомства и радовался, глядя, как я их уплетал. Затем я возвращался к своим рифмам. Жак расхаживал некоторое время по комнате, а потом, когда замечал, что я увлекся работой, исчезал, сказав мне на прощанье: «Так как ты работаешь, я пойду не надолго *туда*». Это *туда* означало к Пьеротам, и если вы еще не угадали, почему Жак так часто ходил *туда*, то вы не очень-то догадливы! Я же понял все, понял с первого дня, как только увидел, как он перед уходом приглаживал перед зеркалом свои волосы и по несколько раз перевязывал свой галстук. Но, не желая стеснять его, я делал вид, что не догадываюсь ни о чем, и довольствовался тем, что смеялся в душе, строя всякие предположения.

После ухода Жака я опять принимался за рифмы. В этот час все замолкало; воробьи, колокола, все мои друзья уже спали. Я оставался наедине со своей Музой... Около девяти часов до меня доносились какие-то шаги по лестнице, по маленькой деревянной лестнице, составлявшей продолжение большой—парадной. Это возвращалась наша соседка Белая кукушка. С этой минуты я больше не мог работать. Все мои мысли дерзко эмигрировали к моей соседке и уже не уходили оттуда... Что она собой представляла, эта таинственная Белая кукушка?.. Невозможно было что-нибудь узнать о ней... Когда я спрашивал Жака, он бросал на меня лукавый взгляд и говорил: «Как? Ты еще ни разу не встретил нашу восхитительную соседку?..»—И никаких других объяснений. Я говорил себе: «Он не хочет, чтобы я с ней знакомился; вероятно, это какая-нибудь гризетка из Латинского квартала». И эта мысль кружила мне голову. Я представлял себе что-то свежее, юное, веселое—одним словом, гризетку.

Все, даже самое прозвище — Белая кукушка — казалось мне очень поэтичным, таким же ласкающим слух, как Мюзетта или Мими Пэнсон. Во всяком случае, это была очень благоразумная и скромная Мюзетта, возвращавшаяся ежедневно в один и тот же час и всегда в одиночестве. Я знал это потому, что несколько вечеров подряд прислушивался, приложив ухо к перегородке. И каждый раз я неизменно слышал одно и то же: сначала звук, похожий на звук откупориваемой бутылки, спустя несколько минут шум от падения на паркет какого-то тяжелого тела и почти тотчас же вслед за тем тонкий, резкий голос, похожий на голос больного сверчка, затягивал какую-то мелодию, состоявшую всего из трех нот и такую грустную, что хотелось плакать. Слов этой мелодии я не мог разобрать, за исключением только этих, совершенно непонятных для меня слогов: *Толокототиньян!.. Толокототиньян*, которые повторялись, как припев, и звучали более выразительно, чем все остальные. Эта странная музыка продолжалась около часа; потом на последнем *Толокототиньян* голос сразу обрывался, и до моего уха долетало только медленное, тяжелое дыхание... Все это очень интриговало меня.

Однажды утром Жак, ходивший во двор за водой, вошел в комнату с таинственным видом и, подойдя ко мне, прошептал:

— Если хочешь видеть нашу соседку... Тсс!.. Она здесь.

Я выскочил на площадку лестницы... Жак не обманул меня: Белая кукушка была в своей комнате, дверь в которую была открыта настежь, так что я мог, наконец, увидеть ее. Боже!.. Это было только мимолет-

ное виденье, но какое!.. Представьте себе маленькую мансарду, почти совершенно пустую. На полу—соломенный тюфяк, на камине—бутылка водки. На стене над тюфяком висела какая-то таинственная громадных размеров подкова, похожая на кропильницу. И посреди этой конуры—безобразная негритянка с круглыми блестящими, точно перламутр, глазами, с короткими, курчавыми, как шерсть черного барана, волосами, в полинялой кофте и старом красном кринолине на голом теле. В таком виде предстала передо мной моя соседка, Белая кукушка, Белая кукушка моих грез, сестра Мими Пэнсон и Бернереты. О, романтическая провинция! Да послужит это тебе уроком!..

— Что, какова?—спросил Жак, когда я вернулся к себе.—Как ты находишь ее...

Он не кончил фразы при виде моей разочарованной физиономии и разразился гомерическим хохотом. Я счел за лучшее последовать его примеру, и, стоя друг перед другом, мы неудержимо смеялись, не в силах вымолвить ни слова.

В эту минуту в полуоткрытую дверь нашей комнаты просунулась большая черная голова и тотчас же скрылась, прокричав нам: «Белые насмехаться неграми... Не... красиво!..» — Вы понимаете, конечно, что эти слова заставили нас только рассмеяться еще громче.

Когда наша веселость понемногу улеглась, Жак сообщил мне, что негритянка Белая кукушка находится в услужении у Дамы из бельэтажа и что в доме ее считают кем-то вроде колдуньи, что подтверждала и висевшая над ее матрацом подкова — символ культа Воду. Рассказывали также, что каждый вечер, когда ее хозяйка уходила из дому, Белая кукушка запиралась в своей мансарде и так напивалась,

что валилась на пол мертвецки пьяная, а потом до поздней ночи распевала негритянские песни. Это объясняло мне происхождение таинственных звуков, которые доносились из комнаты моей соседки: звук раскупориваемой бутылки, падение на пол тяжелого тела и монотонная мелодия, состоявшая всего из трех нот. Что же касается *Толокотиньян*, то, повидимому, это звукоподражательное слово, очень распространенное среди негров Капской колонии, нечто вроде наших *лон*, *лан*, *ла*; чернокожие Пафы, Дюпоны вставляют его во все свои песенки.

С этого дня — нужно ли упоминать об этом — соседство Белой кукушки не отвлекало меня больше от работы. По вечерам, когда она поднималась к себе, мое сердце уже не билось как прежде; я больше не бросал работы для того, чтобы приложиться ухом к перегородке... Но все же порой, среди ночной тишины эти *Толокотиньян* доносились до моего стола, и я испытывал какое-то смутное беспокойство, вслушиваясь в этот грустный припев; я точно предчувствовал ту печальную роль, какую ему предстояло сыграть в моей жизни...

Тем временем Мама Жак нашел себе место бухгалтера с жалованьем в пятьдесят франков в месяц у одного мелкого торговца железом, где он должен был работать каждый вечер после своих занятий у маркиза. Бедняга сообщил мне эту новость полурадостно, полупечально.

— Когда же ты будешь бывать *там?* — спросил я его.

Он ответил мне со слезами на глазах:

— Воскресенья у меня свободны.

И с этого дня он действительно ходил *ту-*

да только по воскресеньям. Но это было ему очень нелегко, конечно...

Что же это было за соблазнительное *там*, так привлекавшее Маму Жака?.. Мне очень хотелось это узнать. К сожалению, мне никогда не предлагали пойти туда, а я был слишком самолюбив, чтобы самому об этом просить. Да и как можно было пойти куда-нибудь в моих калошах?.. Но в одно воскресенье, собираясь к Пьеротам, Жак спросил меня с некоторым смущением:

— А тебе не хотелось бы пойти *туда* со мной, Даниэль? Они были бы очень рады тебе.

— Но, милый мой, ты шутишь...

— Да, я прекрасно знаю... Гостиная Пьеротов не очень-то подходящее место для поэта... Все они старые, мало развитые люди...

— Да нет, Жак, я говорю не о том: мой костюм...

— Ах, да, в самом деле... Я об этом не подумал...—сказал Жак.

И он ушел, точно обрадовавшись предлогу не брать меня с собой.

Но не успел он спуститься с лестницы, как возвратился запыхавшись.

— Даниэль,— сказал он, — скажи, если бы у тебя были ботинки и приличный пиджак, ты пошел бы со мной к Пьеротам?

— Конечно. Почему бы мне не пойти?

— Ну, в таком случае идем... Я куплю тебе все, что нужно, и мы отправимся *туда*.

Я смотрел на него с удивлением.

— Сегодня конец месяца, и деньги у меня есть,—прибавил он, чтобы убедить меня.

Я так обрадовался тому, что у меня будет новый костюм, что не заметил ни волненья Жака, ни его странного тона. Я отдал себе в

этом отчет только гораздо позже, а в ту минуту бросился ему на шею, и мы отправились с ним к Пьеротам, зайдя по дороге в Пале-Рояль, где в лавке старьевщика меня одели во все новое.

ГЛАВА VI
ИСТОРИЯ ПЬЕРОТА

Если бы Пьероту, когда ему было двадцать пять лет, предсказали, что он будет преемником господина Лалуэта, торговца фарфоровой посудой, что у него будет собственная, великолепная лавка на углу Сомонского пассажа и двести тысяч франков у нотариуса (Пьерот и нотариус!), то это очень удивило бы его.

До двадцати лет Пьерот никогда не выезжал из своей деревни, носил грубые деревянные башмаки из севенской ели, не знал ни слова по-французски и зарабатывал сто экю в год, занимаясь культурой шелковичного червя. Он был хороший товарищ, любил посмеяться, потанцовать и выпить, но никогда не переходил при этом границ приличия. Как у всех парней его возраста, у Пьерота была подружка, которую он поджидал по воскресеньям у выхода из церкви и водил танцовать гавот под тутовые деревья. Подругу Пьерота звали Робертой, «Большой Робертой». Это была красивая восемнадцатилетняя девушка, работавшая на заводе по разведению шелковичных червей, такая же круглая сирота, как Пьерот, такая же бедная, как он сам, но умевшая читать и писать, что в севенских деревнях встречается реже, чем хорошее приданое. Пьерот очень гордился своей Робертой и рассчитывал на ней жениться тотчас после рекрутского набора. Но

в день жеребьевки бедный севенец, несмотря на то, что три раза опускал руку в святую воду прежде чем подойти к урне, вынул четвертый номер! Приходилось уезжать... Какое горе!.. К счастью, госпожа Эйсет, которую вскормила и почти вырастила мать Пьерота, пришла на помощь своему молочному брату и дала ему две тысячи франков, чтобы он нанял вместо себя рекрута. В то время Эйсеты были еще богаты!

Счастливый Пьерот никуда не поехал и женился на своей Роберте. Но так как эти славные люди заботились, главным образом, о том, чтобы вернуть деньги госпоже Эйсет, а сделать это, живя в деревне, было невозможно, то они решились покинуть свою родину и отправились искать счастья в Париже.

В течение целого года ничего не было слышно о наших горцах, потом, в одно прекрасное утро госпожа Эйсет получила трогательное письмо, подписанное: «Пьерот и его жена», со вложением трехсот франков, — первых сбережений молодых. Через год новое письмо от «Пьерота и его жены» со вложением пятисот франков. На третий год—ничего. Вероятно, дела их шли плохо. В конце четвертого года получилось третье письмо от «Пьерота и его жены» и в нем последние тысяча двести франков и горячие благословения всей семье Эйсет. К несчастью, когда пришло это письмо, мы были уже разорены, фабрика продана, и мы собирались уезжать. Удрученная горем госпожа Эйсет позабыла ответить «Пьероту и его жене». С тех пор мы ничего о них не слышали до того дня, когда Жак, приехав в Париж, нашел добряка Пьерота (увы, уже без жены) в конторе бывшего торгового дома Лалуэт.

Нет ничего менее поэтичного, но более трогательного, как история Пьерота. По приезде в Париж Роберта стала ходить по домам — помогать по хозяйству. Первым домом, куда она поступила, был дом Лалуэтов. Эти Лалуэты были богатые коммерсанты, скупые и с большими причудами, не желавшие брать к себе в дом ни приказчика, ни служанки на том основании, что «все нужно делать самим» («до пятидесяти лет я сам шил себе брюки»,—говорил с гордостью старик Лалуэт), и позволившие себе только на старости лет эту небывалую роскошь— иметь в доме прислугу за двенадцать франков в месяц... Но работа в их доме стоила двенадцати франков! Магазин, комната при нем, квартира в четвертом этаже, два чана в кухне, которые каждое утро нужно было наполнять водой... Только приехав из Севенн, можно было согласиться на такие условия. Но севенка была молода, проворна, сильна, как молодая телка, и трудолюбива; она легко и быстро справлялась с этой тяжелой работой и вдобавок еще веселила стариков своим милым смехом, который один стоил дороже двенадцати франков. В конце концов своим прекрасным характером, трудолюбием мужественная женщина завоевала симпатию хозяев. Они заинтересовались ею, стали беседовать с нею, и в один прекрасный день—у самых черствых людей бывают неожиданные порывы великодушия — старый Лалуэт предложил Пьероту взаймы небольшую сумму, чтобы тот мог начать какое-нибудь торговое дело по своему вкусу.

И вот что придумал Пьерот: он приобрел старую лошадь и тележку и стал разъезжать по Парижу, выкрикивая изо всех сил: «Сбывайте все, что вам не нужно!» Наш хитрый се-

венец не продавал—он покупал... Что именно? Все. Битые горшки, пустые бутылки, старое железо, старую бумагу, пришедшую в негодность мебель, которую нельзя уже было продать, старые галуны, от которых отказывались торговцы,—словом все, что не имеет уже никакой цены и хранится только по привычке или по небрежности, потому что не знают, что с этим делать, словом все, что мешает!.. Пьерот ничем не пренебрегал, — он все покупал, или, лучше сказать, все принимал, так как чаще всего ему не продавали, но отдавали ненужный хлам... «Сбывайте все, что вам не нужно!»

В квартале Монмартр севенец пользовался большой популярностью. Подобно всем мелким уличным торговцам, желающим быть услышанными в окружающем их шуме и гаме,—он придумал свою собственную «мелодию», по которой домашние хозяйки всегда узнавали его... Сначала он выкрикивал зычным голосом во всю силу своих легких: «Сбывайте все, что вам не нужно!», потом медленным, плаксивым голосом вел длинные разговоры со своей лошаденкой, со своей «Анастажиль», как он ее называл, думая что говорит «Анастази»: «Ну, живей, Анастажиль, живей, голубушка!» — И добродушная Анастажиль, опустив голову, печально плелась вдоль тротуаров, а из окон кричали: «Стой, Анастажиль, стой!..» Постепенно тележка наполнялась, и, когда она была полна доверху, Анастажиль и Пьерот отправлялись к тряпичнику, который торговал оптом и хорошо оплачивал все, что сбывают за ненадобностью, — весь этот хлам, полученный задаром или почти задаром.

Странный промысел этот не обогатил Пьерота,

но доставлял ему хороший заработок. В первый же год он отдал деньги Лалуэту и послал триста франков «мадемуазель» — так Пьерот называл госпожу Эйсет, когда она была девушкой, и с тех пор все не решался называть ее иначе. Третий год был для него несчастливым. Это был 1830 год. Пьерот тщетно кричал: «Сбывайте все, что вам мешает!» — парижане, решившие избавиться от старого короля, который им мешал, оставались глухи ко всем выкрикиваниям Пьерота, предоставляя ему драть глотку на улицах, и его тележка возвращалась каждый вечер домой пустою. К довершению несчастья Анастажиль умерла. В это время старики Лалуэт, убедившись, что они уже не в состоянии делать все сами — предложили Пьероту поступить к ним в приказчики. Пьерот согласился, но он недолго занимал эту скромную должность. Дело в том, что со времени их переселения в Париж Роберта каждый вечер учила его читать и писать, и он мог теперь сам написать письмо и довольно сносно объяснялся по-французски. Поступив к Лалуэтам, он удвоил старания, стал даже посещать курсы для взрослых, чтобы выучиться хорошенько считать, и делал такие успехи, что через несколько месяцев мог уже заменять за конторкой почти ослепшего старика Лалуэт, а в магазине за прилавком — госпожу Лалуэт, ноги которой уже отказывались служить.

Как раз в это время появилась на свет мадемуазель Пьерот, и с тех пор благосостояние севенца пошло в гору. Сделавшись сначала участником торгового дома Лалуэтов, он позже стал его компаньоном, а вскоре затем старик Лалуэт, окончательно потеряв зрение, передал Пьероту все дело, и тот выплачивал ему еже-

годно известную сумму. Оставшись полным хозяином этого дела, севенец так его расширил, что в три года смог выплатить все Лалуэту и, освободившись от всяких обязательств, стал во главе прекрасного, великолепно обставленного магазина... Именно в этот момент, точно выждав время, когда ее муж больше не будет в ней нуждаться, Большая Роберта заболела и умерла от переутомления.

Вот история Пьерота в том виде, в каком передал мне ее в этот вечер Жак по дороге в Сомонский пассаж, и так как путь туда был длинный,—мы выбрали самую дальнюю дорогу для того, чтобы показать парижанам мой новый пиджак,—то я успел близко познакомиться со славным севенцем раньше, чем увидел его. Я узнал, между прочим, что у добряка Пьерота было два кумира, которых нельзя было касаться: его дочь и старик Лалуэт. Узнал также, что он немножко болтлив и что его утомительно слушать, так как он говорит медленно, подыскивая слова, вечно что-то бормочет и не может произнести трех слов сряду, не прибавив: «Вот уж, правда, можно сказать...» Это объяснялось тем, что севенец никак не мог привыкнуть к нашему языку, и думал всегда на лангедокском наречии, постепенно переводя все это на французский язык, и фраза: «вот уж, правда, можно сказать», которую он так часто вставлял в свою речь, давала ему время на то, чтобы проделать эту работу. По словам Жака, он не говорил, а переводил. О мадемуазель Пьерот я узнал только, что ей шестнадцать лет и что зовут ее Камиллой. Ничего больше. В этом пункте Жак был нем, как рыба.

Было около девяти часов, когда мы пришли

в магазин бывший Лалуэта. Собирались запирать. Болты, ставни, железные брусья — все принадлежности основательных запоров—лежали в куче на тротуаре у полуоткрытой двери. Газ был потушен, весь магазин погружен во мрак, за исключением конторки, на которой стояла фарфоровая лампа, освещавшая столбики золотых монет и чье-то толстое, красное, смеющееся лицо. В комнате, смежной с магазином, кто-то играл на флейте.

— Здравствуйте, Пьерот! — воскликнул Жак, подходя к конторке (я стоял рядом с ним, и свет лампы падал прямо на меня). — Здравствуйте, Пьерот!

Пьерот проверял кассу. Услыхав голос Жака, он поднял глаза и, увидев меня, громко вскрикнул, всплеснул руками и уставился на меня с раскрытым от изумления ртом.

— Ну, что?!.— с торжествующим видом спросил Жак,—что я вам говорил?!.

— О, господи, боже мой!—прошептал Пьерот:— мне кажется, что... Вот уж, правда, можно сказать... Мне кажется, что я вижу ее.

— Особенно глаза,—прервал его Жак, — посмотрите на глаза, Пьерот!..

— И подбородок, господин Жак, подбородок с ямочкой,—ответил Пьерот и приподнял абажур, чтобы лучше меня разглядеть.

Я ничего не понимал. Они рассматривали меня, подмигивая и делая друг другу какие-то знаки.

Вдруг Пьерот встал, вышел из-за конторки и с распростертыми руками подошел ко мне.

— Разрешите обнять вас, господин Даниэль... Вот уж, правда, можно сказать!.. Я буду думать, что обнимаю мадемуазель...

Последнее слово все объяснило мне. Дело в

том, что в то время я был очень похож на госпожу Эйсет, и Пьерота, не видевшего «мадемуазель» около двадцати пяти лет, это сходство особенно поразило. Добряк не переставал жать мне руки, обнимал меня и, улыбаясь, смотрел на меня глазами, полными слез. Потом он заговорил о нашей матери, о ее двух тысячах франков, о своей Роберте, о Камилле, о Анастажиль, и все это так медленно, такими длинными периодами, что мы и до сих пор все еще были бы там, в этом магазине, — вот уж, правда, можно сказать! — если бы Жак, потерявший терпение, не напомнил ему о его кассе:

— А ваша касса, Пьерот?!?

Пьерот сразу умолк, смущенный своей болтовней.

— Вы правы, господин Жак. Я болтаю... болтаю... А потом моя «малютка»... Вот уж, правда, можно сказать... будет бранить меня за то, что я вернулся так поздно.

— А разве Камилла наверху? — спросил Жак равнодушно.

— Да, да, господин Жак, она наверху... Она томится... вот уж, правда, можно сказать... Томится желанием познакомиться с господином Даниэлем. Идите к ней, а я проверю сейчас кассу и присоединюсь к вам... Вот уж, правда, можно сказать...

Жак больше не слушал его и, взяв меня под руку, увлек в соседнее помещение, где кто-то играл на флейте. Магазин Пьерота поразил меня своим величием и количеством нагроможденного в нем товара. В полумраке поблескивали графины, матовые шары, позолоченные стаканы из богемского стекла, большие хрустальные вазы, суповые фарфоровые миски, а

справа и слева целые груды тарелок, поднимавшихся до самого потолка. Настоящий дворец феи Фарфора, при ночном освещении. В комнате за магазином тускло горел газовый рожок, лениво высунувший только самый кончик своего языка... Мы прошли через эту комнату. Сидевший на краю дивана высокий молодой человек меланхолично играл на флейте. Проходя мимо него, Жак промолвил очень сухо: «Добрый день», — на что молодой человек ответил двумя короткими нотами своей флейты, тоже очень сухими. Так, вероятно, здороваются друг с другом флейты, когда они в ссоре.

— Это приказчик, — сказал мне Жак, когда мы вышли на лестницу.—Этот белокурый молодой человек просто изводит нас своей игрой на флейте... Ты любишь флейту, Даниэль?

Мне хотелось спросить его: «А «малютка» ее любит?»—но я побоялся его огорчить и серьезно ответил:

— Нет, нет, Жак, я не люблю флейту.

Квартира Пьерота была в этом же доме в четвертом этаже. Мадемуазель Камилла, слишком большая аристократка, чтобы показываться в магазине, целые дни проводила наверху и виделась с отцом только за столом.

— Вот ты увидишь,—говорил Жак, подымаясь по лестнице, — их дом поставлен совсем на барскую ногу. У Камиллы есть компаньонка, госпожа Трибу, вдова, которая всегда при ней неотлучно... Я не знаю, собственно, откуда она, эта госпожа Трибу, но Пьерот ее хорошо знает и уверяет, что она особа очень высоких качеств... Позвони, Даниэль, мы пришли!

Я позвонил, нам открыла севенка в большом чепце и, улыбнувшись Жаку, как старому знакомому, ввела нас в гостиную.

Когда мы вошли, мадемуазель Пьерот сидела у рояля. Две пожилые, довольно полные дамы,—госпожа Лалуэт и вдова Трибу, дама высоких качеств, — играли в карты. При нашем появлении все встали. Наступила минута замешательства, затем обменялись приветствиями, и Жак, представив меня присутствующим, попросил Камиллу,—он назвал ее просто Камиллой,—опять сесть за рояль. Дама высоких качеств воспользовалась этим для того, чтобы продолжать играть в карты с госпожой Лалуэт, а мы с Жаком заняли места по обеим сторонам мадемуазель Пьерот, которая весело болтала с нами и смеялась, в то время как ее пальчики бегали по клавишам. Я внимательно смотрел на нее. Ее нельзя было назвать красивой. Беленькая, розовая, с маленькими ушами, пышными волосами, румяными щеками, она слишком дышала здоровьем, а ее красные руки и несколько сдержанные манеры напоминали пансионерку, приехавшую на каникулы. Она была настоящей дочерью Пьерота, горным цветком, выросшим за стеклами Сомонского пассажа.

Таково было, по крайней мере, мое первое впечатление. Но вдруг, отвечая на какую-то мою фразу, мадемуазель Пьерот, глаза которой оставались до сих пор опущенными, медленно подняла их на меня, и в то же мгновение, точно по волшебству, маленькая мещаночка исчезла... Я видел теперь одни только ее глаза, большие, сияющие, черные глаза, которые я тотчас же узнал...

О, чудо! Это были те же Черные глаза, которые так кротко светили мне там, в холодных стенах старого коллежа; Черные глаза, которыми распоряжалась старая колдунья в очках, одним словом «мои» Черные глаза... Мне каза-

лось, что это сон. Мне хотелось закричать им: «Вы ли это, прекрасные Черные глаза? Вас ли я опять нашел на другом лице?»... Да, это были они, и невозможно было не узнать их. Те же ресницы, тот же блеск, тот же сдержанный огонь. Было бы безумием думать, что на свете могут найтись другие такие глаза. К тому же доказательством того, что это были именно те самые Черные глаза, а не какие-нибудь другие, на них похожие, служило то, что они тоже узнали меня, и мы, конечно, не замедлили бы завести один из наших прежних безмолвных диалогов, если бы в эту минуту я не услышал над самым ухом какой-то странный звук, точно мышь грызла что-то. Я повернул голову и увидел в кресле, стоявшем у изгиба рояля, человека, которого я раньше не заметил. Это был высокий, худой, мертвенно бледный старик с птичьей головой, с острым носом и круглыми безжизненными глазами, расставленными далеко от носа, почти у самых висков... Если бы не кусок сахара, который старик держал в руке и время от времени грыз, можно было бы подумать, что он спит. Несколько смущенный этим призраком, я отвесил ему глубокий поклон, на который он не ответил...

— Он тебя не видит,—сказал мне Жак.—Это слепой... Господин Лалуэт.

«К нему очень подходит это имя»,— подумал я, и, чтобы не видеть этого страшного старика с птичьей головой, я поспешил опять повернуться к Черным глазам, но, увы, очарованье рассеялось, — Черные глаза исчезли! Вместо них на табурете у рояля чинно сидела обыкновенная мещаночка...

В эту минуту дверь гостиной отворилась, и Пьерот шумно вошел в комнату. За ним следо-

вал молодой человек с флейтой подмышкой. При его появлении Жак бросил на него молниеносный взгляд, способный убить буйвола. Но он, вероятно, не попал в цель, так как флейтист и глазом не моргнул.

— Ну что, малютка,— сказал севенец, целуя дочь в обе щеки, — ты довольна? Тебе привели, наконец, твоего Даниэля... Как же ты его находишь? Очень мил, не так ли? Вот уж, правда, можно сказать... вылитый портрет мадемуазель...

И добряк, повторяя сцену, разыгравшуюся в магазине, вытащил меня на середину комнаты чтобы все могли видеть глаза мадемуазель... нос мадемуазель... подбородок с ямочкой мадемуазель...

Этот осмотр очень смутил меня. Госпожа Лалуэт и ее партнерша, дама высоких качеств, прервали игру и, откинувшись на спинку кресел, рассматривали меня с полнейшим хладнокровием, громко критикуя или расхваливая ту или другую часть моей особы, точно я был откормленным цыпленком, вынесенным для продажи на рынок. Между нами говоря, дама высоких качеств была, повидимому, хорошим знатоком по части молодой живности.

К счастью, Жак положил конец этой пытке, попросив мадемуазель Пьерот сыграть что-нибудь.

— Да, да, сыграем что-нибудь, — подхватил флейтист, бросаясь к роялю с флейтой в руках.

— Нет, нет... не надо дуэта, не надо флейты!—воскликнул Жак. Голубые глаза флейтиста бросили на него ядовитый. как караибская стрела, взгляд. Но Жак невозмутимо продолжал кричать:

— Не надо флейты!

В конце концов он остался победителем, и мадемуазель Пьерот сыграла нам без всякой флейты одну из очень известных пьес — «Грезы» Рослена. Во время ее игры Пьерот плакал от восхищения; Жак плавал в блаженстве; безмолвный, с флейтой у губ, флейтист подергивал в такт плечами и мысленно аккомпанировал.

Покончив с Росленом, мадемуазель Пьерот повернулась ко мне:

— А вас, господин Даниэль, — проговорила она, опуская глаза, — мы разве не услышим? Ведь вы поэт.

— И прекрасный поэт, — прибавил Жак, этот нескромный Жак...

Вы понимаете, конечно, что мне совсем не улыбалось читать стихи перед всеми этими амалекитянами. Если б еще Черные глаза были здесь! Но нет! Вот уж целый час, как они погасли. И я напрасно искал их... Надо было слышать, каким развязным тоном я ответил маленькой Пьерот:

— На этот раз простите меня, мадемуазель, я не захватил с собой своей лиры.

— Не забудьте же принести ее в следующий раз, — сказал Пьерот, приняв эту метафору в буквальном смысле. Бедняга искренно думал, что у меня есть лира и что я играю на ней так же, как его приказчик на флейте... Да, прав был Жак, предупреждая, что ведет меня в курьезный мирок.

Около одиннадцати часов подали чай. Мадемуазель Пьерот ходила взад и вперед по комнате, предлагала сахар, наливала молоко, приветливая, с улыбкой на устах, с поднятым в воздух мизинцем.

Тут я опять увидел Черные глаза. Они не-

ожиданно появились предо мной, сияющие, полные участья, но они снова исчезли, прежде чем я успел с ними заговорить... И только тогда я понял, что в образе мадемуазель Пьерот слились два совершенно различных существа: мадемуазель Пьерот — маленькая мещаночка с гладко причесанными на пробор волосами, созданная для того, чтобы царить в бывшем доме Лалуэт, и Черные глаза, — эти большие, полные поэзии глаза, раскрывавшиеся, как два бархатных цветка, и точно по волшебству преображавшие весь этот смешной мирок торгашей. Мадемуазель Пьерот совершенно не привлекала меня, но Черные глаза... О, Черные глаза!..

Пора было расходиться. Госпожа Лалуэт поднялась первая. Она укутала мужа в большой клетчатый плед и потащила его, как забинтованную мумию. После их ухода Пьерот долго еще стоял с нами на площадке лестницы, задерживая нас своей бесконечной болтовней.

— Ну, теперь, господин Даниэль, когда вы уже узнали наш дом, я надеюсь, что мы вас будем часто видеть. У нас не бывает большого общества, но зато это избранное общество. Вот уж, правда, можно сказать... Во-первых, господин и госпожа Лалуэт, прежние мои хозяева; во-вторых, госпожа Трибу, дама высоких качеств, с ней вы всегда можете поговорить; затем мой приказчик, добрый малый, который играет нам иногда на флейте... вот уж, правда, можно сказать... С ним вы можете разыгрывать дуэты. Это будет очень мило.

Я робко ответил, что очень занят и поэтому, может быть, не смогу бывать так часто, как мне хотелось бы.

Мои слова заставили его рассмеяться.

— Полноте! Заняты... господин Даниэль?!.

Знаем мы ваши занятия в Латинском квартале!.. Вот уж, правда, можно сказать... Наверно, тут замешана какая-нибудь гризетка.

— Надо признаться, — сказал со смехом Жак,— мадемуазель Белая кукушка не лишена известного очарования...

Это имя Белая кукушка еще больше развеселило Пьерота.

— Как вы сказали, господин Жак?.. Белая кукушка?.. Ее зовут Белой кукушкой?... Ха-ха-ха! Подумайте, какой шалун!.. В его-то годы!

Он сразу умолк, заметив, что дочь слушает его. Но он продолжал хохотать, и, уже спустившись с лестницы, мы все еще слышали его громкий смех, сотрясавший перила лестницы.

— Ну, как ты находишь их?—спросил Жак, как только мы очутились на улице.

— Дорогой мой, господин Лалуэт очень безобразен, а мадемуазель Пьерот очаровательна.

— Не правда ли?!— воскликнул бедный влюбленный с такой живостью, что я не мог удержаться от смеха.

— Ну, Жак, ты себя выдал,—сказал я, беря его за руку.

В этот вечер мы с ним долго гуляли по набережным. У наших ног тихая темная река отражала тысячи звезд, похожих на рассыпанный жемчуг. Скрипели якорные канаты больших судов. Так приятно было не спеша бродить в полумраке, слушая Жака, говорившего мне о своей любви... Он любил всей душой, но его не любили; он прекрасно знал, что его не любят.

— Так она, наверно, любит кого-нибудь другого, Жак.

— Нет, Даниэль, я не думаю, чтобы до сегодняшнего вечера она кого-нибудь любила.

— До сегодняшнего вечера! Жак, что ты хочешь этим сказать?

— Да то, что тебя все любят, Даниэль, и она тоже может тебя полюбить...

Бедный, милый Жак! Нужно было слышать, каким грустным и покорным тоном он говорил это. Чтобы успокоить его, я громко расхохотался, громче, может быть, даже, чем хотел.

— Чорт возьми, какие у тебя фантазии!.. Неужели же я так неотразим, и разве мадемуазель Пьерот так легко воспламеняется?.. Нет, нет, успокойся, Мама Жак: мадемуазель Пьерот так же мало интересует меня, как и я ее. Не меня тебе бояться, во всяком случае.

Я говорил вполне искренно: мадемуазель Пьерот не существовала для меня... Другое дело — Черные глаза!

ГЛАВА VII
КРАСНАЯ РОЗА И ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

После первого посещения бывшей фирмы Лалуэт, я некоторое время не возвращался *туда*. Но Жак продолжал свои воскресные паломничества и всякий раз придумывал для своего галстука какую-нибудь новую обольстительную форму банта. Галстук Жака представлял собой целую поэму, поэму пылкой и в то же время сдержанной любви, нечто в роде восточного селяма, один из тех эмблематических букетов, которые турецкие аги преподносят своим возлюбленным, искусно выражая подбором цветов оттенки страсти.

Если б я был женщиной, то галстук Жака с его бесконечно разнообразными бантами тронул бы меня больше всяких объяснений в любви. Но должен вам сказать, что женщины в этом

ровно ничего не смыслят... Каждое воскресенье, перед уходом, бедный влюбленный всегда обращался ко мне с вопросом:

— Я иду *туда*, Даниэль... Ты пойдешь?

На что я неизменно отвечал:

— Нет, Жак, я работаю.

Он быстро удалялся, а я оставался один, совсем один, склоненный над рабочим столом.

Я определенно и твердо решил не ходить больше к Пьеротам: я боялся встречи с Черными глазами. Я говорил себе: «Если ты их увидишь — ты погиб», и я не хотел их видеть. Но они не выходили у меня из головы, эти демонические Черные глаза. Они мерещились мне повсюду; я думал о них постоянно,— во время работы, ночью, во сне. На всех моих тетрадях вы могли бы увидеть нарисованные пером большие глаза с длинными ресницами... Это было какое-то наваждение!

Ах, когда Мама Жак с сияющими от удовольствия глазами, в завязанном по-новому галстуке, отправлялся, весело подпрыгивая, в Сомонский пассаж, один бог знает, как хотелось мне броситься вслед за ним по лестнице и закричать ему: «Подожди меня!» Но нет! Какой-то внутренний голос говорил мне, что я дурно поступлю, если пойду *туда*, и у меня хватало мужества оставаться за своим рабочим столом и спокойно отвечать Жаку: «Нет, благодарю тебя, Жак, я буду работать».

Так длилось некоторое время. В конце концов с помощью Музы мне, вероятно, удалось бы изгнать из головы мысль о Черных глазах, но, к несчастью, я имел неосторожность увидеться с ними еще раз... И это меня погубило. Я потерял и сердце, и голову. Вот при каких обстоятельствах это было.

После откровенного разговора со мной на берегу реки, Мама Жак больше ничего не говорил мне о своей любви, но по его виду я прекрасно понимал, что все шло не так, как ему хотелось бы... По воскресеньям, возвращаясь от Пьеротов, он бывал всегда очень грустен. По ночам я слышал, как он тяжело вздыхал. Если я его спрашивал: «Что с тобой, Жак?» — он резко отвечал: «Ничего». Но по одному его тону я понимал, что с ним что-то происходит. Он, такой добрый и терпеливый, теперь часто бывал раздражителен, а иногда смотрел на меня так, точно мы были с ним в ссоре. Я догадывался, конечно, что под этим скрывалось какое-то большое сердечное горе, но так как Жак упорно молчал, то я не смел заговорить с ним об этом. Однако в одно из воскресений, когда он вернулся домой еще более мрачный, чем обыкновенно, я решил выяснить положение дела.

— Послушай, Жак, что с тобой?— спросил я, взяв его за руку.— Разве твои шансы *там* плохи?..

— Да, плохи...— ответил бедный малый разочарованным тоном.

— Но все-таки, в чем же дело? Может быть, Пьерот что-нибудь заметил. Мешает вам любить друг друга?!.

— О, нет, Даниэль, Пьерот ничему не мешает... Но она меня не любит и не полюбит никогда.

— Что за фантазия, Жак! Как можешь ты знать, что она никогда тебя не полюбит... Разве ты признавался ей в своей любви?.. Ведь нет?.. Но тогда...

— Тот, кого она любит, ничего ей не говорил... ему не надо было говорить для того, чтобы его полюбили...

— Но неужели же ты думаешь, Жак, что этот флейтист?..

Жак точно не расслышал моего вопроса.

— Тот, кого она любит, ничего ей не говорил,— повторил он.

И больше я ничего не мог добиться у него.

В эту ночь никто не спал на сен-жерменской колокольне.

Жак почти всю ночь просидел у окна, глядя на звезды и вздыхая. Я же думал в это время о том, как бы помочь Жаку.

«Что если бы я пошел туда выяснить в чем дело? Ведь Жак может ошибаться. Мадемуазель Пьерот, очевидно, не поняла, сколько любви скрывается в складках его галстука... Раз Жак не осмеливается говорить ей о своем чувстве, может быть, мне следует поговорить за него... Да, я пойду и поговорю с этой молоденькой филистимлянкой... И тогда мы увидим...»

На следующий день, не говоря ни слова Жаку, я привел этот план в исполнение. Клянусь, что у меня не было никаких задних мыслей. Я пошел туда ради Жака, исключительно ради Жака... Тем не менее, когда я увидел на углу Сомонского пассажа бывший торговый дом Лалуэт с его зелеными ставнями и большой вывеской, гласившей: «*Фарфор и Хрусталь*», у меня замерло сердце, что должно было послужить мне предостережением... Я вошел. В магазине никого не было. В задней комнате завтракал флейтист. Даже во время еды он не расставался со своим инструментом, который лежал тут же на столе. «Совершенно невероятно, чтобы Камилла могла колебаться в выборе между этой ходячей флейтой и Мамой Жаком,— подумал я, поднимаясь по лестнице,— впрочем, увидим».

Я застал Пьерота, его дочь и даму высоких

качеств за столом. Черных глаз, к счастью, не было. Мое появление было встречено возгласами изумления.

— Наконец-то!— воскликнул добряк Пьерот своим громовым голосом.— Вот уж, правда, можно сказать... Он сейчас выпьет с нами кофе...

Меня усадили за стол. Дама высоких качеств принесла мне красивую чашку с золотыми цветами, и я сел рядом с мадемуазель Пьерот...

Она была очень мила в этот день. В волосах у нее немного повыше уха — на этом месте теперь цветов не носят — была маленькая красная роза, ярко-красная... Говоря между нами, я подозреваю, что эта маленькая красная роза была волшебницей, настолько она красила маленькую филистимлянку...

— Что же это такое, господин Даниэль,— проговорил Пьерот, смеясь своим добродушным громким смехом.— Все кончено? Вы больше не хотите бывать у нас?..

Я начал извиняться, ссылаясь на свои литературные работы...

— Знаю, знаю: Латинский квартал!!.— перебил севенец, толкая меня ногой под столом, и засмеялся еще громче, поглядывая на даму высоких качеств, которая многозначительно покашливала. Для этих людей слово «Латинский квартал» означало оргии, скрипки, маски, хлопушки, разбитую посуду, безумные ночи и прочее, и прочее.

Как удивились бы они, если б я рассказал им о моей отшельнической жизни на сен-жерменской колокольне. Но, ведь вы знаете,— в молодости бываешь не прочь прослыть кутилой. Слушая обвинения Пьерота, я принимал скромный, слегка смущенный вид и защищался весьма слабо:

— Да нет же, уверяю вас... Это совсем не то, что вы думаете!..

Если бы в эту минуту меня увидел Жак, он, наверно, расхохотался бы.

В то время как мы допивали кофе, со двора донеслись звуки флейты, призывавшие Пьерота в магазин. Как только он вышел, дама высоких качеств отправилась в кухню сыграть с кухаркой партию в «пятьсот». Между нами говоря, одно из самых высоких качеств этой дамы было ее пристрастие к картам.

Оставшись наедине с Красной розой, я подумал: «Вот удобный момент», — и у меня уже готово было сорваться с языка имя Жака... Но не успел я еще произнести слова, как мадемуазель тихо, не глядя на меня, вдруг спросила:

— Это Белая кукушка мешает вам навещать ваших друзей?

Сначала я подумал, что она смеется. Но нет, она не смеялась. Повидимому, она была очень взволнована, судя по румянцу ее щек и частому дыханию, подымавшему тонкий тюль на ее груди. Вероятно, о Белой кукушке говорили в ее присутствии, и она вообразила себе бог знает что. Я мог бы разуверить ее одним словом, но какое-то глупое тщеславие удержало меня... Видя, что я не отвечаю, мадемуазель Пьерот повернулась ко мне и, подняв свои длинные, опущенные ресницы, взглянула на меня... Нет. Я лгу... Это не она посмотрела на меня, а Черные глаза, полные слез и нежных упреков... Милые Черные глаза, отрада души моей!

Но это было лишь мимолетное видение. Длинные ресницы тотчас же опустились. Черные глаза исчезли, и я снова видел около себя только мадемуазель Пьерот. Тогда, не ожидая нового

появления Черных глаз, я заговорил о Жаке. Я начал с того, что рассказал, как он добр, честен, мужествен, великодушен; рассказал о его безграничной преданности, его нежности и заботливости, которой могла бы позавидовать любая мать. Жак меня кормил, одевал, содержал, и все это ценою бог знает какого труда, каких лишений. Если б не он, я до сих пор был бы все еще там, в этой мрачной сарландской тюрьме, где я так ужасно страдал...

Эта часть моего повествования, повидимому, растрогала мадемуазель Пьерот, и я увидел, как крупная слеза скатилась по ее щеке. Решив, что она плачет о Жаке, я сказал себе: «Ну, кажется, идет на лад». И удвоив свое красноречие, я заговорил о тоске Жака, о глубокой тайной любви, терзавшей его сердце. Как счастлива будет та женщина, которая...

В этот момент красная роза выскользнула из волос мадемуазель Пьерот и упала к моим ногам. А я как раз придумывал, как бы поделикатнее дать понять Камилле, кто была эта трижды счастливая женщина, в которую влюбился Жак. Красная роза разрешала эту задачу. Недаром я говорил вам, что эта маленькая роза была волшебницей. Я быстро поднял ее, но и не подумал вернуть владелице.

— Я передам ее Жаку от вас,— сказал я мадемуазель Пьерот с многозначительной улыбкой.

— Передайте ее Жаку, если хотите,— со вздохом ответила мадемуазель Пьерот. Но в эту самую минуту опять появились Черные глаза и нежно посмотрели на меня, как бы желая сказать: «Нет, не Жаку... Тебе!» И если бы вы только видели, как они это сказали! С какой пылкостью, искренностью, с какой целомудрен-

ностью и непреодолимой страстью! Но так как я все еще колебался, то им пришлось повторить мне несколько раз: «Да!.. Тебе... Тебе...» Тогда я поцеловал маленькую красную розу и спрятал ее у себя на груди.

В этот вечер Жак, вернувшись домой, застал меня, по обыкновению, у моего рабочего стола, склоненным над рифмами, и я ничего не сказал ему о моем утреннем визите. Но, точно на грех, когда я раздевался, красная роза, спрятанная у меня на груди, упала на пол, к ножке кровати — все волшебницы коварны! Жак ее увидел, поднял с пола и долго разглядывал. Не знаю, кто был в эту минуту краснее: я или красная роза.

— Я узнаю ее,— сказал Жак.—Она сорвана с того розана, который стоит *там* на окне в гостиной.

И прибавил, возвращая мне розу:

— Мне она никогда не дарила цветов...

Он сказал это так грустно, что у меня слезы навернулись на глаза.

— Жак, друг мой, Жак, клянусь тебе, что до сегодняшнего вечера...

Он ласково прервал меня:

— Не оправдывайся, Даниэль! Я уверен, что по отношению ко мне ты не сделал ничего такого, в чем мог бы себя упрекнуть. Я знал, давно знал, что она тебя любит. Помнишь, я тебе как-то сказал: «Тот, кого она любит, ничего не говорил ей. Ему не нужно было ничего говорить для того, чтобы быть любимым».

И бедняга Жак принялся расхаживать по комнате большими шагами. Я следил за ним неподвижно, с красной розой в руке.

— Случилось то, что должно было случиться,— снова начал он после минутного молчания.— Я

давно уже все это предвидел. Знал, что если она тебя увидит, я перестану существовать для нее... Вот почему я так долго не решался вести тебя туда. Я заранее ревновал тебя... Прости меня,— я так ее любил!.. Но настал день, когда я решил сделать опыт и взял тебя с собой. В тот вечер я понял, друг мой, что все кончено... Через какие-нибудь пять минут она взглянула на тебя так, как ни на кого еще никогда не смотрела. Ты тоже заметил это... Не лги, не отрицай... Доказательством служит то, что ты более месяца *туда* не возвращался. Но, увы! Мне это не помогло... Для таких натур, как ее, отсутствующие не бывают виноваты, наоборот... Каждый раз, когда я приходил туда, она говорила со мной исключительно о тебе, и так наивно, с таким доверием, с такой любовью... Это было настоящей пыткой... Теперь все кончено... Так лучше...

Жак долго еще говорил со мной, говорил все так же ласково, все с той же покорной улыбкой. Его слова причиняли мне в одно и то же время и горе, и радость. Горе потому, что я чувствовал, что он несчастен; радость потому, что за каждой его фразой я видел Черные глаза, которые светились любовью ко мне. Когда он умолк, я подошел к нему, чувствуя себя немного сконфуженным, но не выпуская из рук красной розы.

— Жак, ты теперь больше уж не будешь любить меня?!.

Он улыбнулся и, прижимая меня к груди, сказал:

— Глупенький! Я буду любить тебя больше прежнего.

И это было действительно так. История с красной розой не повлияла ни на отношение

Жака ко мне, ни на его настроение. Я думаю, что он глубоко страдал, но он никогда не показывал этого. Ни вздоха, ни жалобы — ничего. Как и раньше, он продолжал ходить туда по воскресеньям и попрежнему был со всеми приветлив. Но только он потерял всякий интерес к бантам своего галстука и совершенно упразднил их. Спокойный и гордый, работая до изнеможения, он мужественно шел вперед по жизненному пути, неуклонно стремясь к одной цели — к восстановлению домашнего очага... О, Жак, Мама Жак!

Что касается меня, то получив возможность свободно, без угрызений совести любить Черные глаза, я весь с головой окунулся в свою страсть. Я проводил целые дни у Пьеротов, где покорил все сердца... и ценой каких невинных хитростей!.. Я приносил кусочки сахара старому Лалуэту, играл в карты с дамой высоких качеств, был готов на всякие жертвы. В этом доме меня прозвали «Желанием нравиться». Обычно я приходил туда в середине дня. В этот час Пьерот бывал в магазине, а мадемуазель Камилла наверху, в обществе одной только дамы высоких качеств. Как только я входил, на сцену являлись Черные глаза, а дама высоких качеств почти тотчас же исчезала и оставляла нас одних. Эта благородная дама, которую севенец дал своей дочери в компаньонки, считала себя свободной от всех обязанностей, как только я приходил. Она спешила в кухню поиграть в карты с кухаркой. Я не обижался... Подумайте только: остаться наедине с Черными глазами!

Сколько чудесных часов провел я в этой маленькой желтой гостиной! Я почти всегда приносил какую-нибудь книгу, одного из моих любимых поэтов, и читал вслух Черным глазам,

которые то наполнялись слезами, то метали молнии, в зависимости от того, что я читал. А мадемуазель Пьерот в это время вышивала около нас туфли своему отцу или же играла свои бесконечные «Грезы» Рослена. Но мы не обращали на нее никакого внимания, можете быть в этом уверены. Случалось, что в самый патетический момент нашего чтения эта маленькая мещаночка делала вслух какое-нибудь нелепое замечание вроде: «Нужно позвать настройщика», или: «я сделала два лишних крестика на туфле»... И это меня так раздражало, что я немедленно закрывал книгу, не желая читать дальше. Но Черные глаза обладали способностью бросать на меня выразительный взгляд, сразу успокаивающий меня, и я опять продолжал свое чтение.

Конечно, было большой неосторожностью оставлять нас всегда одних в этой маленькой гостиной. Ведь нам вдвоем — Черным глазам и «Желанию нравиться» было не более тридцати четырех лет! Хорошо, что мадемуазель Пьерот всегда была тут же, она была очень разумным, очень предусмотрительным, очень бдительным сторожем порохового погреба... Однажды, помню, мы — Черные глаза и я — сидели рядом на диване в этой маленькой желтой гостиной. Был теплый майский день Окно было полуоткрыто, длинные занавеси спущены. Мы читали «Фауста». Когда я кончил, книга выскользнула у меня из рук, и несколько мгновений мы сидели в окружавшей нас тишине и полумраке, прижавшись друг к другу, не произнося ни слова... Она склонила голову на мое плечо, и я увидел, как в вырезе ее лифа, прикрытом прозрачной шейной косынкой, блеснули маленькие серебряные образки. Вдруг появилась мадемуазель Пьерот.

Нужно было видеть, как быстро отправила она меня на другой конец дивана. И какое длинное наставление прочла она нам:

«То, что вы делаете, очень дурно, милые дети!— говорила она.— Вы злоупотребляете оказываемым вам доверием... Вам нужно поговорить с отцом о ваших намерениях... Послушайте, Даниэль, когда же, наконец, вы с ним поговорите?!.»

Я обещал поговорить с Пьеротом в самом скором времени, как только закончу свою поэму. Это обещание немного успокоило нашу «гувернантку», но все равно — в этот день Черным глазам было запрещено садиться на диван рядом с «Желанием нравиться».

Вообще, мадемуазель Пьерот была особа очень строгих правил. Представьте себе, что в первое время она не позволяла Черным глазам писать мне! В конце концов она согласилась, но с условием, чтобы ей показывали все письма. К сожалению, она не довольствовалась одним только чтением этих очаровательных, полных страсти писем, которые мне писали Черные глаза, и часто вставляла в них свои собственные фразы, вроде следующих:

...«Сегодня с утра мне очень грустно: я нашла в своем шкафу паука. Паук утром — не к добру».

Или еще:

«Не заводят семьи, когда пусто в кармане».

И потом этот вечный припев: «Вам надо поговорить с отцом».

На что я неизменно отвечал:

— Поговорю, как только закончу поэму.

ГЛАВА VIII

ЧТЕНИЕ В СОМОНСКОМ ПАССАЖЕ

Наконец, я закончил эту знаменитую поэму, закончил после четырехмесячного труда. Помню, что, дойдя до последних стихов, я не мог уже больше писать, так дрожали мои руки от лихорадочного возбуждения, гордости, радости и нетерпения.

На сен-жерменской колокольне это было целым событием. Ради этого случая Жак превратился на один день в прежнего Жака, любителя картонажных изделий и горшочков с клеем. Он великолепно переплел тетрадь, в которую пожелал собственноручно переписать мою поэму, и от каждого стиха приходил в дикий восторг... Я относился более сдержанно к своему произведению. Жак слишком любил меня, и я не вполне доверял его суждению. Мне хотелось бы прочесть свою поэму какому-нибудь беспристрастному и надежному судье. Но, к несчастью, я никого не знал.

А между тем, в молочной мне представлялись случаи завести знакомства. С тех пор как мы «разбогатели», я обедал за табльдотом в задней комнате. Там обедало обычно человек двадцать молодых людей,— писателей, художников, архитекторов или, вернее сказать, — их «зародышей». Некоторые из них сделались теперь знаменитыми, и когда я читаю в журналах их имена, я глубоко страдаю, потому что сам я ничего еще не добился. Когда я впервые появился за столом, вся эта молодежь встретила меня с распростертыми объятиями, но так как я был слишком застенчив, чтобы принимать участие в общих спорах, то меня скоро забыли, и среди всей этой публики я был так же одинок, как и за от-

дельным маленьким столиком в общей зале. Я слушал, но ничего не говорил.

Раз в неделю с нами обедал один очень известный поэт. Не помню сейчас его фамилии, но все эти господа называли его Багхаватом по заглавию одной из его поэм. В эти дни все присутствующие пили бордо по восемнадцать су бутылка, а за десертом великий Багхават декламировал какую-нибудь из своих индийских поэм. Индийские поэмы были его специальностью. Одна из них называлась «Лаксамана», другая «Дасарата», потом еще «Калатсала», «Баджирата», «Судра», «Куносепа», «Васвамитра»... и другие. Но самой прекрасной была все же «Багхавата». Когда поэт читал ее, наша зала неистовствовала. Ревели, топали ногами, вскакивали на столы... Справа от меня сидел маленький красноносый архитектор. Он начинал рыдать, как только поэт произносил первый стих, и потом все время вытирал глаза моей салфеткой.

Поддаваясь общему восторгу, я кричал громче всех, но в душе я вовсе не был в восторге от «Багхавата». В общем, все эти поэмы были похожи одна на другую. Во всех непременно лотус, кондор, слон, буйвол. Иногда для разнообразия лотус назывался «лотосом», но за исключением этого варианта все эти рапсодии стоили друг друга: ни страсти, ни правды, ни фантазии... Рифма на рифме. Какая-то мистификация... Вот что я думал про себя о великом Багхавате. Возможно, что я судил бы его менее строго, если б меня попросили прочитать мои стихи. Но, к сожалению, меня об этом никто не просил, и это делало меня безжалостным... Впрочем, надо сказать, что не я один был такого мнения об индусской поэзии. Моего соседа слева она тоже не трогала. Странный тип

этот сосед мой слева: в поношенном, лоснящемся сюртуке, с блестящим, точно смазанным маслом, лицом, с большой лысиной и с длинной бородой, в которой всегда путались несколько ниточек вермишели. Это был самый пожилой и самый развитой из всех присутствующих за столом. Как все великие умы, он говорил мало и не расточал своих знаний. Все уважали его. «У него ум мыслителя» — говорили про него. Что касается меня, то видя ироническую улыбку, кривившую его рот, когда он слушал чтение стихов знаменитого Багхавата, — я составил о своем соседе слева самое высокое мнение и думал: «Вот это — человек со вкусом!.. Что если б я прочитал ему свою поэму?!.»

Однажды вечером, когда кончали обедать, я велел подать себе графинчик водки и предложил «мыслителю» выпить со мной рюмочку. Он принял мое предложение, — его слабость в этом отношении была мне известна, и, наведя разговор на великого Багхавата, я начал издеваться над его лотосами, кондорами, слонами и буйволами. Это было, конечно, большой дерзостью с моей стороны, — слоны ведь так мстительны!.. — Пока я говорил, мыслитель молча наливал себе рюмку за рюмкой. Время от времени он улыбался и, кивая одобрительно головой, мычал:

— У-а-а... У-а-а!..

Ободренный этим первым успехом, я признался ему, что тоже сочинил поэму и желал бы ее показать.

— У-а-а... У-а-а... — опять промычал мыслитель.

Видя его так благодушно настроенным, я подумал: «Вот подходящая минута» и вытащил поэму из кармана. Философ невозмутимо нали-

вал себе пятую рюмку, спокойно глядя, как я развертывал рукопись; но когда я собрался приступить к чтению, он положил свою руку, цвета старой слоновой кости, на мой рукав:

— Прежде чем приступить к чтению, молодой человек, позвольте узнать, каков ваш критерий?..

Я взглянул на него с беспокойством.

— Ваш критерий! — повторил страшный мыслитель, повышая голос. — Какой ваш критерий?!

Увы, мой критерий... У меня его не было. Я никогда не думал им обзаводиться. Об этом свидетельствовали мой удивленный взгляд, мое смущение, мой румянец.

Возмущенный мыслитель встал из-за стола.

— Как, несчастный молодой человек, у вас нет критерия?! В таком случае, незачем и читать мне вашу поэму: я заранее знаю, чего она стоит.

И выпив одну за другой три последние рюмки водки, остававшиеся еще на дне графина, он взял свою шляпу и вышел, свирепо вращая глазами.

Когда я вечером рассказал об этом приключении моему другу Жаку, он страшно рассердился.

— Твой мыслитель дурак, — сказал он. — Для чего в сущности нужно иметь критерий? Разве у зябликов он есть?.. Критерий!!. Что это такое в сущности?.. Где это фабрикуется?.. Видел ли его кто-нибудь?.. Наплевать на твоего торговца критериями!

Добрый Жак! У него слезы навернулись на глаза от обиды, нанесенной моему шедевру.

— Послушай, Даниэль, — сказал он после минутного раздумья, — мне пришла в голову вот какая мысль: раз тебе хочется прочитать

свою поэму, то отчего бы тебе не прочитать ее в одно из воскресений у Пьеротов?..

— У Пьеротов?.. Жак!

— Почему нет?.. Пьерот, правда, не орел, но и не крот. У него много здравого смысла и верного чутья... Камилла же будет прекрасным судьей, хотя и немного пристрастным... Дама высоких качеств много читала... Даже эта старая птица Лалуэт не так ограничен, как это кажется... К тому же у Пьерота в Париже много знакомых, очень почтенных людей, которых можно было бы пригласить на этот вечер... Что ты на это скажешь? Хочешь, я поговорю с ним об этом?..

Идея Жака искать судей в Сомонском пассаже мне не очень улыбалась, но мне так хотелось прочитать мои стихи, что я очень скоро перестал хмуриться и согласился на его предложение. На следующий же день он переговорил с Пьеротами. Очень сомнительно, чтобы Пьерот ясно понял, о чем шла речь, но так как это давало ему повод сделать приятное детям «Мадемуазель», то добряк согласился, не раздумывая, и приглашения были тотчас же разосланы.

Никогда еще маленькая желтая гостиная не была свидетельницей такого празднества. Пьерот в мою честь пригласил самых важных лиц из мира торговцев фарфором. Кроме обычных посетителей, были господин и госпожа де Пассажан с сыном — ветеринаром, одним из лучших учеников альфортской школы; Ферручья младший, масон, прекрасный оратор, имевший чертовский успех в ложе Великого Востока; потом супруги Фужеру с шестью дочерьми, сидевшими все в ряд по росту и напоминавшими собой органные трубы, и, наконец, Ферручья старший, член общества «Каво», самая знатная персона на этом вечере.

Можете себе представить мое волнение, когда я очутился перед таким внушительным ареопагом. Так как гостей предупредили, что они должны будут дать свое заключение о поэтическом произведении, то господа сочли своим долгом состроить подходящие для этого случая физиономии — холодные, равнодушные, без тени улыбки — и разговаривали между собой шопотом, важно покачивая головами, как судьи. Пьерот, не придававший всему этому такого значения, смотрел на них с удивлением... Наконец, все уселись по местам. Я сидел спиной к роялю; против меня, полукругом — вся моя аудитория, за исключением старика Лалуэта, который грыз сахар на своем обычном месте. После первых шумных минут водворилась тишина, и я начал читать взволнованным голосом свою поэму...

Это была драматическая поэма, носившая громкое название «Пасторальной комедии»... Читатель, конечно, помнит, что в первые дни своего заключения в Сарландском коллеже Малыш забавлялся тем, что рассказывал своим ученикам фантастические историйки, действующими лицами которых были сверчки, бабочки и разные другие букашки. И вот из трех таких сказок, переложив их в стихи, я и составил свою *«Пасторальную комедию»*. Моя поэма была разделена на три части, но в этот вечер у Пьеротов я прочел только первую часть. Я прошу позволения вписать сюда этот отрывок *«Пасторальной комедии»* не как образцовое литературное произведение, но как пояснительный документ к «Истории Малыша». Вообразите себе на минуту, мои дорогие читатели, что вы сидите полукругом в маленькой гостиной Пьеротов и что Даниэль Эйсет дрожащим от волнения голосом декламирует перед вами:

Сцена представляет деревенский пейзаж. Шесть часов вечера. Солнце садится. При поднятии занавеса Голубой Мотылек и юная Божья Коровка мужского пола беседуют, сидя на стебле папоротника. Они встретились этим утром и провели весь день вместе. Темнеет. Божья Коровка собирается уходить.

Мотылек

Как! Ты уже домой!..

Божья Коровка

Ну да ведь поздно, что ты!
Давно, давно пора.

Мотылек

Брось всякие заботы!
Не поздно никогда вернуться нам домой.
Мне скучно дома, а тебе, скажи, друг мой?
Тоска такая — дверь, стена и в ней оконце.
Тогда как здесь — роса, трава, и свет, и солнце,
И маки, посмотри, и воля, и простор.
Иль мак в цвету еще не радует твой взор?
Тогда скажи.

Божья Коровка

Увы, мой друг, я маки обожаю!

Мотылек

Ну, так останься, плут, порадуемся маю.
Смотри, как хорошо, как чудно все кругом.

Божья Коровка

Да, но...

Мотылек *(толкая Божью Коровку)*

Э, брось! В траву зароемся вдвоем.

Божья Коровка *(отбиваясь)*
Нет, дай мне уйти. Я все брожу без толка.

Мотылек

Шш... Слушай!..

Божья Коровка *(в испуге)*
Что?

Мотылек

Постой! Ты слышишь?
Перепелка...
Весенней красотой совсем опьянена,
Там в винограднике о ней поет она.
А как прелестно здесь, где мы в таком уюте!..

Божья Коровка

Ну да, конечно, да!

Мотылек

Молчи!

Божья Коровка

А что?

Проходят крестьяне.

Мотылек

Вот люди!..

Божья Коровка *(шопотом, после молчания)*
А! люди? Говорят, что злы они.

Мотылек

О, да!

Божья Коровка

Раздавят на ходу, я так боюсь всегда.

Их ноги велики, я ж в ребрах слабоватый.
Ты не велик собой, зато ведь ты крылатый,
А в этом — все!

Мотылек

Коль ты боишься мужиков,
Вскарабкайся ко мне на спину. Я готов!
Я крепок в ребрышках, и крылья не сквозные.
Не перья лука, как видал у стрекозы я.
С тобой могу летать повсюду я теперь,
Куда захочешь ты.

Божья Коровка

Нет, не могу, поверь!
Никак я не решусь...

Мотылек

Неужто так уж трудно
Вскарабкаться тебе?

Божья Коровка

Нет, но...

Мотылек

Какой ты нудный!

Божья Коровка

Ну, хорошо, но ты доставь меня к моим.
Иначе, знаешь ли...

Мотылек

В два счета долетим.

Божья Коровка *(карабкаясь на спину приятеля)*

По вечерам всегда мы молимся все вместе.

Вы поняли?

Мотылек

О, да!.. Подвинься-ка на месте.

Так! Ну теперь молчи! Я поднял якорь! В путь!

Фрр... Улетают. Диалог продолжается в воздухе.

Прекрасно, милый мой! Ты не тяжел ничуть!

Божья Коровка *(в ужасе)*

Ах, сударь, ах!

Мотылек

Ну что?

Божья Коровка

Ах, головокруженье!

Не снизиться ли нам?

Мотылек

Какое заблужденье!

Чтоб не кружилось, ты закрой глаза скорей!
Закрыл?

Божья Коровка *(закрывая глаза)*

Да...

Мотылек

Лучше?

Божья Коровка *(с усилием)*

Да, немножко повольней.

Мотылек *(смеясь про себя)*

К аэронавтике, как видно, нет призванья

В роду у вас?

Божья Коровка

О, нет!..

Мотылек

Не вам и наказанье
За то, что шаром мы не можем управлять?

Божья Коровка

О, да!

Мотылек *(садясь на Ландыш)*

Пожалуйте. У цели мы опять!

Божья Коровка *(открывая глаза)*

Прошу прощения, не здесь мое жилище.

Мотылек

Я знаю, но еще ведь ранний час, дружище.
На ужин к Ландышу явились мы сюда.
Так всюду принято! Он друг мне. Ну, айда!

Божья Коровка

О нет, мне некогда.

Мотылек

Ну, что — одну минутку!

Божья Коровка

Не принят в свете я...

Мотылек

Тебя я выдам в шутку
За незаконное мое дитя. Поверь,
Нам рады будут все.

Божья Коровка

Но поздно уж теперь...

Мотылек

Совсем не поздно. Слышишь, кузнечик как играет...

Божья Коровка (*тихо*)

И... денег нет...

Мотылек (*увлекая ее за собой*)

Идем! Ведь Ландыш угощает...

Входят к Ландышу. Занавес падает.
Во втором действии при поднятии занавеса на сцене уже ночь Оба приятеля выходят от Ландыша.. Божья Коровка слегка опьянела.

Мотылек (*подставляя спину*)

Ну, вот теперь — домой.

Божья Коровка (*бодро карабкаясь*)

Домой!

Мотылек

Ну что, мой Ландыш мил?
Понравился тебе?

Божья Коровка

Ах, он меня пленил!
Открыл свой погреб всем — и незнакомым даже!

Мотылек (*глядя на небо*)

Ого! Уж Феб, глянув в окно, стоит на-страже.
Мы поторопимся. Скорей!

Божья Коровка

Зачем, мой друг?

Мотылек

Как? Нет уж крайности спешить тебе домой?

Божья Коровка

О, лишь бы мне успеть... Я помолюсь... немножко...
К тому же близко мне: там, сзади, к нам дорожка.

Мотылек

Ну, если ты готов, я не спешу совсем.

Божья Коровка *(с увлечением)*

Ты славный паренек. Я не пойму, зачем
С тобою не дружны все? «Вот, — говорят, — повеса,
Бродяга, мот, чудак, он щелкопер без веса.
Плясун...»

Мотылек

Кто говорит? Скажи мне, милый друг.

Божья Коровка

О, боже! Майский Жук.

Мотылек

Набитый куль — твой Жук!
Для пляски он тяжел, и брюхо так надуто...

Божья Коровка

Так про тебя не он один болтает.

Мотылек

Будто?

Божья Коровка

Улитка, например, согласна с ним, пойми.

И Скорпион, поди, и даже Муравьи...

Мотылек

Неужто?

Божья Коровка *(конфиденциально)*

Ты с Пауком уж лучше не сближайся, —
Он враг тебе.

Мотылек

Его настроили — признайся?

Божья Коровка

У Гусениц такой же взгляд, дружок.

Мотылек

Еще бы!.. Но скажи: ведь в свете ты ходок,
И Черви не одни с тобой, поди, знакомы.
Я в свете не любим?

Божья Коровка

С тобой, признаться нужно,
Согласна молодежь, а старики твердят,
Что есть в твоей душе безнравственности яд.

Мотылек

Да, вижу — беден я симпатией на диво...
Так, вообще...

Божья Коровка

Ну, да, бедняжка! Вот Крапива
И Жаба зла, да и Кузнечик-длинноног,
Все говорят: «Уж э-т-тот... Мот-т-тылек...»

Мотылек

А ты меня, скажи, как все, не любишь тоже?

Божья Коровка

О, нет, я на тебе — как бы на мягком ложе.
И водишь ты меня так мило по гостям.
Скажи, коль ты устал; зайдем опять — вот
там
Мы можем посидеть и отдохнуть немного.
Не слишком ли тебя измучила дорога?

Мотылек

Хоть ты тяжеловат, мне это нипочем.

Божья Коровка *(указывая на Ландыш)*

Так вот, зайдем сюда и снова отдохнем.

Мотылек *(легкомысленным тоном)*

Как? К Ландышу опять?!. Да мы помрем со
скуки.
Уж лучше вот сюда, к соседке, там рядком...

Божья Коровка *(краснея до корней волос)*

Как? К Розе?!. Никогда!

Мотылек *(увлекая ее)*

Не видят нас — пойдем!

Они осторожно входят к Розе. Занавес опускается*.

В третьем действии...»

Но я не хотел бы, дорогие читатели, злоупотреблять вашим терпением. Я знаю, что стихи в наше время не в моде, а потому прекращаю чтение своей «Пасторальной комедии» и ограничусь лишь кратким пересказом содержания остальной части поэмы.

В третьем акте на сцене уже глубокая ночь...

---

*Перевод А. А. Соколовой.

Друзья выходят вместе из жилища Розы... Мотылек хочет проводить Божью Коровку к ее родителям, но она не соглашается; она совершенно пьяна, прыгает в траве и неистово кричит... Мотылек принужден отнести ее домой. На пороге они расстаются, обещая друг другу вскоре снова увидеться. Мотылек в полном одиночестве продолжает во мраке свой путь. Он тоже немного пьян, но вино приводит его в грустное настроение: он вспоминает признанья Божьей Коровки и с горечью спрашивает себя, почему все так ненавидят его... его, который никому не сделал зла... Луны не видно, ветер завывает, кругом все черно... Мотыльку страшно, ему холодно, но он утешается тем, что его друг находится в это время в полной безопасности в своей теплой постельке... Тем временем в окружающем его мраке появляются огромные птицы и бесшумно пролетают по сцене. Сверкает молния. Злые твари, прятавшиеся под камнями, издеваются над Мотыльком, со смехом указывая на него друг другу. «Теперь он от нас не уйдет!» — говорят они. И в то время как несчастный в ужасе кидается от них из стороны в сторону, Чертополох колет его сильным ударом своей шпаги, Скорпион распарывает ему брюхо своими клещами, большой Мохнатый Паук обрывает фалды его голубого атласного плаща. Летучая Мышь ударом крыла перебивает ему поясницу... Мотылек падает, смертельно раненный. Когда в траве раздается его предсмертный хрип, Крапива выражает свою радость, а Жабы говорят: «Так ему и надо!»

На рассвете Муравьи, отправляясь на работу со своими мешочками и фляжками, находят на дороге труп Мотылька. Они бросают на него мимолетный взгляд и продолжают свой путь, не

желая хоронить его. Муравьи даром не работают... К счастью, по этой же дороге проходит отряд Жуков-Могильщиков. Это, как вы знаете, маленькие черные букашки, давшие обет хоронить мертвецов... Они с благоговением поднимают безжизненного Мотылька и тащат его на кладбище... Толпа любопытных смотрит на это шествие и делает вслух свои замечания... Маленькие коричневые Сверчки, греясь на солнце у порога своих жилищ, важно говорят: «Он слишком любил цветы». — «Он слишком много странствовал по ночам»,—прибавляют Улитки, а Жучки с толстыми брюшками, охорашиваясь в своих золотистых одеждах, ворчат: «Настоящая богема!» И во всей этой толпе ни одного слова сожаления о бедном усопшем; только в соседних долинах стройные лилии закрыли свои чашечки, а Кузнечики перестали петь...

Последняя сцена происходит на кладбище Мотыльков. После того, как Могильщики закончили свою работу, Майский Жук, торжественно сопровождавший похоронную процессию, подходит к могиле, ложится на спину и начинает хвалебную речь о покойнике. К несчастью, память ему изменяет, и он целый час остается лежать на спине, с поднятыми вверх лапками, энергично жестикулируя и путаясь в бесконечных периодах... После речи оратора все присутствующие расходятся по домам и вскоре на опустевшем кладбище появляется Божья Коровка, скрывавшаяся до тех пор за одним из надгробных камней. Вся в слезах она становится на колени у свежей могилы и молится за своего маленького друга.

ГЛАВА IX

ТЫ БУДЕШЬ ТОРГОВАТЬ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДОЙ

При последнем стихе моей поэмы Жак в порыве энтузиазма вскочил с места и собирался уже закричать «браво», но остановился, увидев испуганные лица всех присутствующих.

Я серьезно думаю, что если бы апокалиптический огненный конь внезапно влетел в маленькую гостиную, он не произвел бы более ошеломляющего впечатления, чем мой «Голубой Мотылек». Пассажоны и Фужеру, пораженные тем, что услышали, смотрели на меня вытаращенными от изумления глазами. Оба Феррулья делали друг другу какие-то знаки. Никто не произносил ни слова. Подумайте, что я должен был чувствовать...

И вдруг, среди этой тишины и всеобщего оцепенения, раздался голос из-за рояля, и какой голос... глухой, беззвучный, холодный, точно замогильный. Впервые за все последние десять лет, заговорил человек с птичьей головой, почтенный господин Лалуэт:

— Я очень рад, что убили этого мотылька,— проговорил этот странный старик, грызя со свирепым видом свой сахар. — Не люблю я этих мотыльков...

Все рассмеялись и начали обсуждать мою поэму.

Член общества «Каво» нашел мое произведение немного длинным и советовал сократить его до одной или двух песен. Ученик альфортской школы, ученый натуралист, обратил мое внимание на то, что у божьих коровок есть крылья, а, следовательно, это лишало мой вымысел всякого правдоподобия. Феррулья младший утверждал, что он все это где-то уже читал.

— Не слушай их! — шепнул мне Жак. — Это шедевр!

Пьерот ничего не говорил и казался очень озабоченным. Возможно, что добряк, сидевший во время чтения рядом со своей дочерью, почувствовал, как дрожала в его руке ее маленькая, чересчур впечатлительная ручка, или, может быть, он поймал на лету слишком пламенный взгляд ее черных глаз, — во всяком случае, в этот вечер, — вот уж, правда, можно сказать — у Пьерота был очень странный вид: он не отходил от юбки своей дочери, так что я не мог сказать ни одного слова Черным глазам и ушел очень рано, не оставшись послушать новую песенку члена общества «Каво», — невнимание, которое этот последний не простил мне.

Спустя два дня после этого достопамятного чтения я получил от мадемуазель Пьерот записку, столь же краткую, сколь красноречивую: «Приходите поскорее; отец все знает».

А немного ниже милые Черные глаза приписали: «Я вас люблю».

Должен признаться, что это известие меня немного смутило. В течение двух дней я бегал со своей рукописью по издательствам и гораздо больше думал о моей поэме, чем о Черных глазах. К тому же предстоящее объяснение с толстым севенцем не очень-то улыбалось мне... А потому, несмотря на настойчивый призыв Черных глаз, я некоторое время не показывался там, успокаивая себя тем, что «пойду, когда продам свою поэму»... К несчастью, мне не удалось продать ее.

В те времена — не знаю, так ли обстоит дело теперь — господа издатели были очень мягкими, вежливыми, приветливыми и щедрыми

людьми, но у них был один крупный недостаток: их никогда нельзя было застать дома. Подобно некоторым очень маленьким звездам, видимым только в сильные стекла обсерваторий, эти господа были невидимы для толпы. В какой бы час дня вы ни пришли к ним, вас всегда просили зайти в другой раз...

Сколько я обегал этих книжных лавок! Сколько пооткрывал стеклянных дверей! Как подолгу простаивал с бьющимся сердцем перед окнами книжных магазинов, спрашивая себя: «войти или не войти?» Внутри было жарко, пахло новыми книгами... Магазин был полон маленьких лысых, очень занятых своим делом, служащих, которые отвечали вам, стоя на ступеньках высоких стремянок, находившихся за прилавками. Что же касается издателя, то он был невидим... Каждый вечер я возвращался домой грустный, усталый, с разбитыми нервами.— Мужайся! — говорил Жак.— Завтра у тебя будет больше удачи. — И назавтра я снова пускался в путь, вооруженный своей рукописью, казавшейся мне с каждым днем все более и более тяжелой и неудобной. Первое время я носил ее подмышкой, носил с гордостью, как новый зонтик, но потом я начал стыдиться ее и прятал на груди, наглухо застегивая пиджак.

Так прошла неделя. Настало воскресенье... Жак по обыкновению пошел обедать к Пьеротам, но один, без меня. Я так устал от погони за невидимыми звездами, что весь день пролежал... Вечером, вернувшись домой, Жак присел на край моей постели и стал ласково журить меня.

— Послушай, Даниэль, ты напрасно не идешь *туда*. Черные глаза плачут, страдают; они в отчаянии, что не видят тебя... Мы весь вечер про-

говорили о тебе... Ах, разбойник, как она тебя любит!

У бедного Мамы Жака слезы стояли на глазах.

— А Пьеро? — робко спросил я. — Что говорит Пьеро?..

— Ничего... Он только, повидимому, был удивлен, что ты не пришел... Ты непременно должен пойти туда, Даниэль. Ты пойдешь, не правда ли?

— Завтра же, Жак, обещаю тебе.

В то время как мы разговаривали, Белая кукушка, только что вернувшаяся домой, затянула свою нескончаемую песню... *Толокототиньян! Толокототиньян!..* Жак весело рассмеялся:

— Знаешь, — сказал он, понизив голос: — Черные глаза ревнуют тебя к нашей соседке. Они думают, что это их соперница... Я тщетно старался объяснить им действительное положение вещей, — меня не желали слушать... Черные глаза, ревнующие к Белой кукушке! Ну, не смешно ли?

Я сделал вид, что смеюсь, но в глубине души мне было очень стыдно от сознания, что Черные глаза по моей собственной вине ревновали меня к Белой кукушке.

На следующий день после полудня я отправился в Сомонский пассаж. Мне хотелось прямо подняться в четвертый этаж и поговорить с Черными глазами прежде, чем с Пьеротом. Но севенец поджидал меня у входа в пассаж, и избежать встречи с ним я не мог. Пришлось войти в магазин и сесть с ним рядом за конторку. Время от времени из соседней комнаты до нас доносились заглушенные звуки флейты.

— Господин Даниэль, — сказал мне севенец, с непривычной для него уверенностью и легкостью речи, — то, что мне нужно узнать от вас, очень просто, и я буду говорить с вами без

обиняков... Вот уж, правда, можно сказать... Моя девочка вас любит, любит серьезно... Любите ли вы ее?

— Всем сердцем, господин Пьерот.

— В таком случае все в порядке. Вот что я предложу вам... Вы оба еще слишком молоды, чтобы думать о браке раньше, чем через три года. Таким образом, у вас впереди целых три года, в течение которых вы можете добиться известного положения... Я не знаю, долго ли вы еще думаете возиться с вашими «голубыми мотыльками», но прекрасно знаю, что сделал бы я на вашем месте... Вот уж, правда, можно сказать!.. Я распростился бы со своими рассказиками и заинтересовался бы делами торгового дома «бывший Лалуэта». Изучил бы все, что относится к торговле фарфоровой посудой, и занялся бы этим так основательно, что через три года Пьерот, который становится уже стар, нашел бы во мне одновременно и компаньона и зятя... Ну! Что вы на это скажете?!.

При этих словах Пьерот шутливо ткнул меня в бок локтем и разразился смехом, да еще каким!.. Вероятно, предлагая мне продавать вместе с ним фарфоровую посуду, добряк думал доставить мне этим несказанное удовольствие. Но у меня нехватало мужества не только рассердиться на него, но даже ответить ему: я был сражен, уничтожен...

Тарелки, разноцветные стаканы, алебастровые шары — все вокруг меня танцовало, кружилось. Красовавшиеся на этажерке прямо против конторки пастухи и пастушки из матового фарфора, раскрашенного в нежные тона, смотрели на меня с насмешливым видом и, казалось, говорили мне: «Ты будешь торговать фарфоровой посудой...», а немного дальше уродливые китай-

цы в лиловых одеждах покачивали своими почтенными головами, словно подтверждая слова пастуха и пастушки: «Да... Да... Ты будешь торговать фарфоровой посудой!..» А еще дальше, в глубине магазина, насмешливая флейта тихонько наигрывала: «Будешь торговать фарфоровой посудой!.. Будешь торговать фарфоровой посудой!..» Можно было с ума сойти!..

Пьерот подумал, что волнение и радость лишили меня языка.

— Мы поговорим об этом вечером, — сказал он, чтобы дать мне время притти в себя. — А теперь идите наверх, к малютке... Вот уж, правда, можно сказать... Она уж заждалась вас...

Я поднялся наверх, к «малютке», которую нашел в желтой гостиной за вышиваньем своих нескончаемых туфель в обществе «дамы высоких качеств». Да простит мне моя дорогая Камилла, но никогда еще мадемуазель Пьерот не казалась мне до такой степени «Пьерот», как в этот день. Никогда еще ее манера втыкать и выдергивать иголку и считать вслух крестики не раздражала меня так сильно. Ее маленькие красные пальцы, румяные щеки, спокойный, уравновешенный вид—все в ней напоминало одну из тех раскрашенных фарфоровых пастушек, которые только что перед тем так дерзко кричали мне: «Ты будешь торговать фарфоровой посудой!..» К счастью, Черные глаза тоже были тут, немного затуманенные, немного грустные, но так искренно обрадовавшиеся моему приходу, что я был глубоко тронут. Но это продолжалось недолго: почти вслед за мной в комнату вошел Пьерот. Повидимому, он уже не относился с прежним доверием к даме высоких качеств.

С этой минуты Черные глаза исчезли, и «по всей линии» фарфоровая посуда одержала верх.

Пьерот был очень весел, очень болтлив, и его «вот уж, правда, можно сказать» сыпались чаще обыкновенного... Обед был шумный, слишком продолжительный... Выйдя из-за стола, Пьерот отвел меня в сторону, чтобы еще раз напомнить о своем предложении. Но я уже пришел в себя и ответил довольно спокойно, что все это требует серьезного размышления, и что я дам ему ответ через месяц.

Севенец был, конечно, очень удивлен тем, что я так холодно отнесся к его предложению, но у него хватило такта не показать этого.

— Так решено, — сказал он, — через месяц.

И больше об этом уже не было разговора... Но, все равно: удар был нанесен, и весь вечер эти зловещие, роковые слова: «Ты будешь торговать фарфором» не переставали звучать у меня в ушах. Я слышал их и в шуме, с каким грыз свой сахар человек с птичьей головой, вошедший в комнату с госпожой Лалуэт и занявший свое обычное место у рояля; и в руладах флейтиста, и в «Грезах» Рослена, которыми мадемуазель Пьерот не преминула угостить своих слушателей; я читал их в жестах всех этих мещан-марионеток, в покрое их платьев, в рисунках обоев, в аллегории, изображенной на стенных часах: Венера, срывающая розу, из которой вылетает Амур, от времени потерявший всю свою позолоту; в фасоне мебели, во всех маленьких деталях этой желтой гостиной, где одни и те же люди говорили каждый вечер одни и те же фразы; где тот же рояль играл каждый вечер все те же пьесы... Однообразие таких вечеров делало эту комнату похожей на музыкальный ящик. Желтая гостиная — музыкальный ящик!.. Где же скрывались вы, прелестные Черные глаза?..

Когда, возвратившись домой с этого скучного вечера, я рассказал Жаку о предложении Пьерота, он пришел в еще большее негодование, чем я.

— Даниэль Эйсет — торговец посудой! Хотел бы я это видеть! — говорил милый Жак, покраснев от гнева...— Это все равно, как если бы Ламартину предложили продавать спички или Сент Бёву — щетки из конского волоса... Старый дурень этот Пьерот!.. И все же не следует сердиться на него: он ничего в этом не смыслит, бедняга! Вот когда он увидит, каким успехом будет пользоваться твоя книга и какими хвалебными статьями будут полны все журналы и газеты, тогда он заговорит иначе.

— Конечно, Жак; но для того чтобы газеты отметили меня, нужно, чтобы моя книга была напечатана, а я вижу теперь, что этого никогда не будет... Почему?.. Да потому, дорогой мой, что я не могу поймать ни одного издателя; этих господ никогда нет дома для поэтов. Даже великий Багхават и тот вынужден издавать свои стихи на собственный счет.

— Ну что ж! В таком случае мы последуем его примеру, — сказал Жак, ударяя по столу кулаком: — Мы издадим книгу на свой счет.

Пораженный, я уставился на него:

— На наш счет?!.

— Ну, да, голубчик, на наш счет... Как раз маркиз издает сейчас первый том своих мемуаров, и я ежедневно вижусь с владельцем той типографии, где они печатаются. Это эльзасец с красным носом и добродушным выражением лица. Я уверен, что он откроет нам кредит. Чорт возьми! Мы будем выплачивать ему по мере распродажи твоей книги... Итак, решено: я завтра же иду к моему знакомому.

И, действительно, на другой же день Жак отправился к издателю и вернулся в полном восторге.

— Все улажено, — сказал он с торжествующим видом, — твою книгу завтра начнут печатать. Нам это будет стоить девятьсот франков, — пустяки! Я выдал три векселя по триста франков, сроком через каждые три месяца. А теперь слушай меня внимательно: каждый том мы будем продавать по три франка; тираж — тысяча экземпляров; таким образом, твоя книга принесет нам три тысячи франков... Понимаешь?! — три тысячи франков!.. Из них нужно вычесть сумму за печатание, потом скидку по одному франку с экземпляра в пользу книгопродавцев, затем стоимость некоторого количества экземпляров, которые нужно разослать по редакциям... В итоге, — это ясно, как божий день, — мы получим от твоей книги тысячу сто франков чистой прибыли. Ну, что ж?.. Для начала недурно?

«Недурно?» — я думаю!.. Не надо больше гоняться за неуловимыми «звездами», не надо часами унизительно простаивать у дверей издательств и — главное — можно будет отложить тысячу сто франков на восстановление домашнего очага... Какая радость царила в этот день на сен-жерменской колокольне! Сколько проектов! Сколько грез!

И в следующие дни — сколько удовольствий, вкушаемых по капле. Ходить в типографию, держать корректуру, обсуждать цвет обложки, наблюдать за тем, как из-под пресса выходит еще сырая бумага с напечатанными на ней собственными мыслями, бегать несколько раз к брошюровщику и, наконец, получить первый экземпляр, который раскрываешь дрожащими от вол-

нения руками... Скажите, существует ли на свете другое, более высокое наслаждение?

Вы, конечно, понимаете, что первый экземпляр «Пасторальной комедии» принадлежал по праву Черным глазам, и я в тот же вечер отнес его им. Жак пошел со мной. Ему хотелось насладиться моим торжеством. Гордые и сияющие, мы вошли в желтую гостиную. Там все были в сборе.

— Господин Пьерот, — обратился я к севенцу,— позвольте преподнести Камилле мое первое произведение. — С этими словами я вручил книжку милой маленькой ручке, задрожавшей от удовольствия. Если бы вы видели, с какой благодарностью взглянули на меня Черные глаза и как они засияли, прочитав на обложке мое имя! Пьерот отнесся к этому довольно холодно. Я слышал, как он спросил Жака, сколько такой томик приносит мне.

— Тысячу сто франков, — с уверенностью ответил Жак.

Они долго разговаривали о чем-то вполголоса, но я не слушал их. Я испытывал невыразимую радость, глядя, как Черные глаза опускали свои длинные шелковистые ресницы на страницы моей книги, а потом поднимали их, устремляя на меня восхищенный взгляд... Моя книга!.. Черные глаза!.. Всем этим счастьем я был обязан Маме Жаку...

В этот вечер, прежде чем возвратиться домой, мы пошли побродить по галерее Одеона, чтобы посмотреть, какой эффект производит «Пасторальная комедия» в витринах книжных магазинов.

— Подожди меня здесь, — сказал Жак. — Я зайду узнать, сколько продано экземпляров.

Я ждал его, расхаживая взад и вперед перед

магазином, и украдкой посматривал на зеленую с черными полосками обложку книги, красовавшейся в витрине магазина. Через несколько минут Жак вернулся, бледный от волнения.

— Дорогой мой, — сказал он.— Одна уже продана! Это хорошее предзнаменование...

Я молча пожал ему руку. Я был слишком взволнован, чтобы что-нибудь ответить ему, но в глубине души я говорил себе: «Есть в Париже человек, который вынул сегодня из своего кошелька три франка, чтобы купить это произведение твоего ума; кто-то теперь его уже читает, судит тебя... Кто же этот «кто-то»? Как хотелось бы мне с ним познакомиться»... Увы! На свое несчастье, мне предстояло узнать его очень скоро...

На другой день после выхода в свет моей книжки, когда я завтракал за табльдотом рядом со свирепым мыслителем, в залу вбежал Жак. Он был очень взволнован.

— Большая новость! — объявил он, увлекая меня на улицу.—Сегодня в семь часов вечера я уезжаю с маркизом... В Ниццу, к его сестре, которая находится при смерти... Возможно, что мы пробудем там долго... Не беспокойся... На твоей жизни это не отразится... Маркиз удваивает мне жалование, и я буду высылать тебе по сто франков в месяц... Но, что с тобой? Ты побледнел. Послушай, Даниэль, не будь же ребенком! Вернись сейчас в зал, кончай свой завтрак и выпей полбутылки бордо, чтобы придать себе бодрости. А я тем временем побегу проститься с Пьеротами и потом зайду к типографу напомнить ему, чтобы он разослал экземпляры твоей книги по редакциям газет и журналов... Каждая минутка на счету... Увидимся дома в пять часов...

Я глядел ему вслед, пока он быстрыми шагами спускался вниз по улице Сен-Бенуа, затем вернулся в ресторан. Но я не мог ни есть, ни пить, и полбутылки бордо осушил за меня философ. Мысль, что через несколько часов Мама Жак будет от меня далеко, сжимала мне сердце. Как ни старался я думать о моей книге, о Черных глазах — ничто не в силах было отвлечь меня от мысли, что Жак скоро уедет и что я останусь в Париже один, совсем один, совершенно самостоятельным, ответственным за каждый свой поступок.

Он вернулся домой в назначенный час. Сильно взволнованный, он тем не менее притворялся очень веселым и до последней минуты не переставал проявлять все великодушие своей души и всю свою горячую любовь ко мне. Он думал только обо мне и о том, как бы лучше устроить мою жизнь. Делая вид, что укладывает свои вещи, он осматривал мое белье, мое платье.

— Твои рубашки вот в этом углу, видишь, Даниэль, а рядом, за галстуками — носовые платки...

— Ты не свой чемодан укладываешь, Жак, ты приводишь в порядок мой шкаф.

Когда было покончено и с моим шкафом, и с его чемоданом, мы послали за фиакром и отправились на вокзал. Дорогой Жак давал мне всякого рода наставления.

— Пиши мне часто... Присылай все отзывы, которые будут выходить о твоей книге, особенно отзывы Гюстава Планша. Я заведу толстую тетрадь в переплете и буду их туда вклеивать. Это будет «золотой книгой» семьи Эйсет... Кстати, ты ведь знаешь — прачка приходит по вторникам... Главное же, не давай успеху вскружить себе голову... Нет сомнения,

что успех будет большой, а успех в Париже— опасная вещь. К счастью, Камилла будет охранять тебя от всяких соблазнов... Главная же просьба, дорогой мой Даниэль, это чтобы ты ходил почаще *туда* и не заставлял плакать Черные глаза.

В эту минуту мы проезжали мимо Ботанического сада. Жак рассмеялся.

— Помнишь,—сказал он мне, —как мы проходили здесь пешком, ночью, месяцев пять тому назад?.. Какая разница между тогдашним Даниэлем и теперешним?!. Да, ты далеко ушел вперед за эти пять месяцев!..

Добрый Жак искренно верил, что за это время я далеко ушел вперед, и я тоже, жалкий глупец, был убежден в этом!

Мы приехали на вокзал. Маркиз был уже там. Я издали увидел этого курьезного маленького человечка с головой белого ежа, расхаживавшего подпрыгивающей походкой по залу.

— Скорее! Скорее! Прощай! — сказал Жак. Охватив мою голову своими большими руками, он несколько раз крепко поцеловал меня и побежал к своему мучителю.

Когда он скрылся из виду, меня охватило странное ощущение. Я почувствовал, что вдруг сделался меньше, слабее, боязливее, точно брат, уезжая, увез с собой мозг моих костей, всю мою силу, смелость и половину моего роста. Окружавшая меня толпа пугала меня. Я опять превратился в «Малыша»...

Надвигалась ночь. Медленно, самой длинной дорогой, самыми безлюдными набережными возвращался Малыш на свою колокольню. Мысль очутиться в этой опустевшей комнате удручала его. Он предпочел бы остаться на улице всю ночь до самого утра, но нужно было итти домой.

Когда он проходил мимо швейцарской, его окликнули:

— Господин Эйсет, вам письмо...

Это был маленький, изящный, раздушенный конверт с адресом, написанным женским почерком, более мелким, чем почерк Черных глаз... От кого это могло быть?.. Поспешно сломав печать, Малыш прочел при свете газа:

«*Уважаемый сосед*,

«Пасторальная комедия» со вчерашнего дня у меня на столе, но в ней недостает надписи! Будет очень мило с вашей стороны, если вы придете сделать ее сегодня вечером за чашкой чая... в кругу товарищей артистов.

Ирма Борель».

И немного ниже:

«*Дама из бельэтажа*».

Дама из бельэтажа!.. Малыш затрепетал при виде этой приписки. Он увидел ее опять такой, какой она явилась ему когда-то утром, на лестнице их дома, в облаке легкого шелка, красивая, холодная, величественная, с этим маленьким белым шрамом в углу рта, под губой. И при мысли, что такая женщина купила его книжку, сердце Малыша преисполнилось гордости.

Он с минуту простоял на лестнице с письмом в руке, раздумывая, подняться ли ему сейчас к себе или остановиться на площадке бельэтажа?.. Вдруг ему вспомнились прощальные слова Жака: «Главное, Даниэль, не заставляй плакать Черные глаза!» Тайное предчувствие говорило ему, что если он пойдет к Даме из бельэтажа, то Черные глаза будут плакать, а Жаку будет больно. И с решительным видом, положив записку в карман, Малыш сказал себе: «Я не пойду».

ГЛАВА X

ИРМА БОРЕЛЬ

Ему открыла дверь Белая кукушка... Думаю, что излишне говорить вам, что через пять минут после того как он поклялся не итти к Ирме Борель, тщеславный Малыш уже звонил у ее двери! Увидев его, ужасная негритянка изобразила на своем лице улыбку развеселившегося людоеда и жестом своей толстой лоснящейся черной руки пригласила его войти. Пройдя две-три гостиных, обставленных с большой пышностью, они остановились перед маленькой таинственной дверью, за которой слышались заглушенные плотными портьерами хриплые крики, рыдания, проклятия, конвульсивный смех. Негритянка постучалась и, не дожидаясь ответа, пропустила Малыша в комнату.

В своем роскошном будуаре, обитом розовато-лиловым шелком и залитом светом, Ирма Борель ходила взад и вперед по комнате и громко декламировала. Широкий пеньюар небесно-голубого цвета, покрытый гипюром, точно облаком окутывал ее фигуру. Один рукав пеньюара, приподнятый до самого плеча, оставлял обнаженной белоснежную, несравненной красоты, руку, размахивавшую перламутровым ножом, точно кинжалом. Другая рука, тонувшая в гипюре, держала раскрытую книгу.

Малыш остановился, ослепленный ею. Никогда еще Дама из бельэтажа не казалась ему такой прекрасной. Она была не так бледна, как в день их первой встречи. Свежая и розовая, она напоминала цветок миндального дерева, и маленький белый шрам у рта казался от этого еще белее. К тому же волосы, которых

он в первый раз не видел, придавали особенную прелесть ее лицу, смягчая его надменное, почти жестокое выражение. Это были белокурые волосы пепельного оттенка. Пышные и тонкие, они, казалось, окружали ее голову каким-то золотистым облаком.

Увидав Малыша, дама сразу прервала свою декламацию. Бросив перламутровый нож и книгу, на стоявший позади диван, она восхитительным жестом опустила рукав своего пеньюара и с протянутой рукой пошла навстречу гостю.

— Добрый вечер, сосед, — проговорила она, приветливо улыбаясь,—вы застаете меня в самый разгар трагического вдохновения. Я разучиваю роль Клитемнестры... Это захватывающая вещь, не правда ли?

Она усадила его на диван, рядом с собой, и разговор завязался.

— Вы занимаетесь драматическим искусством, сударыня? (Он не посмел сказать «соседка».)

— О, это так, фантазия... Я точно так же занималась раньше музыкой и скульптурой... Впрочем, на этот раз я, кажется, увлеклась серьезно... Собираюсь дебютировать на сцене Французского театра...

В эту минуту громадная птица с ярко-желтым хохлом, громко шумя крыльями, опустилась на кудрявую голову Малыша.

— Не бойтесь, — сказала дама, смеясь над испуганным видом своего гостя,—это мой какаду... милейшее существо. Я привезла его с собой с Маркизовых островов.

Взяв птицу, она приласкала ее и, сказав ей несколько слов по-испански, отнесла на позолоченный шест, стоявший в противоположном конце комнаты. Малыш широко открыл глаза:

негритянка, какаду, Французский театр, Маркизовы острова!..

«Что за удивительная женщина!» — мысленно с восхищением говорил он себе.

Дама вернулась и снова опустилась на диван рядом с ним. Разговор продолжался. Главной темой была «Пасторальная комедия». Хозяйка дома успела прочитать ее несколько раз. Много стихов она выучила уже наизусть и с энтузиазмом декламировала их. Никогда еще так не льстили тщеславию Малыша. Она захотела узнать его возраст, откуда он приехал, спрашивала, как он живет, бывает ли в обществе, влюблен ли в кого-нибудь... На все эти вопросы он отвечал с полнейшей искренностью, и часу не прошло, как хозяйка дома была уже вполне осведомлена о Маме Жаке, об истории дома Эйсет, и об этом бедном очаге, который дети поклялись восстановить. О мадемуазель Пьерот, разумеется, ни слова. Было упомянуто только о молодой девушке из высшего общества, умиравшей от любви к Малышу, и об ее жестокосердом отце (бедный Пьерот!), который противился их браку.

В самый разгар этих признаний кто-то вошел в комнату. Это был старый скульптор с белоснежной гривой, дававший когда-то уроки хозяйке дома в период ее увлечения ваянием.

— Держу пари, — проговорил он, бросая на Малыша лукавый взгляд,—держу пари, что это ваш неаполитанский искатель кораллов.

— Совершенно верно, — смеясь, ответила она и, повернувшись к Малышу, который, казалось, был очень удивлен этим прозвищем, сказала:

— Вы помните то утро, когда мы с вами впервые встретились?.. Ворот у вас был расстегнут, шея обнажена, волосы растрепаны,

в руках вы держали большой глиняный кувшин... Точь-в-точь один из тех маленьких искателей кораллов, которых я видала на берегу Неаполитанского залива... В тот же вечер я рассказала об этой встрече моим друзьям, но мы не предполагали тогда, что этот маленький неаполитанец большой поэт и что на дне его глиняного кувшина скрывалась «Пасторальная комедия».

Можете себе представить, как счастлив был Малыш, слыша, с каким почтительным восхищением к нему относились! В то время как он раскланивался, смущенно улыбаясь, Белая кукушка ввела нового гостя, оказавшегося не кем иным, как великим Багхаватом, индийским поэтом, сидевшим в ресторане за одним столиком с Малышом. Багхават направился прямо к хозяйке дома и протянул ей книжку в зеленом переплете.

— Возвращаю вам ваших мотыльков,—сказал он. — Вот странная литература!..

Хозяйка жестом остановила его. Он понял, что автор книжки находился тут же, и, повернувшись в его сторону, взглянул на него с натянутой улыбкой. Наступившее вслед за тем неловкое молчание было прервано появлением нового гостя. Это был профессор декламации, безобразный маленький горбун, в ярко-рыжем парике, с мертвенно-бледным лицом и широкой улыбкой, обнажавшей гнилые зубы. Если бы только не его горб, он стал бы величайшим комиком своего времени, но так как его уродство не позволяло ему выступать на театральных подмостках, он утешался тем, что преподавал сценическое искусство и на все лады бранил всех современных актеров.

Как только он вошел, хозяйка дома спросила его:

— Ну, что? Видели Израэлитку? Как она играла сегодня?

«Израэлиткой» они называли великую трагическую актрису Рашель, находившуюся тогда на вершине своей славы.

— Она играет все хуже и хуже, — ответил профессор, пожимая плечами.—В этой особе решительно ничего нет... Это какой-то журавль... Настоящий журавль.

— Настоящий журавль!—подтвердила ученица, и вслед за ними двое других повторили убежденно:—Настоящий журавль!..

И тут же все присутствующие обратились к хозяйке дома с просьбой что-нибудь прочитать.

Она не заставила себя долго просить, встала, взяла в руку перламутровый нож и, откинув рукав своего пеньюара, начала декламировать.

Хорошо или плохо? Малыш затруднился бы на это ответить. Ослепленный прелестной белоснежной рукой, загипнотизированный этими золотыми волосами, он только смотрел и не слушал. Когда она кончила, он принялся аплодировать громче всех и в свою очередь заявил, что Рашель—«журавль, настоящий журавль»!

Всю ночь он грезил об этой белоснежной руке и золотистом облаке волос. А когда утром взялся было за свои рифмы,—сказочно прекрасная рука снова явилась и тихонько дернула его за рукав. Тогда, не будучи в состоянии нанизывать рифмы и не испытывая ни малейшего желания выйти на улицу, он принялся подробно писать Жаку о Даме из бельэтажа.

«О друг мой, что за женщина! Она все знает, все видела! Она сочиняла сонаты, писала картины. У нее на камине стоит хорошенькая коломбина из терракоты ее собственной работы. Всего три месяца, как она играет в тра-

гедиях и уже исполняет роли гораздо лучше, чем знаменитая Рашель. Повидимому, эта Рашель действительно ничего собой не представляет. Журавль — совершеннейший журавль! — Вообще, дорогой мой, тебе никогда и не снилась подобная женщина. Она везде побывала, все видела. То она вдруг вспоминает о своем пребывании в Петербурге, то минуту спустя говорит, что предпочитает рейд Рио—Неаполитанскому рейду. У нее в гостиной какаду, которого она привезла с Маркизовых островов, и ей прислуживает негритянка, взятая ею проездом через Порт-о-Прэнс... Но ведь ты ее знаешь, эту негритянку, — это наша соседка, Белая кукушка. Несмотря на свой свирепый вид, эта Белая кукушка — прекрасная девушка, тихая, скромная, преданная, любящая говорить пословицами, как этот добряк Санхо. Всякий раз, когда жильцы нашего дома хотят вытянуть из нее какие-нибудь сведения, касающиеся ее хозяйки, узнать замужем ли она, существует ли где-нибудь господин Борель, и так ли она богата, как говорят,—Белая кукушка отвечает на своем языке: *цаффай кабрите пас цаффай мутон* (у козленка свои заботы, а у барана — свои); или еще: *сэ сульэ ки коннэ си ба тинитру* (один лишь башмак знает, есть ли дыры в чулке). У нее в запасе сотни таких пословиц, и любопытным так и не удается чего-нибудь добиться от нее...

...Кстати, знаешь, кого я встретил у Дамы из бельэтажа?.. Индусского поэта, обедающего за табльдотом, — самого великого Багхавата. Он, повидимому, очень влюблен в нее и посвящает ей прекрасные поэмы, в которых сравнивает ее то с кондором, то с лотосом, то с буйволом, но она не обращает никакого внимания на его поклонение. Она, повидимому, привыкла к покло-

нению; все артисты, которые у нее бывают — а я могу тебя уверить, что их у нее бывает очень много и притом самых знаменитых — все в нее влюблены...

... Она так красива, так необыкновенно красива!.. Если бы мое сердце не было уже занято, я серьезно боялся бы за него. К счастью, Черные глаза здесь и не дадут меня в обиду... Милые Черные глаза! Я пойду к ним сегодня вечером, и мы все время будем говорить о вас, Мама Жак».

Малыш кончал письмо, когда в дверь тихонько постучали. Это Белая кукушка принесла от Дамы из бельэтажа приглашение приехать вечером во Французский театр в ее ложу посмотреть на игру «Журавля». Малыш охотно воспользовался бы этим приглашением, но он вспомнил, что у него нет фрака, и принужден был отказаться. Это привело его в очень дурное настроение. «Жак должен был сделать мне фрак,— подумал он...—Это необходимо. Когда появятся в печати статьи о моей книге, мне ведь придется пойти поблагодарить журналистов. Как же я пойду, если у меня не будет фрака?»

Вечером он отправился в Сомонский пассаж, но этот визит не улучшил его настроения. Севенец слишком громко смеялся; мадемуазель Пьерот была слишком смугла. Черные глаза напрасно делали ему знаки и тихонько шептали на мистическом языке звезд: «Любите меня»,— неблагодарный Малыш не желал их слушать. После обеда, когда приехали Лалуэты, он забился грустный и недовольный в угол, и в то время как «музыкальный ящик» исполняла свои незатейливые арии, он представлял себе Ирму Борель, царящую в открытой ложе, с веером в белоснежной руке и с золотым облаком вокруг головы, сверкавшим в огне театральных люстр.

«Как я был бы сконфужен, если б она меня увидела здесь»,—подумал он.

Несколько дней прошло без особых событий. Ирма Борель не подавала никаких признаков жизни. Сношения между пятым этажом и бельэтажем казались прерванными. Каждую ночь Малыш, сидя за своим рабочим столом, слышал въезжавший во двор экипаж Ирмы Борель, глухой шум колес, голос кучера: «Откройте ворота!», и невольно эти звуки заставляли его вздрагивать. Он не мог слышать без волнения даже шагов поднимавшейся по лестнице негритянки, и если бы только у него хватило смелости,—он зашел бы к ней узнать о ее госпоже... Но, несмотря на это, Черные глаза все еще продолжали занимать первое место в его сердце. Малыш проводил около них долгие часы, а остальное время сидел, запершись в своей комнате, и подбирал рифмы—к великому удивлению воробьев, слетавшихся со всех соседних крыш, чтобы посмотреть на него. Воробьи Латинского квартала, подобно даме высоких качеств, составили себе странное представление о студенческих мансардах... Зато сен-жерменские колокола, — бедные колокола, посвятившие себя служению богу и запертые в четырех стенах, как кармелитки,—радовались тому, что их друг Малыш вечно сидит за своим рабочим столом, и, чтобы придать ему мужества, они услаждали его слух чудной музыкой.

Тем временем пришло письмо от Жака. Он находился в Ницце и подробно описывал свой образ жизни... «Прекрасная страна, мой Даниэль, и как вдохновило бы тебя это море, которое плещется под самыми моими окнами... Что касается меня, я почти совсем не наслаждаюсь им, так как не выхожу из дома... Маркиз диктует

целыми днями... Дьявол — не человек! Иногда, между двумя фразами, я поднимаю голову, взгляну на какой-нибудь парус на горизонте и скорее опять носом в свою бумагу... Мадемуазель д'Аквиль все еще тяжело больна... Я слышу, как она кашляет там, наверху, над нами,— кашляет, не переставая... Я сам тотчас по приезде схватил сильнейший насморк, который все не проходит...»

Немного ниже, говоря о Даме из бельэтажа, Жак писал:

«...Послушай меня, никогда не возвращайся к этой женщине. Она для тебя слишком сложна; и—если хочешь знать—я чувствую в ней авантюристку... Вчера я видел здесь в гавани голландский бриг, который только что закончил кругосветное плаванье и возвратился сюда с японскими мачтами, чилийскими рангоутами и судовой командой, такой же пестрой, как географическая карта... Так вот, дорогой мой, я нахожу, что твоя Ирма Борель похожа на этот корабль. Но если для брига частые кругосветные плаванья полезны, то для женщины—совсем другое дело. Обычно те из них, которые много странствовали, «видали виды» и умеют ловко водить за нос мужчин. Не доверяй ей, Даниэль, не доверяй... И главное, заклинаю тебя, не заставляй плакать Черные глаза...»

Эти последние слова глубоко тронули Малыша. Постоянство, с которым Жак заботился о счастье той, которая отвергла его любовь,—изумляло его. «Нет, Жак, нет, не бойся, я не заставлю ее плакать»,— мысленно проговорил он и тут же принял твердое решение не возвращаться к Даме из бельэтажа... Можете положиться на Малыша, раз дело идет о твердых решениях!

В эту ночь, когда коляска Ирмы Борель въехала во двор, он не обратил на это ни малейшего внимания. Песнь негритянки в свою очередь не произвела на него никакого впечатления, не отвлекла его от работы. Была душная, жаркая сентябрьская ночь... Он работал при полуоткрытой двери. Вдруг ему показалось, что он слышит скрип деревянной лестницы, ведущей к его комнате. Потом легкий шум шагов и шуршанье платья... Несомненно, кто-то поднимался по лестнице... Но кто?..

Белая кукушка давно уже вернулась... Может быть, Дама из бельэтажа пришла сказать что-нибудь своей негритянке?..

При этой мысли сердце Малыша бешено забилось, но у него хватило мужества остаться за рабочим столом... Шаги все приближались. Дойдя до площадки, на которую выходила дверь его комнаты, они остановились... Минута полной тишины, потом легкий стук в дверь негритянки, на который не последовало ответа.

«Это она», — подумал Малыш, не двигаясь с места. Дверь скрипнула. Душистая струя ворвалась в комнату... Кто-то вошел... Не поворачивая головы, с дрожью во всем теле, Малыш спросил:

— Кто здесь?..

ГЛАВА XI
САХАРНОЕ СЕРДЦЕ

Вот уже два месяца, как Жак уехал, а о возвращении его все еще не было и речи. Мадемуазель д'Аквиль умерла. Маркиз, облачившись в траур, в сопровождении своего секретаря совершает путешествие по всей Италии, не прерывая ни на один день ужасную диктовку своих

мемуаров. Жак, перегруженный работой, едва находит время написать брату несколько строк из Рима, из Неаполя, из Пизы, из Палермо. Но если штемпеля этих писем меняются очень часто, текст их остается почти неизменным. «Работаешь?.. Как чувствуют себя Черные глаза?.. Как идет продажа книги?.. Появилась ли, наконец, статья Гюстава Планша?.. Бываешь ли ты у Ирмы Борель?..» На все эти вопросы, Малыш неизменно отвечал, что он много работает, что продажа его книг идет очень хорошо, что Черные глаза чувствуют себя прекрасно; что Ирмы Борель он больше не видел и ничего не слышал о Гюставе Планше...

Что же во всем этом было правдой?.. Последнее письмо, написанное Малышом в одну лихорадочную бурную ночь, нам все объяснит:

«Господину Жаку Эйсет,
в Пизе.
Воскресенье. Десять часов вечера.

Жак, я тебе солгал. Вот уже два месяца, как я не перестаю тебе лгать. Я пишу тебе все время, что работаю, но вот уже два месяца, как моя чернильница совершенно суха. Я пишу тебе, что продажа моей книги идет хорошо, а между тем за два месяца не продано ни одного экземпляра. Я пишу тебе, что больше не вижусь с Ирмой Борель, а между тем я уже два месяца не расстаюсь с ней. Что же касается Черных глаз, увы!.. О, Жак, Жак, зачем я не послушался тебя, зачем вернулся к этой женщине?..

... Ты был прав: это авантюристка. Форменная авантюристка. Вначале она показалась мне умной. Но я ошибся... Она только повторяет чу-

жие слова. У нее нет ни ума, ни души. Она лжива, цинична, зла. Я видел, как она в припадке гнева набрасывалась на свою негритянку, била ее хлыстом и, свалив на пол, топтала ногами. Не веря ни в бога, ни в чорта, она вместе с тем слепо верит предсказаниям ясновидящих и гаданью на кофейной гуще... Что же касается ее драматического таланта, то сколько бы она ни брала уроков у своего горбатого дегенерата и сколько бы ни держала во рту резиновых шариков, я убежден, что ее не примут ни в один театр. Зато в своей частной жизни— она большая комедиантка...

... Как я попал в лапы такого существа, я, любящий доброту и безыскусственность,—этого я не могу тебе объяснить, бедный мой Жак. Могу только тебе поклясться, что я, наконец, вырвался от нее и что теперь все кончено, кончено, раз навсегда... Если бы ты только знал, до чего я был подл, что она со мной проделывала... Я рассказал ей всю свою жизнь. Я говорил ей о тебе, о нашей матери, о Черных глазах... Можно умереть со стыда... Я отдал ей все свое сердце, раскрыл ей всю душу, всю свою жизнь, но она меня в свою жизнь не посвятила... Я не знаю ни кто она, ни откуда... Однажды я спросил ее, была ли она замужем. В ответ она только рассмеялась. Ты помнишь, я говорил тебе о маленьком шраме в уголке ее губ. — Так вот: это результат удара ножом, который нанесли ей на ее родине, на острове Куба. Мне захотелось узнать, кто это сделал, и она совершенно просто ответила: «Один испанец по имени Пачеко», и ни слова больше. Глупо, неправда ли? Разве я знаю его, этого Пачеко? Неужели она не могла объяснить мне подробнее?.. Удар ножом—

разве это такая простая, естественная вещь, чорт возьми?!. Но дело в том, что все окружающие ее артисты создали ей репутацию необыкновенной женщины, и она очень дорожит ею... О, эти художники, милый мой! Я их всех проклинаю. Знаешь, эти люди, в силу того, что они живут в мире статуй и картин, в конце концов начинают воображать, что на свете нет ничего другого. Они всегда говорят вам только о формах, линиях, красках; о греческом искусстве, Парфеноне, о разного рода барельефах. Они разглядывают ваш нос, ваши руки, ваш подбородок. Интересуются только тем, характерно ли ваше лицо и к какому типу оно приближается. Но о том, что бьется в человеческой груди, о наших страстях, о наших слезах, о наших волнениях и страданиях, они думают не больше, чем о мертвом козленке. Что касается меня, то эти милые люди нашли, что в моей голове есть что-то характерное, но в моей поэзии — ничего. Они здорово подбодрили меня, нечего сказать!..

... В начале нашей связи эта женщина решила, что нашла во мне какое-то маленькое чудо, великого поэта мансард. И до чего же она меня изводила этой своей мансардой! Позже, когда ее кружок доказал ей, что я только бесталанный дурак,—она оставила меня при себе за мою типичную голову. Нужно тебе, кстати, сказать, что тип моей головы изменялся в зависимости от посетителей «салона» Ирмы Борель. Один из ее художников, находивший, что у меня итальянский тип, заставил меня позировать для пиффераро; другой — для алжирского продавца фиалок; третий... но всего не припомнишь. Большею частью я позировал у нее, в ее квартире, и, чтобы угодить ей, оставался весь день в своем

мишурном наряде и фигурировал в ее салоне рядом с какаду. Много часов провели мы таким образом—я в костюме турка, с длинной трубкой во рту, на одном конце ее кушетки; она — на другом ее конце, декламируя со своими резиновыми шариками во рту и прерывая по временам свою декламацию для того, чтобы сказать: «До чего у вас характерная голова, дорогой мой Дани-Дан!» Когда я бывал турком, она называла меня «Дани-Дан»; когда итальянцем— «Даниэлло», но просто Даниэлем — никогда... Между прочим, я буду иметь честь фигурировать в образе этих двух типов на предстоящей выставке картин. В каталоге будет стоять: «Молодой пиффераро»—собственность госпожи Ирмы Борель. «Молодой феллах» — собственность госпожи Ирмы Борель. И это буду я... Какой позор!..

... Я должен прервать свое письмо, Жак. Пойду открою окно, чтобы подышать свежим воздухом. Я задыхаюсь... Я точно в тумане...

... Одиннадцать часов.

Свежий воздух благотворно подействовал на меня. Я буду продолжать письмо при открытом окне. Темно. Идет дождь. Звонят колокола. Как печальна эта комната!.. Милая маленькая комната! Как любил я ее когда-то, и как тоскливо мне в ней сейчас. Это она мне ее испортила, — она слишком часто бывала в ней. Ты понимаешь,—я был у нее здесь под рукой, в одном с ней доме; ей это было удобно. Да, эта комната давно уже перестала быть рабочей комнатой...

... Был ли я дома или нет, она входила ко мне в любое время и рылась во всех моих вещах. Однажды вечером я застал ее шарящей в том ящике, в котором хранилось все са-

мое для меня драгоценное в жизни: письма нашей матери, твои, Черных глаз... последние — в том золоченом ящичке, который ты хорошо знаешь. Когда я вошел в комнату, Ирма Борель держала этот ящичек в руках и собиралась открыть его. Я успел кинуться к ней и выхватить его из ее рук.

— Что вы тут делаете?!—вскричал я с негодованием...

... Она приняла свою самую трагическую позу.

— Я не решилась тронуть писем вашей матери; но *эти* письма принадлежат мне, и я хочу их иметь... Отдайте мне этот ящичек!

— Что вы хотите с ним делать?..

— Прочитать те письма, которые в нем лежат...

— Никогда,—сказал я.—Я ничего не знаю о вашей жизни, тогда как моя известна вам во всех ее подробностях.

— О, Дани-Дан! (Это был день турка.) О, Дани-Дан, неужели вы можете ставить мне это в упрек? Разве вы не входите ко мне во всякое время? Разве вы не знаете всех, кто у меня бывает?..

... Говоря это самым ласковым, вкрадчивым голосом, она пыталась взять у меня ящичек.

— Ну, хорошо, — сказал я, — раз вы так хотите, я позволю вам его открыть, но с одним условием...

— С каким?

— Вы скажете мне, где вы бываете ежедневно от восьми до десяти часов утра.

... Она побледнела и взглянула мне прямо в глаза... Я никогда еще не говорил с ней об этом, но не потому, что мне не хотелось этого знать. Эти таинственные утренние исчезновения

интриговали и беспокоили меня так же, как и ее шрам, как Пачеко, как и вся ее странная жизнь. Мне хотелось это знать, и в то же время я боялся узнать... Я чувствовал, что под этим кроется какая-то грязная тайна, которая заставит меня обратиться в бегство... Но в этот день, как ты видишь, у меня хватило смелости спросить ее. Повидимому, это очень удивило ее. С минуту она колебалась, потом глухим голосом с усилием произнесла:

— Отдайте мне ящичек, и вы все узнаете.

И я отдал ей ящичек... Жак, это было мерзко, не правда ли?!. Она открыла его, дрожа от радости, и принялась читать одно письмо за другим, — их было около двадцати,— медленно, вполголоса, не пропуская ни одной строчки. История этой любви, чистой и целомудренной, казалось, очень интересовала ее. Я уже рассказывал ей о ней, но по-своему, выдавая Черные глаза за молодую девушку из высшего общества, которую родители не соглашались выдать замуж за ничтожного плебея Даниэля Эйсета. Ты, конечно, узнаешь в этом мое глупое тщеславие?!.

... Время от времени она прерывала чтение и говорила: «Скажите пожалуйста, как мило!..» или еще: «Однако для благородной девицы!..» По мере того как она их прочитывала, она подносила их к свечке и со злобным смехом смотрела, как они горели. Я не останавливал ее, я хотел знать, где она бывала каждое утро между восемью и десятью часами...

... Среди всех этих писем было одно, написанное на бланке торгового дома Пьерот, на нем были изображены три маленькие зеленые тарелки, а ниже красовалась надпись: *«Фарфор и хрусталь. Пьерот, преемник Лалуэта»*... Бед-

ные Черные глаза!.. Вероятно, находясь в один прекрасный день в магазине и почувствовав желание написать мне, они воспользовались первым попавшимся им под руку листком бумаги. Ты представляешь себе, каким это было открытием для трагической актрисы!.. До сих пор она верила моему рассказу о благородной девице и ее знатных родителях, но, увидав это письмо, она все поняла и разразилась громким хохотом.

— Так вот она, эта благородная патрицианка, жемчужина аристократического предместья!.. Ее зовут Пьеротой, и она продает фарфоровую посуду в Сомонском пассаже!.. Теперь я понимаю, почему вы не хотели отдать мне этот ящичек.

... И она смеялась, смеялась без конца...

Дорогой мой, я не знаю, что сделалось со мной: стыд, досада, гнев... У меня потемнело в глазах. Я кинулся к ней, чтобы вырвать у нее письма. Она испугалась, отступила к дверям и, запутавшись в шлейфе, с громким криком упала. Услышав ее крик, ужасная негритянка прибежала из своей комнаты — голая, черная, безобразная, со спутанными волосами. Я хотел было не пустить ее, но одним движением своей толстой лоснящейся руки она прижала меня к стене и встала между своей хозяйкой и мною.

... Тем временем Ирма Борель встала и, делая вид, что все еще плачет, продолжала рыться в ящичке.

— Знаешь ли ты,—говорила она негритянке,— знаешь ли ты, за что он хотел меня бить?.. За то, что я узнала, что его благородная девица совсем не знатного рода и торгует в пассаже тарелками...

— Не всякий, кто носит шпоры,—барышник,— проговорила старуха нравоучительным тоном.

— Вот, посмотри, —сказала трагическая актриса, — взгляни, какие доказательства любви преподносила ему его лавочница... Четыре волоска из своего шиньона и грошовый букетик фиалок!.. Подай лампу, Белая кукушка.

... Негритянка подошла с лампой... Волосы и цветы вспыхнули с легким треском. Совершенно ошеломленный, я не протестовал.

— А это что такое!— продолжала трагическая актриса, развертывая тонкую шелковистую бумажку.—Зуб?.. Нет! Это, должно быть, что-то из сахара... Ну, да, конечно... это нечто аллегорическое... маленькое сахарное сердце!

Действительно, как-то раз, на ярмарке Прэ-Сен-Жерве, Черные глаза купили это маленькое сахарное сердце и дали мне его со словами: «Даю вам мое сердце!»

... Негритянка смотрела на него завистливыми глазами.

— Тебе хочется получить его, Кукушка?..— спросила ее госпожа.—Лови!..

... И она бросила сахарное сердце в открытый рот негритянки, как собаке... Это, может быть, смешно, но когда я услышал, как захрустел на ее зубах этот сахар, я задрожал с ног до головы. Мне казалось, что это чудовище с белыми зубами грызло с такой радостью самое сердце Черных глаз...

... Ты, может быть, думаешь, бедный мой Жак, что после этого между нами все было кончено? Но если бы ты зашел на другой день в гостиную Ирмы Борель, ты застал бы ее разучивающей со своим горбуном роль Гермионы, а в углу, рядом с какаду, ты увидел бы на циновке молодого турка, сидевшего на корточках с трубкой

в зубах, такой длинной, что она могла бы три раза обернуться вокруг его талии... «Какая у вас характерная голова, мой Дани-Дан!»

... «Но, спросишь ты, узнал ли ты по крайней мере ценой своей подлости то, что тебе хотелось?.. узнал, где она пропадала ежедневно между восемью и десятью часами утра?»—Да, Жак, я это узнал, но только сегодня утром, после ужаснейшей сцены, последней,—чорт возьми,—о которой я тебе сейчас расскажу... Но, тсс!.. Кто-то поднимается по лестнице... Что если это она?.. Если она вздумает закатить мне еще новую сцену?.. Она ведь способна на это даже после того, что произошло... Подожди!.. Я запру дверь на ключ... Она не войдет,—не бойся...

... Она не должна войти...

...Полночь.

Это была не она, а ее негритянка... Но это тоже удивило меня, потому что я не слышал стука экипажа ее хозяйки. Белая кукушка ложится спать. Через перегородку до меня доносятся звуки опорожниваемой бутылки — «буль-буль»... и этот ужасный припев: *Толокототиньян!.. Толокототиньян!..* Сейчас она уже храпит... Точно маятник башенных часов!..

...Вот как кончилась наша любовь:

Недели три тому назад горбатый профессор объявил ей, что она вполне созрела для шумных успехов в качестве трагической актрисы и что ей не мешало бы дебютировать вместе с другими его учениками...

... Моя трагическая актриса пришла в восторг. Не имея в распоряжении театра, решили превратить в театральный зал мастерскую одного из художников и разослать приглашения всем

директорам парижских театров. Что касается пьесы, предназначенной для этого дебюта, то после долгих споров остановились на «*Атталии*»... Ученики горбуна знали эту пьесу лучше других, и, чтобы поставить ее, достаточно было только нескольких совместных репетиций. И потому решено было ставить «*Атталию*»... А так как Ирма Борель была слишком важной дамой для того, чтобы терпеть какие-нибудь неудобства, то все репетиции происходили у нее. Ежедневно горбун приводил к ней своих учениц и учеников,—четверых или пятерых девиц, длинных, тощих, торжественных, задрапированных в кашемировые шали ценою по тринадцать с половиной франков, и трех или четырех бедных малых, в бумажных костюмах с физиономиями утопленников... Репетировали ежедневно, с утра до вечера, за исключением только двух утренних часов от восьми до десяти,—так как, несмотря на все приготовления к спектаклю, таинственные отлучки Ирмы Борель не прекращались. Все участвовавшие в спектакле—сама Ирма, горбун и все его ученики—работали с ожесточением. Два дня сряду забывали даже покормить какаду. Дани-Даном тоже совсем перестали заниматься... В общем, все шло прекрасно. Мастерская имела нарядный, торжественный вид; необходимые для спектакля сооружения были закончены, костюмы готовы, приглашения разосланы. И вот всего за три или четыре дня до спектакля, юный Элиасен, десятилетняя девочка, племянница горбуна, неожиданно заболевает... Что делать? Где найти Элиасена, ребенка, способного выучить роль в три дня?.. Общее смятение. Вдруг Ирма Борель обращается ко мне:

— А что, если бы вы, Дани-Дан, взялись исполнить эту роль?

— Я?! Вы шутите... в моем возрасте!..

— Можно подумать, что это говорит настоящий мужчина... Но, милый мой, вам на вид нельзя дать больше пятнадцати лет, а на сцене, в костюме и под гримом вы сойдете за двенадцатилетнего .. К тому же эта роль как нельзя более подходит к характеру вашей головы...

... Дорогой мой, все мои протесты не привели ни к чему. Пришлось подчиниться ее капризу, как и всегда... Я так малодушен...

... Спектакль состоялся... Ах, если бы я был настроен сейчас на веселый лад, как насмешил бы я тебя рассказом об этом замечательном дне... Рассчитывали на присутствие директоров театров «Жимназ» и «Французской комедии», но, повидимому, эти господа были заняты в другом месте, и нам пришлось удовольствоваться директором одного из небольших окраинных театров, которого привели в последнюю минуту. В общем, этот маленький семейный спектакль прошел не так уж плохо. Ирме Борель много аплодировали... Я, признаюсь, находил, что эта Атталия с острова Кубы была слишком напыщенна, что у нее нехватало экспрессии и что она говорила по-французски, как... испанская малиновка, но ее друзья-артисты были не так требовательны. Костюм в стиле эпохи, стройные ноги, безукоризненная линия шеи... Это все, что требовалось. Я тоже имел большой успех, благодаря моей характерной голове, но не такой блестящий, как успех Белой кукушки в бессловесной роли кормилицы. Голова негритянки была еще типичнее моей, и, когда она появилась в пятом акте, с большим какаду на ладони (трагическая актриса пожелала, чтобы все мы: ее турок, ее негритянка, ее какаду—все фигурировали в пьесе), и свирепо

выкатила белки своих огромных глаз, весь зал задрожал от рукоплесканий. «Какой успех!» — говорила сияющая Атталия...

... Жак!.. Жак!.. Я слышу стук колес ее экипажа во дворе. Подлая женщина! Откуда возвращается она так поздно? Неужели она уже позабыла о нашем ужасном утре, о котором я до сих пор не могу спокойно вспомнить...

... Наружная дверь захлопнулась... Только бы она не вздумала подняться сюда!.. Жак, как ужасна близость женщины, которую ненавидишь...

... Час ночи.

Спектакль, о котором я тебе рассказывал, состоялся три дня тому назад.

... В течение этих трех последних дней она была весела, кротка, мила, очаровательна. Она ни разу не била негритянку, несколько раз спрашивала о тебе, — все ли ты еще кашляешь... А ведь бог свидетель, что она тебя не любит... Все это должно было бы навести меня на некоторые мысли...

... Сегодня утром она входит в мою комнату ровно в девять часов... Девять часов... Никогда еще я не видел ее в такое время... Она подходит ко мне и, улыбаясь, говорит:

— Девять часов!

... Потом продолжает торжественным тоном:

— Друг мой, я вас обманывала. Я не была свободна, когда мы с вами встретились. Моя жизнь была уже связана с тем, кому я обязана своим богатством, досугом, всем, что я имею.

... Я ведь говорил тебе, Жак, что под этой тайной скрывалась какая-то подлость!..

— С того дня, как я вас узнала, связь эта сделалась мне ненавистна... Если я вам о ней не

говорила, то только потому, что я знала, что вы слишком горды и не согласитесь делить меня с другим. Если же я не порвала этой связи, то потому, что мне было слишком трудно отказаться от того беззаботного и роскошного образа жизни, для которого я создана... Но сейчас я больше не могу так жить... Эта ложь меня давит, эта ежедневная измена сводит меня с ума... И если вы не отвергнете меня после этого признанья, то я готова бросить все и жить с вами в любом углу—всюду, где вы только хотите...

... Эти последние слова «где вы хотите» были произнесены очень тихо, совсем около меня, почти у самых моих губ для того, чтобы меня опьянить...

... Но у меня все-таки хватило мужества ответить ей, и даже очень сухо, что я беден, ничего не зарабатываю и не могу допустить, чтобы ее содержал мой брат Жак...

... Она с торжествующим видом откинула голову:

— Ну, а если бы я нашла для нас обоих вполне честный и верный заработок, который дал бы нам возможность не расставаться... что бы вы на это сказали?

... С этими словами она вынула из кармана исписанный лист гербовой бумаги и принялась читать его вслух...

... Это был ангажемент для нас двоих в театр одного из парижских предместий; ей назначалось сто франков в месяц, мне—пятьдесят. Все было готово, и нам оставалось только его подписать...

... С ужасом смотрел я на нее. Я чувствовал, что она увлекает меня в бездну, и мне было страшно... Я боялся, что не найду в себе достаточно сил, чтобы противостоять ей... Окончив

чтение контракта и не давая мне времени ответить, она принялась лихорадочно говорить о блеске театральной карьеры и о той блаженной жизни, которую мы будем вести, — свободные, гордые, вдали от света, всецело посвятив себя искусству и нашей любви...

... Она говорила слишком долго,—в этом была ее ошибка. Я успел притти в себя, вызвать из глубины своего сердца образ Мамы Жака, и когда она кончила свою тираду, холодно ответил ей:

— Я не хочу быть актером...

... Она, конечно, не сдалась и снова принялась за свои красивые тирады. Напрасный труд... На все ее доводы я отвечал одно и то же:

— Я не хочу быть актером...

... Она начала терять терпение...

— Значит,—проговорила она побледнев,—вы предпочитаете, чтобы я опять ездила *туда*, от восьми до десяти, чтобы все оставалось попрежнему?..

... На это я ответил уже менее холодно:

— Я ничего не предпочитаю... Я нахожу очень достойным ваше желание зарабатывать трудом свой хлеб и не быть обязанной щедрости господина «От восьми до десяти»... Я вам только повторяю, что не чувствую в себе ни малейшего призвания к сцене, и актером не буду.

... Эти слова ее взорвали.

— А! Ты не хочешь быть актером?.. Чем же ты будешь в таком случае?.. Не считаешь ли ты себя поэтом?.. Что?.. Он считает себя поэтом!.. Но ведь у тебя нет ни малейшего дарования, жалкий безумец!.. Скажите на милость,—он напечатал скверную книжонку, которую никто не желает читать,—и уже вообразил себя поэтом!.. Но, несчастный, ведь твоя книга идиотична,—

это все говорят... Вот уже два месяца, как она поступила в продажу, а продан всего только один экземпляр, и этот единственный—мой... Поэт?.. Ты?! Полно, полно!.. Только твой брат может говорить такие глупости... Вот еще другая наивная душа, этот брат! И хорошенькие письма он пишет тебе!.. Можно умереть со смеха, читая его рассуждения о статье Гюстава Планша... Он убивает себя работой для того, чтобы тебя содержать, а ты в это время, ты... ты... Что ты в сущности делаешь?.. Отдаешь ли ты себе в этом отчет?.. Удовлетворяешься тем, что у тебя типичное лицо, одеваешься турком — и думаешь, что в этом все!.. Но я должна тебя предупредить, что с некоторых пор характерность твоей головы постепенно исчезает... Ты становишься безобразным, да-да, ты очень безобразен. Посмотри на себя... Я уверена, что если бы ты вернулся к донзелле Пьероте, она отвернулась бы теперь от тебя... А между тем, вы созданы друг для друга... Вы оба рождены для того, чтобы торговать посудой в Сомонском пассаже. Это подходит тебе несравненно больше, чем быть актером.

... Она брызгала слюной, она задыхалась. Ты, вероятно, никогда не видел такого припадка исступления. Я молча смотрел на нее... Когда она кончила, я подошел к ней—я дрожал всем телом — и проговорил совершенно спокойно:

— Я не хочу быть актером.

... С этими словами я подошел к двери и, открыв ее, жестом пригласил ее выйти...

— Вы хотите, чтобы я ушла? — спросила она насмешливо, явно издеваясь надо мной... — Ну, нет!.. Мне еще многое нужно сказать вам...

... Тут я не выдержал. Кровь бросилась мне в лицо, и, схватив каминные щипцы, я кинулся к

ней... Она мгновенно исчезла... Дорогой мой, в эту минуту я понял испанца Пачеко...

... Я схватил шляпу и сбежал вниз. Весь день я метался по улицам, точно пьяный... О, если бы ты был здесь, Жак!.. На минуту у меня явилась было мысль побежать к Пьероту, упасть к его ногам, молить Черные глаза о прощении. Я дошел до самых дверей магазина, но не посмел войти... Вот уже два месяца, как я там не был. Мне писали,—я не отвечал. Ко мне приходили,—я прятался. Как могли бы после всего этого простить меня... Пьерот сидел за своей конторкой. Вид у него был грустный. Я постоял немного у окна, глядя на него, потом, зарыдав, убежал...

... С наступлением ночи я вернулся домой. Я долго плакал у окна, потом принялся писать тебе. Я буду писать всю ночь. Мне кажется, что ты здесь со мной, что я разговариваю с тобою, и это успокаивает меня...

... Что за чудовище эта женщина! Как она была уверена во мне. Она считала меня своей игрушкой, своей вещью!.. Подумай только... Тащить меня за собой на сцену какого-то загородного театра... Посоветуй мне что-нибудь, Жак! Я тоскую, я мучаюсь... Она причинила мне столько зла!.. Я больше не верю в себя, я сомневаюсь, мне страшно. Что мне делать? Работать?.. Увы! Она права: я не поэт. Моя книга не расходится... Как ты расплатишься в типографии?..

... Вся моя жизнь загублена. Я уже ничего не вижу впереди, ничего не понимаю. Вокруг темно... Есть роковые имена... Ее зовут Ирмой Борель. Борель у нас означает палач... Ирма-палач! Как подходит к ней это имя!.. Мне хотелось бы переменить мою комнату. Она стала

ненавистна мне... И потом, я тут всегда рискую встретить ее на лестнице...

... Но будь уверен, что если она вздумает когда-нибудь подняться ко мне... Впрочем, нет, она не сделает этого... Она уже забыла меня. Артисты утешат ее...

... О, боже! Что я слышу?.. Жак, брат мой,— это она! Говорю тебе, что это она... Она идет сюда... Я узнаю ее шаги... Она здесь, совсем близко. Я слышу ее дыханье... Она смотрит на меня в замочную скважину, ее взгляд жжет меня...»

Это письмо не было отослано.

ГЛАВА XII
ТОЛОКОТОТИНЬЯН

Я дошел теперь до самых мрачных страниц моей жизни, до тех дней терзаний и позора, которые Даниэль Эйсет, актер парижского пригородного театра, провел с этой женщиной. Странная вещь! Этот период моей жизни, шумный, лихорадочный, полный всяких случайностей, оставил во мне больше угрызений совести, чем воспоминаний.

Весь этот уголок моей памяти точно окутан каким-то туманом, — я ничего в нем не вижу, ничего...

Но нет!.. Стоит мне только закрыть глаза и тихонько повторить два-три раза этот странный унылый припев: *Толокототиньян! Толокототиньян!*— и тотчас же, как по волшебству, мои уснувшие воспоминания просыпаются, умершие тени встают из своих могил, и я опять вижу Малыша таким, каким он был там, в этом громадном доме, на бульваре Монпарнасс, вижу его

между Ирмой Борель, разучивающей свои роли, и Белой кукушкой, без конца напевающей:

Толокототиньян! Толокототиньян!

Ужасный дом! Я как сейчас вижу тысячи его окон, зеленые липкие перила лестницы, зияющие желоба, по которым стекали помои, нумерованные двери, длинные белые коридоры, в которых пахло свежей краской... Совсем новый и такой уже грязный! В нем было сто восемь комнат; в каждой по семье — и какие это были семьи!.. С утра до вечера шум, крики, сцены, драки; по ночам плач детей, шлепанье босых ног по полу, унылое, однообразное качанье колыбелей, и время от времени, для разнообразия — нашествие полиции.

Здесь, в этом семиэтажном вертепе, Ирма Борель и Малыш нашли убежище для своей любви... Печальное убежище, как раз подходящее для такой обитательницы... Они его выбрали потому, что это было близко от их театра, и потому, что здесь, как во всех новых домах, квартиры были дешевы. За сорок франков — цена, которую берут с тех, кто «высушивает своими боками» новые еще не просохнувшие стены,— они имели две комнаты во втором этаже с узеньким балконом на бульвар,— самое лучшее помещение во всей гостинице... Они возвращались к себе ежедневно около полуночи по окончании спектакля. Жуткое возвращение по длинным пустынным проспектам, где им попадались навстречу только молчаливые блузники, простоволосые девицы и патрульные в длинных серых плащах.

Они шли быстро, посредине мостовой и, придя к себе, находили поджидавшую их негритянку, Белую кукушку, а на столе немного холодного мяса. Белую кукушку Ирма Борель

оставила у себя. Господин «От восьми до десяти» отобрал у нее кучера, экипаж, мебель, посуду. Ирма Борель сохранила свою негритянку, своего какаду, несколько драгоценностей и все свои платья. Эти платья могли годиться ей теперь, конечно, только для сцены, так как их длинные, бархатные и муаровые шлейфы не были предназначены для того, чтобы подметать Внешние бульвары... Но их было столько, что они занимали целую комнату. Там они висели на стальных вешалках, и их красивые шелковистые складки, их яркие цвета составляли резкий контраст с потертым паркетом и выцветшей мебелью. В этой комнате спала негритянка.

Она принесла туда свой соломенный тюфяк, свою подкову и бутылку водки... Из боязни пожара ее оставляли здесь без огня, и часто ночью, когда ее хозяйка и Малыш возвращались из театра, Белая кукушка, сидевшая при свете луны на корточках на своем соломенном тюфяке посреди всех этих таинственных одеяний, производила впечатление старой ведьмы, приставленной Синей бородой для охраны семи повешенных жен... Другая комната, меньшая, была для них двоих и для какаду. Там помещались только кровать, три стула, стол и золоченый шест попугая.

Как ни печальна и тесна была их квартира,— они почти никогда не выходили из дома. Свободное от театра время они проводили за разучиванием ролей, и, клянусь вам, что это была ужаснейшая какофония. По всему дому раздавались их драматические вопли: «Моя дочь! Отдайте мне мою дочь!»— «Сюда, Гаспар!»— «Его имя, его имя, несча-а-астный!» И одновременно с этим — пронзительные крики какаду и резкий

голос Белой кукушки, непрерывно напевавшей:

Толокототиньян!.. Толокототиньян!

Но Ирма Борель была счастлива. Ей нравилась эта жизнь. Ее забавляла игра в бедных артистов. «Я ни о чем не жалею»,— часто говорила она. Да и о чем стала бы она жалеть? Она хорошо знала, что в тот день, когда бедность начнет ее угнетать, когда ей надоест пить дешевое разливное вино и есть отвратительные кушанья под коричневыми соусами, которые им приносили из дешевенькой харчевни, в тот день, когда ей надоест драматическое искусство парижских предместий,— она вернется к прежнему образу жизни. Ей стоило только пожелать, и все утраченное будет снова в ее распоряжении. Это сознание придавало ей мужества, и она могла спокойно говорить: «Я ни о чем не жалею».— Да... *она* ни о чем не жалела. Но он, он?..

Они вместе дебютировали в «Рыбаке Гаспардо», одном из лучших образцов мелодраматической кухни. *Она* имела успех, и ей очень аплодировали; не за талант, конечно,— у нее был скверный голос и смешные жесты,— но за ее белоснежные руки и бархатные платья. Публика окраин не привыкла к выставке такого ослепительного тела и таких роскошных платьев из материала по сорока франков метр. В зале говорили: «Это герцогиня», и восхищенные гамэны аплодировали до исступления...

Он не имел успеха. Он был слишком мал ростом, трусил, конфузился. Он говорил вполголоса, как на исповеди.

«Громче! Громче!»—кричали ему. Но у него сжималось горло и прерывались слова. Его освистали... Ничего не поделаешь... Что бы там

Ирма ни говорила,— призванья к сцене у него не было. Ведь в конце концов недостаточно быть плохим поэтом, чтобы быть хорошим актером.

Креолка утешала его, как могла. «Они не поняли твоей характерной головы...»— говорила она ему. Но директор отлично понял эту «характерность» и после двух бурных представлений призвал Малыша в свой кабинет и сказал ему:

— Мой милый, драма — это не твой жанр. Мы сделали ошибку. Попробуем водевиль. Мне кажется, что в комических ролях у тебя дело пойдет лучше.

И на следующий же день взялись за водевили. Малыш исполнял комические роли первых любовников, смешных, глупых фатов, которых угощают лимонадом Рожэ, вместо шампанского, и которые бегают потом по сцене, держась за живот; простаков в рыжих париках, которые ревут, как телята; влюбленных деревенских парней, которые, закатывая глупые глаза, заявляют: «Мамзель, мы вас очень любим, ей-ей, любим во-всю!..»

Он играл дурачков, трусов, всех, кто безобразен и вызывает смех, и справедливость заставляет меня сказать, что с этими ролями он справлялся недурно. Несчастный имел успех: он смешил публику.

Объясните это, если можете... Стоило Малышу выйти на сцену загримированным, разрисованным, в своем мишурном костюме, как он начинал думать о Жаке и о Черных глазах. Во время какой-нибудь гримасы или глупой фразы перед ним внезапно вставал образ дорогих ему существ, так низко им обманутых...

Почти каждый вечер — местные театралы под-

твердят вам это — он вдруг останавливался посреди фразы и, раскрыв рот, молча стоял и смотрел на зал... В такие минуты его душа, казалось, покидала тело, перелетала через рампу, ударом крыла пробивала крышу театра и уносилась далеко-далеко — поцеловать Жака, госпожу Эйсет и вымолить себе прощенье у Черных глаз, горько жалуясь им на печальное ремесло, которым он вынужден был заниматься.

«Ей-ей, мы вас любим во-всю!..» — вдруг произносил голос суфлера, и несчастный Малыш, пробужденный от грез, словно падая с облаков, оглядывался кругом большими удивленными глазами, в которых так естественно и так комично выражался испуг, что вся зала разражалась неистовым хохотом. На театральном языке это называется «эффектом». Он достигал его совершенно бессознательно.

Труппа, в которой он участвовал, обслуживала несколько коммун, играя то в Гренелле, то в Монпарнассе, то в Севре, в Соили, в Сен-Клу. Это было нечто вроде странствующей труппы. Переезжая из одного места в другое, все актеры усаживались в театральный омнибус, старый омнибус кофейного цвета, который тащила чахоточная лошадь. Дорогой актеры пели и играли в карты, а те, кто не знал своих ролей, усаживались в глубине экипажа и учили их. Среди последних был всегда и Малыш.

Он сидел молчаливый и печальный, как все великие комики, не слушая раздававшихся вокруг него пошлостей. Как низко он ни пал, он все же стоял выше этой труппы странствующих актеров. Ему было стыдно, что он попал в такую компанию. Женщины — с большими претензиями, уже увядшие, накрашенные, жеманные; мужчины — пошляки, не имеющие ни-

каких идеалов, безграмотные сыновья парикмахеров или мелких лавочников, сделавшиеся актерами от безделья, из лени, из любви к праздной жизни, к мишурному блеску театральных костюмов, из желания показаться на подмостках в светлых трико и в сюртуках «а ла Суворов», — типичные пригородные ловеласы, всегда занятые своей внешностью, тратящие все свое жалованье на завивку волос и заявляющие с важным видом: «сегодня я хорошо поработал», если они употребили пять часов на то, чтобы смастерить себе пару сапог эпохи Людовика XV из двух метров лакированной бумаги... Действительно, стоило насмехаться над «музыкальным ящиком» Пьерота для того, чтобы очутиться потом в этой колымаге.

Товарищи не любили его за его необщительность, молчаливость, высокомерие. «Он себе на уме» — говорили про него. Зато креолка покорила все сердца. Она восседала в омнибусе с видом счастливой, довольной своей судьбой, принцессы, громко смеялась, закидывала назад голову, чтобы показать безукоризненные линии своей шеи, говорила всем «ты», мужчин называла «старина», женщин — «моя крошка» и заставляла даже самых сварливых говорить о себе: «Это хорошая девушка». Хорошая девушка! Какая насмешка!..

Так, смеясь и болтая всю дорогу, приезжали на место назначения. По окончании спектакля все быстро переодевались и в том же омнибусе уже ночью возвращались в Париж. Разговаривали вполголоса; в темноте искали друг друга ощупью, коленями. Время от времени раздавался заглушенный смех... У въезда в предместье Мэн омнибус останавливался, все выходили из него и толпой шли провожать Ирму Борель и

Малыша до самых дверей их «вертепа», где их поджидала уже почти совсем пьяная Белая кукушка, не перестававшая напевать свой унылый:

Толокототиньян... Толокототиньян .

Видя их всегда неразлучными, можно было подумать, что они любили друг друга. Но нет! Любви между ними не было. Для этого они слишком хорошо знали друг друга. Он знал, что она лжива, холодна, бездушна. Она знала, что он бесхарактерен и малодушен до низости. Она говорила себе: «В одно прекрасное утро явится его брат и возьмет его у меня, чтобы отдать этой торговке фарфором». В свою очередь, он говорил себе: «Настанет день, когда ей надоест эта жизнь и она улетит с господином «От восьми до десяти», а я останусь один в этом болоте...» Эта вечная боязнь лишиться друг друга только и скрепляла их связь. Они не любили друг друга и в то же время ревновали...

Странно, не правда ли, что там, где не было любви, могла существовать ревность. А между тем это было так... Всякий раз, когда она разговаривала слишком фамильярно с кем-нибудь из актеров, он бледнел. Когда он получал какое-нибудь письмо, она бросалась на него и распечатывала дрожащими руками... Чаще всего это было письмо от Жака. Она прочитывала его с начала до конца, издеваясь, потом бросала его куда-нибудь: «Вечно одно и то же», — говорила она с презрением. Увы, да! Всегда одно и то же! Другими словами — всегда та же преданность, то же великодушие, та же самоотверженность. Вот за это она так и ненавидела этого брата...

Бедный Жак ничего не подозревал, ни о чем не догадывался. Ему писали, что все идет хорошо, что «Пасторальная комедия» на три

четверти распродана и что ко времени срока уплаты по векселям можно будет получить у книгопродавцев необходимые для этого деньги. Доверчивый и как всегда великодушный, он продолжал посылать ежемесячно свои сто франков на улицу Бонапарта, куда за ними ходила Белая кукушка.

На эти сто франков Жака и свое театральное жалованье они могли бы жить, не нуждаясь, в этом квартале бедняков. Но ни он, ни она не знали, как говорится, цены деньгам. Он — потому, что никогда их не имел, она — потому, что у нее их было всегда слишком много. И нужно было только видеть, как они транжирили их. Уже с пятого числа каждого месяца их касса — маленькая японская туфелька из маисовой соломы — бывала пуста. Во-первых, этот какаду, которого прокормить стоило не меньше, чем взрослого человека. Потом все эти белила, притирания, румяна, рисовая пудра, всякие мази, заячьи лапки — все принадлежности грима. Затем переписанные роли были для Ирмы Борель слишком стары, истрепаны, мадам желала иметь в своем распоряжении новые. Ей нужны были также цветы... Много цветов. Она скорее согласилась бы не есть, чем видеть пустыми свои жардиньерки.

В два месяца они совершенно запутались в долгах. Они должны были в гостинице, в ресторане, даже театральному швейцару. Время от времени какой-нибудь поставщик, потерявший терпенье, приходил к ним по утрам и подымал шум. В такие дни они в отчаянии бежали к эльзасцу, напечатавшему «Пасторальную комедию», и занимали у него от имени Жака несколько луидоров, и так как у этого типографа был уже в руках второй том знаменитых мемуаров и он знал, что Жак все еще секретарь

д'Аквиля, то он, не задумываясь, открывал им свой кошелек. Так, луидор за луидором они перебрали у него около четырехсот франков, которые, вместе с девятьюстами франками за напечатанье Пасторальной комедии, довели долг Жака до тысячи трехсот франков.

Бедный Мама Жак! Сколько горя ожидало его по возвращении. Даниэль — исчез, Черные глаза в слезах, ни один экземпляр книги не продан и... долг в тысяча триста франков... Как он из этого выпутается... Креолка мало об этом беспокоилась, но Малыша эта мысль не покидала. Это было какое-то наваждение, нескончаемая пытка. Тщетно старался он забыться, работая как каторжный (и что это была за работа, боже правый!), разучивал новые комические роли, изучал перед зеркалом новые гримасы, причем зеркало неизменно отражало образ Жака вместо его собственного; и между строчками своей роли он, вместо Ланглюма, Жозиа и других действующих лиц водевиля, — видел только имя Жака... Жак, Жак, всюду Жак.

Каждое утро он со страхом глядел на календарь и, считая дни, остававшиеся до срока платежа по первому векселю, содрогаясь, говорил себе: «Всего только месяц... всего только три недели...» — Он прекрасно знал, что при протесте первого векселя все обнаружится и что с этого дня начнутся мучения его брата... Эта мысль преследовала его даже во сне. Случалось, что он внезапно просыпался с сильно бьющимся сердцем, с мокрым от слез лицом, со смутным воспоминанием о только что виденном странном тяжелом сне...

Этот сон он видел почти каждую ночь. Видел незнакомую комнату, где стоял большой старинный окованный железом шкаф и диван, на котором

неподвижный бледный, лежал Жак. Он только что умер... Камилла Пьерот тоже была там. Она стояла у шкафа, стараясь открыть его, чтобы достать из него саван, но это ей никак не удавалось, и, водя ключом вокруг замочной скважины, она говорила раздирающим душу голосом: «Я не могу открыть... Я слишком много плакала... Я ничего не вижу...»

Этот сон страшно волновал Малыша. Как только он закрывал глаза, он видел перед собой неподвижно лежащего на диване Жака и у шкафа ослепшую Камиллу... Угрызения совести, страх перед будущим делали его с каждым днем все более и более мрачным и раздражительным. Креолка тоже становилась невыносимой. Она смутно чувствовала, что он от нее ускользает, но не могла понять — почему, и это выводило ее из себя. Между ними то и дело происходили ужасные сцены, раздавались крики, ругательства. Можно было подумать, что все это происходит где-нибудь на плоту, среди прачек.

Она говорила: «Убирайся к своей Пьерот. Пусть она угощает тебя сахарными сердцами».

Он в ответ: «Возвращайся к своему Пачеко, чтобы он опять раскроил тебе губу».

Она кричала ему: «Мещанин!»

Он отвечал: «Негодяйка!»

Потом оба заливались слезами и великодушно прощали друг другу, чтобы на следующий же день начать все сызнова.

Так они жили, вернее прозябали, скованные одной целью, валяясь в одной и той же сточной канаве... Это жалкое существование, эти мучительные часы проходят перед моими глазами и теперь, когда я напеваю странный и грустный мотив негритянки:

Толокототиньян... Толокототиньян...

ГЛАВА XIII

ПОХИЩЕНИЕ

Было около девяти часов вечера... Малыш, игравший в Монпарнасском театре в первом отделении, только что кончил свою роль и поднимался в уборную. На лестнице он встретил Ирму Борель; она спешила на сцену, сияющая, вся в бархате и в гипюре, с веером в руках, как подобало Селимене.

— Приходи в залу, — сказала она ему, — я сегодня в ударе... Буду очень хороша!..

Он ускорил шаги и, войдя в уборную, принялся быстро раздеваться. Эта уборная, предназначенная для него и двух его товарищей, представляла собой маленькую комнату без окна, с низким потолком, освещенную только маленькой лампочкой. Всю ее мебель составляли два-три соломенных стула. По стеклу висели осколки зеркала, потерявшие завивку парики, обшитые блестками лохмотья, куски полинявшего бархата, потускневшие золоченые украшения. На полу в углу — баночки с румянами без крышек и старые пуховки для пудры.

Малыш еще смывал свой грим, когда услышал голос машиниста, звавшего его снизу: — Господин Даниэль! Господин Даниэль! — Он вышел на площадку лестницы и, перегнувшись через сырые деревянные перила, спросил: — В чем дело? — Не получив ответа, он спустился вниз, как был, полуодетый, набеленный и нарумяненный в большом желтом парике, сползавшем ему на глаза.

Внизу он на кого-то наткнулся.

— Жак!.. — воскликнул он, отступая.

Это был Жак... С минуту они молча смотре-

ли друг на друга. Потом Жак сложил руки и тихим, мягким умоляющим голосом прошептал:

— О, Даниэль!..

Этого было достаточно. Малыш, тронутый до глубины души, оглянулся кругом, как боязливый ребенок, и тихо, так тихо, что брат с трудом мог расслышать его, прошептал:

— Уведи меня отсюда, Жак!

Жак вздрогнул и, взяв брата за руку, увлек его с собой на улицу. У подъезда стоял фиакр. Они сели в него.

— На улицу Дам, в Батиньоль! — крикнул Жак.

— Как раз мой квартал, — сказал кучер довольным тоном, и карета покатилась.

... Вот уже два дня, как Жак в Париже. Он приехал из Палермо, где его, наконец, нашло письмо Пьерота, гнавшееся за ним уже целых три месяца. Из этого краткого, лаконического письма Жак узнал об исчезновении Даниэля.

Читая его, Жак понял все. «Мальчик наделал глупостей, — подумал он. — Мне нужно сейчас же ехать туда!» И он обратился к маркизу с просьбой об отпуске.

— Отпуск!.. — воскликнул тот, подскочив на стуле. — Да вы с ума сошли!.. А мои мемуары...

— Всего только на неделю, господин маркиз, чтобы съездить туда и вернуться. Дело идет о жизни моего брата...

— Мне нет никакого дела до вашего брата... Разве я не предупреждал вас, когда вы ко мне поступали! Разве вы забыли о нашем условии!

— Нет, господин маркиз, но...

— Никаких «но»! С вами будет поступлено так же, как и с другими. Если вы уедете на неделю, то вы больше уж не вернетесь сюда. Подумайте хорошенько об этом... А пока вы об-

думываете, садитесь вот сюда: я буду диктовать.

— Я все уже обдумал, господин маркиз: я еду!

— К чорту, в таком случае!

И с этими словами несговорчивый старик взял шляпу и отправился во французское консульство отыскивать нового секретаря.

Жак уехал в тот же вечер.

По приезде в Париж, он поспешил на улицу Бонапарта.

— Брат дома?— спросил он привратника, который курил трубку, сидя у фонтана во дворе.

— Давненько уж сбежал, — ответил привратник насмешливо.

Повидимому, он не желал продолжать разговора, но пятифранковая монета развязала ему язык, и он сообщил, что молодой жилец из пятого этажа и дама из бельэтажа давно уже исчезли, что никто не знал, в каком из уголков Парижа они скрывались, но что скрывались они, очевидно, вместе, так как негритянка Белая кукушка каждый месяц приходила справляться, не получено ли чего-нибудь на их имя. Он прибавил, что господин Даниэль, уезжая, забыл отказаться от квартиры и что поэтому должен будет уплатить за четыре месяца, не считая других мелких долгов.

— Хорошо, — сказал Жак, — все будет уплачено.

И не теряя ни минуты, даже не стряхнув с себя дорожной пыли, он отправился на поиски своего мальчика.

Прежде всего он пошел в типографию, так как главный склад «Пасторальной комедии» находился там, и он рассчитывал, что Даниэль должен был часто туда заходить.

— А я только что собирался вам писать, — сказал владелец типографии, увидев Жака, —

напомнить, что срок платежа по первому векселю наступает через четыре дня.

Жак спокойно ответил:

— Я уж думал об этом... С завтрашнего дня я начну свой обход книгопродавцев и получу с них деньги. Ведь продажа шла очень хорошо...

Типограф вытаращил на него свои большие голубые глаза.

— Как?.. Продажа шла хорошо?!. Кто вам это сказал?

Жак побледнел, предчувствуя катастрофу.

— Вот взгляните в этот угол, — продолжал эльзасец, — посмотрите на груду сложенных там книг. Это все «Пасторальная комедия». За все эти пять месяцев продан всего один экземпляр. В конце концов книгопродавцам это надоело, и они прислали мне обратно эти книжки. Теперь все это может быть продано только, как бумага, на вес. А жаль, — издана книга очень хорошо.

Каждое слово этого человека падало на голову Жака, как удар свинцовой дубинки, но окончательно сразило его то, что Даниэль занимал от его имени у владельца типографии деньги.

— Как раз еще вчера, — сказал безжалостный эльзасец, — он присылал ко мне эту ужасную негритянку с просьбой дать ему взаймы два луидора, но я наотрез отказал. Во-первых, потому, что этот посланный с лицом трубочиста не внушал к себе доверия, а, во-вторых, вы понимаете, господин Эйсет, я человек небогатый и дал уже больше четырехсот франков взаймы вашему брату.

— Я это знаю, — гордо ответил Жак, — но не беспокойтесь. Вы скоро получите ваши деньги.

С этими словами он быстро вышел, боясь выдать свое волнение. На улице он вынужден

был присесть на тумбу, так у него подкашивались ноги. Его Даниэль, его «ребенок», бежал: сам он потерял место; надо было платить владельцу типографии, платить за комнату, вернуть долг привратнику, через день срок платежа по векселю... — все это кружилось, шумело у него в голове... Наконец, он поднялся: «Прежде всего — расплатиться с долгами, — сказал он себе. — Это самое неотложное». И, несмотря на низкое поведение брата по отношению к Пьеротам, он, не колеблясь, отправился к ним.

Войдя в магазин фирмы бывшей Лалуэт, Жак увидел за конторкой толстое желтое обрюзглое лицо, которое он в первую минуту не узнал. Но на стук двери человек, сидевший за конторкой, поднял голову и, увидав входящего в магазин Жака, издал такое громогласное: «вот уж, правда, можно сказать!..», что не узнать его было уже нельзя... Бедный Пьерот! Горе дочери совершенно изменило его. Прежнего Пьерота, всегда такого веселого, краснощекого, как не бывало. От слез, которые в течение пяти месяцев проливала его «малютка», — веки его покраснели, щеки ввалились. На его когда-то ярких, а теперь бледных губах звучный смех прежних дней уступил место холодной, ничего не говорящей улыбке, улыбке вдов и покинутых возлюбленных. Это был уже не Пьерот, это была Ариадна, это была Нина.

Впрочем, только он один изменился в «бывшем доме Лалуэт». Раскрашенные пастушки и китайцы с фиолетовыми животами попрежнему блаженно улыбались на своих высоких этажерках среди стаканов из богемского хрусталя и тарелок с крупными цветами. Пузатые миски, карсельные лампы из цветного фарфора — попрежнему весело поблескивали за стеклами тех же

самых витрин, и в каморке за магазином та же флейта попрежнему тихонько ворковала.

— Это я, Пьерот, — сказал Жак, стараясь говорить твердым голосом, — я пришел просить вас о большой услуге. Дайте мне взаймы тысячу пятьсот франков.

Не говоря ни слова, Пьерот открыл кассу, порылся в ней, потом задвинул ящик и спокойно встал.

— Столько у меня здесь не найдется, господин Жак. Подождите, я сейчас принесу их сверху.

И прибавил со смущенным видом:

— Я не приглашаю вас туда с собой: это слишком расстроило бы ее...

Жак вздохнул...

— Вы правы, Пьерот, я лучше останусь здесь.

Через пять минут севенец вернулся с двумя тысячефранковыми билетами и вручил их Жаку. Тот не хотел их брать:

— Мне нужно только тысячу пятьсот франков, — промолвил он.

Но севенец настаивал.

— Пожалуйста, господин Жак, возьмите все. Для меня очень важно, чтобы вы взяли именно такую сумму. Это как раз та сумма, какую мадемуазель дала мне когда-то для того, чтобы я мог нанять вместо себя рекрута. Если вы мне откажете, вот уж, правда, можно сказать, что я никогда, никогда не забуду такой обиды.

Жак не решился больше отказываться и, положив деньги в карман, протянул руку севенцу:

— Прощайте, Пьерот, — сказал он. — Спасибо.

Пьерот удержал его руку.

Так стояли они некоторое время друг перед другом, взволнованные, безмолвные. У обоих на устах было имя Даниэля, но из чувства

деликатности ни тот, ни другой не решались его произнести. Они — этот отец и эта «мать» — так хорошо понимали друг друга!..

Жак первый тихонько высвободил свою руку. Слезы душили его. Он спешил уйти из магазина. Севенец проводил его до самого пассажа. Там бедняга не мог более сдерживать переполнившую его душу горечь и проговорил с упреком:

— О, господин Жак... господин Жак... вот уж, правда, можно сказать!..

Но он был слишком взволнован, чтобы продолжать, и только повторил два раза: — Вот уж, правда, можно сказать... Вот уж, правда, можно сказать...

Да, вот уж, действительно, можно было сказать!..

Расставшись с Пьеротом, Жак вернулся в типографию и, несмотря на все протесты эльзасца, вручил ему четыреста франков, взятых Даниэлем взаймы. Он уплатил ему также, чтобы покончить с этим, по всем трем векселям. После этого он с облегченным сердцем сказал себе: «А теперь будем разыскивать мальчика!». К несчастью, время было слишком позднее для того, чтобы приступить к поискам в этот же день. К тому же усталость с дороги, волнения и неотвязный сухой кашель, давно уже подтачивавший его организм, так разбили бедного Маму Жака, что ему пришлось вернуться на улицу Бонапарта, чтобы там немножко отдохнуть.

Когда он вошел в свою маленькую комнату и при последних лучах бледного октябрьского солнца снова увидел все предметы, которые напоминали ему о его «мальчике»: его рабочий столик у окна, его стакан, чернильницу, его короткие, как у аббата Жермана, трубки; ког-

да он услышал звон милых сен-жерменских колоколов, слегка охрипших от осеннего тумана; когда вечерний angelus, этот печальный angelus, который так любил Даниэль, ударил своим крылом о влажные стекла окна — одна только мать могла бы рассказать о тех страданиях, которые пережил в эту минуту Мама Жак...

Он несколько раз обошел всю комнату, повсюду заглядывая, раскрывая все шкафы в надежде найти что-нибудь, что навело бы его на след беглеца... Но, увы! Шкафы были пусты. Оставалось только старое белье да какие-то лохмотья. Вся комната носила на себе печать разгрома и запустения. Чувствовалось, что отсюда не уехали, а бежали. В одном углу на полу стоял подсвечник, а в камине под обгоревшими листками бумаги виднелся белый с позолотой ящичек. Жак тотчас узнал этот ящичек. В нем хранились письма Черных глаз. Теперь он валялся среди груды пепла!.. Какое святотатство!

Продолжая свои поиски, Жак нашел в ящике рабочего столика Даниэля несколько листков бумаги, исписанных неровным лихорадочным почерком Даниэля в часы его творческого вдохновения. «Вероятно, какая-нибудь поэма»,— подумал Жак, подходя к окну, чтобы прочесть. Это была действительно поэма, мрачная поэма, начинавшаяся словами:

«Жак, я лгал тебе! Вот уже два месяца, как я не перестаю лгать...» Следовало длинное письмо. Читатель его, конечно, помнит. Малыш рассказывал в нем все, что заставила его выстрадать женщина из бельэтажа.

Это письмо не было отправлено, но тем не менее оно попало в руки того, кому предназначалось. На этот раз провидение сыграло роль почты.

Жак прочел его с начала до конца. Когда он дошел до того места, где говорилось об ангажементе в Монпарнасский театр, который предлагали Малышу с такой настойчивостью и от которого он отказывался с такой твердостью,— Жак привскочил от радости.

«Я знаю теперь, где он!» — воскликнул он и, спрятав письмо в карман, успокоенный лег спать. Но, хотя он чувствовал себя совершенно разбитым от усталости, заснуть он не мог. Все время этот проклятый кашель... При первом утреннем привете зари, осенней зари, ленивой и холодной,—он поспешно встал. План его был составлен.

Собрав все тряпье, остававшееся в шкафах, он сложил его в свой чемодан, не забыв и белый с позолотой ящичек, послал последний привет сен-жерменской колокольне и ушел, отворив настежь окно, дверь, шкафы, чтобы ничего из их прежней, такой хорошей жизни не оставалось в комнате, где с этих пор должны были поселиться другие. Сойдя вниз, он отказался от квартиры, уплатил привратнику все, что следовало, и, не отвечая на его настойчивые расспросы, позвал фиакр и велел везти себя в гостиницу Пилуа, на улицу Дам, в Батиньоль.

Эту гостиницу содержал брат старого Пилуа, повара маркиза. Комнаты в ней сдавались только по рекомендации и не меньше как на четырехмесячный срок. В силу этого гостиница пользовалась исключительно хорошей репутацией, и находиться в числе ее жильцов значило быть вполне порядочным человеком. Жак, который приобрел доверие повара дома д'Аквиль, привез от него брату несколько бутылок марсалы.

Этой рекомендации оказалось совершенно достаточно, и когда Жак робко спросил его, не сможет ли он попасть в число жильцов этого отеля, ему немедленно отвели прекрасную комнату в бельэтаже с двумя окнами, выходящими в сад гостиницы (я чуть было не сказал — «монастыря»). Сад был небольшой: три-четыре акации, четырехугольная лужайка — типичная зелень Батиньоля, — фиговое дерево, на котором не росли плоды, чахлая виноградная лоза и несколько хризантем... Но этого все же было достаточно, чтобы оживить комнату, несколько сыроватую и унылую...

Не теряя ни минуты, Жак принялся за устройство комнаты: вбил гвозди, убрал белье, устроил место для трубок Даниэля, повесил над постелью портрет госпожи Эйсет, — словом, сделал все, что мог, для того чтобы стереть печать банальности, свойственной всем меблированным комнатам. Покончив с этим, он позавтракал на скорую руку и вышел. Уходя, он предупредил господина Пилуа, что в этот вечер он, возможно, в виде исключения вернется домой не рано и попросил приготовить ему в его комнате хороший ужин на двоих и бутылку старого вина. Но, вместо того, чтобы обрадоваться такому добавочному доходу, добрый Пилуа покраснел до корней волос, подобно господину викарию в первый год его служения.

— Видите ли, — сказал он смущенным тоном, — ... я, право, не знаю... Устав нашей гостиницы не допускает... у нас останавливаются духовные лица, которые...

Жак улыбнулся:

— А, прекрасно, я понимаю. Вас пугают эти два прибора... Успокойтесь, дорогой мой господин Пилуа, — это не женщина.

Но, направляясь к Монпарнассу, он думал в глубине души: «А ведь, в сущности, оно так и есть; это — женщина, и женщина без воли, без характера, безрассудный ребенок, которого не следует предоставлять самому себе».

Объясните мне, почему Мама Жак был так уверен найти меня в Монпарнассе? Ведь с того дня, как я написал ему то ужасное письмо, которое никогда не было отправлено, я давно уже мог бы оставить этот театр, мог и вовсе не поступить туда... Но нет! Им, повидимому, руководил инстинкт матери. Он был твердо убежден, что найдет меня именно там и в тот же вечер увезет меня оттуда. При этом он рассуждал совершенно правильно: «Я могу увезти его только в том случае, если он будет один, если эта женщина ни о чем не догадается». И это удержало его от непосредственного обращения в театр за всеми нужными ему сведениями. Кулисы очень болтливы; одно слово могло вызвать тревогу... Он предпочел удовлетвориться афишами и получить справку от них.

В парижских предместьях театральные афиши прибивают обычно к дверям местных винных лавок, где они красуются за решеткой, как объявления о свадьбах в эльзасских деревнях. Читая эти афиши, Жак громко вскрикнул от радости.

В этот вечер в Монпарнасском театре давали «Марию-Жанну», пятиактную драму, при участии госпожи Ирмы Борель, Дезире Левро, Гинь и других, а до нее—водевиль: «Любовь и слава» в одном действии с участием г. г. Даниэля, Антонена и мадемуазель Леонтины.

«Прекрасно!— подумал Жак. — Они играют в разных пьесах, а потому я не сомневаюсь в успехе моего плана».

И он вошел в одно из кафе вблизи Люксембургского сада, чтобы подождать там, пока можно будет привести этот план в исполнение. Вечером он отправился в театр. Спектакль уже начался. Он почти целый час прохаживался по галерее перед подъездом театра вместе с городскими стражниками.

Время от времени до него доносились аплодисменты публики, напоминавшие шум отдаленного града, и сердце сжималось у него при мысли, что, может быть, это аплодируют кривляньям его мальчика... Около девяти часов шумная волна зрителей хлынула на улицу. Водевиль только что кончился, и в толпе слышался еще веселый смех. Одни что-то насвистывали, другие перекликались... разноголосый рев парижского зверинца. Что вы хотите?! Это ведь не разъезд после спектакля итальянской оперы!

Жак подождал еще немного, затерянный в этой шумной толпе, а потом, к концу антракта, когда все возвращались в театральный зал, проскользнул в черный, грязный коридор, служивший проходом для актеров, и спросил Ирму Борель.

— Ее нельзя сейчас видеть,— ответили ему,— она уже на сцене.

Тогда Жак—он был хитер, как дикарь,—произнес самым спокойным голосом:

—Если мне нельзя видеть госпожу Ирму Борель, то будьте добры вызвать господина Даниэля, — он передаст ей что нужно.

Минуту спустя Мама Жак уже увозил свое вновь обретенное детище на противоположный конец Парижа.

ГЛАВА XIV

СОН

— Посмотри, Даниэль,—сказал мне Мама Жак, когда мы вошли с ним в комнату гостиницы Пилуа, — совсем как в ночь твоего приезда в Париж!

И действительно, как и в ту ночь, на столике, покрытом белоснежной скатертью, нас ждал такой же вкусный ужин; пирог был такой же аппетитный, вино имело такой же почтенный вид, яркое пламя свечей так же весело сверкало, словно смеялось на дне стаканов... И все-таки, все-таки, это было далеко уж не то! Иные счастливые минуты не повторяются!.. Ужин был тот же, но недоставало главных участников — горячей радости, вызванной тогда моим приездом в Париж, проектов работ, мечтаний о славе, и того святого взаимного доверия дружбы, которое заставляет нас весело смеяться и возбуждает наш аппетит. Увы, ни один из этих прежних «гостей» не пожелал явиться в гостиницу Пилуа! Они все остались на сен-жерменской колокольне. Даже Откровенность, которая дала обещание присутствовать на нашем празднике, в последнюю минуту отказалась явиться...

Нет, нет! Все это было совсем уж не то. Я это понял и понял так хорошо, что слова Жака, вместо того, чтобы меня развеселить, вызвали у меня целый поток слез. Я думаю, что в глубине души Жаку тоже очень хотелось заплакать, но он сумел сдержать себя.

— Ну, слушай, Даниэль, довольно слез! — с напускной веселостью сказал он мне. — Ты уже больше часа только и знаешь, что плачешь. (В фиакре я все время рыдал на его плече.) Вот уж действительно оригинальная встреча! Ты по-

ложительно напоминаешь мне самое печальное в моей жизни, период горшочков с клеем и возгласов: «Жак, ты осел!» Ну, осушите поскорей ваши слезы, юный раскаявшийся грешник, и полюбуйтесь на себя в зеркало. Это заставит вас рассмеяться!

Я взглянул на себя в зеркало, но я не рассмеялся. Мне сделалось стыдно... Я был в своем желтом парике, прилипшем ко лбу, щеки были измазаны белилами и румянами... потное лицо все в слезах... Это было омерзительно! С жестом отвращения я сорвал с головы парик и хотел было выбросить его, но раздумал и повесил на гвоздь.

Жак смотрел на меня с удивлением.

— Для чего ты его сюда повесил, Даниэль? Этот трофей воинствующего апаша очень безобразен. Мы точно скальпировали какого-то полишинеля.

Я ответил очень серьезно:

— Нет, Жак! Это не трофей! Это мое раскаяние, видимое и осязаемое, которое я хочу видеть всегда перед собой.

Тень горькой улыбки скользнула по губам Жака, но он тотчас же принял свой прежний веселый вид.

— Ну, оставим все это... Теперь, когда ты умылся, и я опять вижу твою милую мордашку, давай скорее ужинать, мой кудрявый мальчик,— я умираю с голоду.

Это была неправда. Он совсем не был голоден, так же, как и я, разумеется. Напрасно я старался делать вид, что ужин мне очень нравился,—все, что я ел, становилось у меня поперек горла, и, несмотря на все усилия казаться спокойным, я обливал пирог молчаливыми слезами. Жак, искоса поглядывавший на меня, спросил:

— Но почему же ты плачешь?.. Может быть, жалеешь, что ты сейчас здесь? Сердишься на меня за то, что я тебя увез оттуда?..

Я печально ответил:

— Ты обижаешь меня такими словами, Жак! Но я сам дал тебе право говорить мне все, что угодно...

Некоторое время мы продолжали еще ужинать, или вернее, делать вид, что ужинаем. В конце концов Жак, которому надоела эта комедия, оттолкнул свою тарелку и встал.

— Нет, ужин не клеится, ничего не поделаешь... Лучше ляжем спать...

Говорят, что тревога и сон — плохие товарищи. В ту ночь я убедился в этом. Меня тревожила и мучила мысль о всем том зле, которое я причинил Жаку в благодарность за сделанное им мне добро; я сравнивал свою жизнь с его жизнью; мой эгоизм с его самоотвержением, свою душу трусливого ребенка с его сердцем героя, девизом которого было: «Высшее счастье человека—в счастье других». Я говорил себе: «Моя жизнь испорчена: я потерял доверие Жака, любовь Черных глаз, уважение к самому себе. Что будет со мной?..»

Эти тревожные мысли не давали мне уснуть до самого утра. Жак тоже не спал. Я слышал, как он переворачивался с боку на бок и кашлял сухим, отрывистым кашлем, от которого слезы навертывались у меня на глазах. Раз я тихонько спросил его:

— Ты так сильно кашляешь, Жак... Ты нездоров?

На что он ответил:

— Ничего, ничего... Спи! — Но по его тону я понял, что он сердится на меня больше, чем хочет показать. Эта мысль усилила мое горе, и

я принялся втихомолку плакать под одеялом и плакал так горько, что в конце концов заснул. Если тревога гонит сон, то слезы являются хорошим наркотиком.

Когда я проснулся, был уже день. Жака рядом со мной не было. Я подумал, что он куда-нибудь ушел, но, раздвинув занавески, увидел, что он лежит в другом конце комнаты на диване, бледный, смертельно бледный... Ужасная мысль мелькнула у меня в голове...

— Жак!—крикнул я, бросаясь к нему...

Он спал, и мой крик не разбудил его. Странная вещь: его лицо приняло во сне выражение тяжелого страдания, какого я еще никогда не видел у него и которое тем не менее было мне знакомо. Его исхудалое удлинившееся лицо, бледные щеки, болезненная прозрачность рук— все это вызывало во мне мучительную боль, но боль уже пережитую мною когда-то раньше.

А между тем, Жак прежде никогда не болел. Никогда у него не было таких синих кругов под глазами, такого исхудалого лица... Где же и когда я видел все это? Вдруг я вспомнил свой сон... Да, да, это он, это Жак моего сна, бледный, страшно бледный, неподвижно лежащий на диване... Он только что умер... Да, Жак умер, и это ты, Даниэль Эйсет, убил его... В эту минуту слабый солнечный луч робко проникает в комнату через открытое окно и с быстротой ящерицы пробегает по бледному безжизненному лицу... О, радость! Мертвый просыпается, протирает глаза и, увидев меня, говорит с веселой улыбкой:

— Здравствуй, Даниэль! Хорошо спал? А я очень кашлял и перешел на этот диван, чтобы тебя не будить.

В то время как он спокойно говорит мне это,

я чувствую, что ноги мои все еще дрожат от страшного видения, и я мысленно произношу в глубине души:

«Боже, сохрани мне моего Маму Жака!»

Но, несмотря на такое грустное пробуждение, утро прошло довольно весело. Мы даже засмеялись прежним беззаботным смехом, когда, одеваясь, я заметил, что весь мой костюм состоял из коротких панталон и красной длиннополой жилетки, этих старых театральных тряпок, которые были на мне в момент похищения.

— Чорт возьми,—воскликнул Жак. — Нельзя предусмотреть всего, дорогой мой! Одни только неделикатные донжуаны думают о приданом, похищая красавицу... Но ты не беспокойся: мы оденем тебя с ног до головы... Так же, как тогда, когда ты приехал в Париж.

Он говорил это, чтобы доставить мне удовольствие, но он чувствовал так же, как и я, что это было далеко не то.

— А теперь, Даниэль, — продолжал добрый Жак, видя, что я опять задумался, — не будем вспоминать о прошлом. Перед нами открывается новая жизнь, — войдем в нее без угрызений совести, без сомнений и постараемся только, чтобы она не сыграла с нами таких же шуток, как прежняя... Я не спрашиваю тебя, братишка, что ты намерен делать дальше, но если ты думаешь начать какую-нибудь новую поэму, то мне кажется, что здесь тебе будет удобно работать. Комната спокойная, в саду поют птицы. Ты можешь придвинуть столик, за которым будешь сочинять рифмы, к окну...

Я живо прервал его:

— Нет, Жак, больше не надо ни поэм, ни рифм! Все эти фантазии обходятся слишком дорого тебе. Я хочу сейчас делать то, что дела-

ешь ты,— работать, зарабатывать свой хлеб и всеми силами помогать тебе восстановить домашний очаг.

На что Жак, спокойный и улыбающийся, ответил:

— Все это прекрасные планы, господин голубой мотылек, но это совсем не то, что от вас требуется. Дело не в том, чтобы вы зарабатывали свой хлеб, и если бы только вы обещали... Но довольно! Мы поговорим об этом после, а теперь идем покупать костюм.

Чтобы итти в магазин я должен был облечься в сюртук Жака, который доходил мне чуть не до пят и придавал вид странствующего пьемонтского музыканта; недоставало только арфы. Если бы мне пришлось несколько месяцев назад показаться в таком виде на улице,— я умер бы от стыда, но теперь более тяжелый стыд удручал меня, и женщины могли при встрече со мной смеяться сколько им было угодно... Это было не то, что во времена моих калош... Нет, совсем не то!..

— Теперь, когда у тебя приличный вид,— сказал Жак, выйдя из лавки старьевщика,— я провожу тебя в гостиницу Пилуа, а сам отправлюсь к тому торговцу железом, у которого я вел перед отъездом приходо-расходные книги, и узнаю, нет ли у него какой-нибудь работы для меня. Деньги Пьерота не вечны. Нужно подумать о нашем пропитании.

Мне хотелось сказать ему: «Ну, так отправляйся к своему торговцу железом, Жак! Я и один найду дорогу домой». Но я понимал, что он провожает меня для того, чтобы быть уверенным, что я не вернусь в Монпарнасс. Ах, если б он мог читать в моей душе!

... Чтобы успокоить его, я позволил ему

проводить себя до гостиницы, но как только он удалился, я опять поспешил на улицу: у меня тоже были дела!..

Я вернулся поздно. В полумраке сада нетерпеливо шагала какая-то большая черная тень. Это был Жак.

— Ты хорошо сделал, что пришел, — сказал он мне, дрожа от холода. — Я собирался уже ехать в Монпарнасс...

Я рассердился.

— Ты слишком уж не доверяешь мне, Жак, это не великодушно... Неужели так будет всегда? Неужели ты никогда не вернешь мне своего доверия? Клянусь тебе всем, что у меня есть дорогого на свете, что я был не там, где ты думаешь, что эта женщина умерла для меня, что я ее больше никогда не увижу, что я всецело принадлежу тебе и что все это ужасное прошлое, из которого вырвала меня твоя любовь, оставило во мне только угрызения совести и ни малейшего сожаления... Что мне еще сказать, чтобы убедить тебя?.. Ты нехороший! Если б ты мог заглянуть в мою душу, ты увидел бы, что я не лгу.

Я забыл, что он ответил мне; помню только, что он грустно покачал головой, точно желая сказать: «Увы! Мне хотелось бы тебе верить...» А между тем я говорил тогда совершенно искренно. Конечно, один, без его помощи я никогда не нашел бы в себе достаточно мужества, чтобы порвать с этой женщиной, но теперь, когда цепь была уже разорвана, я испытывал невыразимое облегчение. Я походил на человека, который пытается отравить себя угаром и начинает раскаиваться в этом в самую последнюю минуту, когда уже поздно, когда он уже задыхается и не может двинуться! Но вдруг прихо-

дят соседи, вышибают дверь, живительный воздух врывается в комнату, и бедный самоубийца с наслаждением вдыхает его, радуясь жизни и обещая никогда больше этого не делать... Подобно ему, я тоже после пятимесячной нравственной асфиксии жадно вбирал в себя чистый здоровый воздух честной жизни, наполнял им свои легкие и, клянусь, не имел никакого желанья начинать все это сызнова. Но Жак не хотел этому верить, и никакие клятвы в мире не могли убедить его в моей искренности... Бедняга! Я давал ему столько поводов сомневаться во мне!..

Мы провели этот первый вечер дома, сидя у пылавшего камина, как зимой: комната наша была сырая, и вечерний туман, проникая из сада, пробирал нас до мозга костей. К тому же, как вы знаете, когда на душе тоскливо, огонь камина вас как будто веселит.

Жак работал, погрузившись в цифры. В его отсутствие торговец железом вздумал сам вести свои книги, и в результате получился такой хаос, такая путаница в приходе и расходе, что нужен был по меньшей мере месяц усиленной работы, чтобы привести все в порядок. Вы, конечно, понимаете, что я искренно желал бы помочь Маме Жаку в этом деле, но голубые мотыльки ничего не смыслят в арифметике, и после целого часа, проведенного над толстыми коммерческими книгами с красными линейками и странными иероглифами, я принужден был отказаться от этого.

Но Жак прекрасно справлялся с этой сухой работой. Склонив голову над книгами, он углубился в цифры, и их длинные колонны его нимало не пугали. Время от времени он отрывался от работы и, повернувшись ко мне, спра-

шивал несколько встревоженный моей задумчивостью и долгим молчанием:

— Ведь здесь хорошо, правда? Ты не скучаешь?

Я не скучал, но мне было тяжело видеть, что ему приходится столько трудиться, и я с горечью думал: «Для чего я живу на свете?.. Я не умею ничего делать, не плачу трудом за свое место под солнцем. Я годен только на то, чтобы всех мучить и заставлять плакать глаза, которые любят меня». Я думал при этом о Черных глазах и с грустью смотрел на маленький ящичек с позолотой, поставленный Жаком — может быть с умыслом, — на плоскую коронку бронзовых часов. Как много воспоминаний будил во мне этот ящичек! Каким красноречивым укором звучали его слова с высоты бронзового пьедестала! «Черные глаза отдали тебе свое сердце, а что ты с ним сделал? — говорил он мне... — Ты отдал его на съедение диким зверям... Его съела Белая кукушка».

И, храня в глубине души искру надежды, я старался оживить, согреть своим дыханием былое счастье, убитое моей собственной рукой. Я думал: «Может быть, еще не поздно... Может быть, если Черные глаза увидят меня на коленях, они простят меня...» Но этот проклятый маленький ящик был неумолим и все повторял: «Да, его съела Белая кукушка... Его съела Белая кукушка!»

... Этот долгий печальный вечер, проведенный в работе и грезах перед пылающим камином, дает ясное представление о характере предстоявшей нам новой жизни. Все последующие дни походили на этот вечер. Само собой разумеется, что Жак не предавался мечтам. Он сидел с десяти часов утра, погруженный по горло в свои

цифры, в то время как я помешивал угли в камине и говорил этому маленькому ящичку с позолотой: «Побеседуем немножко о Черных глазах! Хочешь?..» — Говорить о ней с Жаком не было никакой возможности. По той или другой причине он избегал всякого разговора на эту тему. И точно так же ни слова о Пьероте. Ничего!.. Но я отводил душу в бесконечных беседах с маленьким ящичком над часами...

Днем, когда я видел Маму Жака, погруженного в коммерческие книги, я неслышными шагами пробирался к двери и незаметно исчезал, проговорив только: «Я скоро вернусь, Жак!»—Он никогда не спрашивал меня, куда я иду, но по его несчастному виду, по его голосу, в котором звучало беспокойство, когда он спрашивал: «Ты уходишь?..» — я понимал, что большого доверия он ко мне не чувствовал. Его постоянно преследовала мысль об этой женщине. Он думал: «Если он с ней снова увидится — все пропало».

И кто знает? Возможно, что он был прав. Возможно, что если б я опять увидел ее, эту проклятую волшебницу, я вновь поддался бы ее чарам, обаянию ее бледно-золотистых волос и белого шрама в углу рта... Но благодарение создателю — я ее больше не видел. Вероятно, какой-нибудь господин «От восьми до десяти» заставил ее забыть Дани-Дана, и я никогда больше ничего не слышал ни о ней самой, ни о ее какаду, ни о ее негритянке Белой кукушке.

Однажды вечером, возвратившись с моей таинственной прогулки, я вошел в нашу комнату с радостным возгласом:

— Жак, Жак! Хорошая новость! Я нашел место... Вот уже десять дней, как я, ничего тебе не говоря, гранил мостовые, бегая с утра до

вечера по городу, в поисках работы... И вот, наконец, это мне удалось... Я нашел место! С завтрашнего дня я поступаю старшим надзирателем в пансион Ули, на улице Монмартр, совсем близко отсюда... Я буду занят там с семи утра до семи вечера... Конечно, мне придется целый день быть вдали от тебя, но по крайней мере я буду зарабатывать свой хлеб и, таким образом, буду помогать тебе.

Жак поднял голову от своих цифр и довольно холодно ответил:

— Ты, действительно, хорошо сделаешь, мой милый, если придешь мне на помощь... Работать одному мне было бы теперь не по силам. Не знаю, что со мной, но с некоторых пор я чувствую себя совершенно развинченным.

Сильный приступ кашля не дал ему договорить. Он с грустным видом бросил перо и, встав из-за стола, лег на диван.

...При виде Жака, неподвижно лежащего на диване, бледного, страшно бледного, мой ужасный сон опять встал передо мною... но всего лишь на одно мгновение... Почти тотчас же Мама Жак поднялся с дивана и, увидев мое встревоженное лицо, весело рассмеялся.

— Пустяки, глупыш! Немножко переутомился... Я слишком много работал... в последнее время... Теперь, когда ты получил место, я могу меньше работать и через неделю совершенно поправлюсь.

Он говорил это так естественно, так непринужденно, с такой веселой улыбкой, что мои грустные предчувствия сразу рассеялись, и в течение целого месяца я не слышал больше в своем сердце ударов их черных крыльев...

На следующий день я вступил в исполнение своих обязанностей в учебном заведении Ули.

Несмотря на великолепную вывеску, пансион Ули представлял собой до смешного маленькую школу, которую содержала одна старенькая дама со спускающимися на уши буклями, Добрый друг, как называли ее дети. В этой школе было около двадцати ребятишек, совсем еще маленьких, таких, которые являются в школу с завтраком в корзинке и с торчащим из штанишек кончиком рубашки.

Госпожа Ули учила их церковным гимнам, а я посвящал их в тайны азбуки. В мои обязанности входило также наблюдать за ними в рекреационные часы во дворе, где было много кур и индейский петух, которого эти господа очень боялись.

Иногда, в те дни, когда Добрый друг страдал приступом подагры, я подметал класс — работа, не совсем подходящая для старшего надзирателя, но я без всякого отвращения исполнял ее, так я был счастлив, что зарабатываю свой хлеб. Вечером, возвращаясь в гостиницу Пилуа, я находил на столе уже готовый обед. Жак меня поджидал... После обеда — непродолжительная прогулка по саду и затем вечер у пылающего камина... Вот вся наша жизнь... Изредка получались письма от госпожи и господина Эйсет. Это было целым событием. Госпожа Эйсет попрежнему жила у дяди Батиста; господин Эйсет все еще разъезжал от фирмы Общество виноделов. Дела шли недурно. Лионские долги были почти уплачены. Через год или два все будет приведено в порядок, и можно будет подумать о том, чтобы опять жить всем вместе...

Я был того мнения, что до наступления этого времени надо было бы выписать госпожу Эйсет к нам в Париж, в гостиницу Пилуа, но Жак этого не желал. «Нет, еще не теперь», — гово-

рил он с каким-то странным выражением лица: «Не теперь... Подождем!» — И этот ответ всегда один и тот же терзал мне сердце. «Он не доверяет мне, — думал я... — Он боится, что я наделаю еще каких-нибудь глупостей, когда госпожа Эйсет будет здесь... Потому-то он и хочет еще подождать»... Я ошибался... Совсем же потому Жак говорил: «Подождем!»

ГЛАВА XV

: : . . . . : .

Читатель, если ты вольнодумец, если сны вызывают у тебя улыбку, если сердце твое никогда не сжималось до боли, до крика от предчувствия грядущих событий, если ты человек положительный, одна из тех железных натур, которые считаются только с реальными фактами и не позволяют ни единой крупице суеверия проникнуть в их мозг; если ты не хочешь верить в сверхъестественное, допускать необъяснимое, — не читай дальше этих воспоминаний! То, что мне остается сказать в этих последних главах, такая же правда, как вечная истина, но ты этому не поверишь.

Это было четвертого декабря... Я возвращался из пансиона Ули поспешнее обыкновенного. Утром, когда я уходил, Жак жаловался на страшную усталость, и мне хотелось поскорее узнать, как он себя чувствует. Проходя через сад, я наткнулся на господина Пилуа, стоявшего у фигового дерева и вполголоса разговаривавшего с каким-то толстым господином, который прилагал большие усилия, чтобы застегнуть свои перчатки.

Я хотел извиниться и пройти мимо, но хозяин гостиницы остановил меня:

— На пару слов, господин Даниэль!

И, повернувшись к толстому господину, прибавил:

— Это тот молодой человек, о котором мы говорили. Мне кажется, что следовало бы предупредить его...

Я остановился заинтригованный. О чем этот толстяк хотел предупредить меня? О том, что его перчатки были чересчур тесны для его лап? Но я и так это видел, чорт возьми!..

С минуту длилось неловкое молчание. Господин Пилуа, закинув голову, разглядывал фиговое дерево, точно ища плодов, которых на нем не было. Толстый незнакомец продолжал свою возню с перчаткой. Наконец, он решил заговорить, но не переставая трудиться над непослушной пуговицей...

— Сударь, — начал он, — я уже двадцать лет состою врачом при гостинице Пилуа и смею уверить...

Я не дал ему договорить. Слово «врач» все объяснило мне.

— Вы были сейчас у моего брата? — спросил я его, дрожа от страха... — Он очень болен? Да?..

Я не думаю, чтобы этот доктор был злой человек, но в эту минуту он больше всего был озабочен своими перчатками и, не думая о том, что говорит с «сыном» Жака, не пытаясь смягчить сколько-нибудь свой удар, резко ответил:

— Очень болен?.. Я думаю!.. Он не доживет до утра...

Удар был жесток... могу вас в этом уверить!.. Дом, сад, Пилуа, доктор — все закружилось, завертелось вокруг меня, и я должен был прислониться к фиговому дереву, чтобы не упасть... Да, у доктора гостиницы Пилуа рука была тя-

желая!.. Но он ничего не заметил и продолжал с полнейшим хладнокровием возиться с перчаткой.

— Это жестокий случай скоротечной чахотки, — прибавил он.— Сделать ничего уж нельзя... Во всяком случае, ничего, что могло бы существенно помочь... К тому же, как всегда бывает в таких случаях, меня позвали слишком поздно.

— Я не виноват, доктор, — сказал добрый Пилуа, все еще продолжая разыскивать на дереве несуществующие плоды, что помогало ему скрывать слезы, — я не виноват. Я давно уже видел, что он болен, бедный господин Эйсет, и несколько раз советовал ему позвать врача, но он ни за что не хотел. Вероятно, он боялся испугать брата... Видите ли, они жили так дружно, эти дети!..

Отчаянное рыдание вырвалось у меня из груди.

— Ну, не надо так, друг мой, мужайтесь! — сказал человек в перчатках уже ласковым тоном. — Кто знает? Наука произнесла свое последнее слово, но природа делает чудеса... Завтра утром я зайду.

Он повернулся на каблуках и удалился со вздохом облегчения: он застегнул, наконец, свою перчатку!

Я постоял еще с минуту в саду, вытирая слезы и стараясь притти в себя, потом, призвав на помощь все свое мужество, с деланно развязным видом вошел в нашу комнату...

Картина, представившаяся моим глазам, наполнила меня ужасом.. Жак, желая, очевидно, предоставить мне кровать, велел положить себе тюфяк на диван и там, на этом диване я теперь увидел его... Он лежал неподвижный, бледный, страшно бледный... точь-в-точь Жак моего сна!..

Первой моей мыслью было броситься к нему, схватить его на руки и перенести на кровать или на другое место, все равно куда, лишь бы только унести *отсюда*... Но я тут же сообразил, что это будет мне не под силу, что он слишком тяжел для меня. И тогда, поняв, что Мама Жак обречен лежать на том самом месте, где, согласно моему сну, он должен был умереть, я потерял всякое самообладание; маска напускной веселости, которую надевают для того, чтобы успокоить умирающих, спала с моего лица, и весь в слезах я бросился на колени перед диваном.

Жак с усилием повернулся ко мне.

— Ты, Даниэль?.. Ты встретил доктора, да?.. А ведь я так просил этого толстяка не пугать тебя... Но по твоему виду ясно, что он меня не послушался, и ты все знаешь... Дай мне руку, братишка! Ну кто, чорт возьми, мог ожидать подобной вещи?.. Люди едут в Ниццу, чтобы лечить свои легкие, а я поехал туда, чтобы заболеть... Это действительно оригинально... Нет, послушай! Если ты будешь так отчаиваться, ты отнимешь все мое мужество, а его у меня не так уж много... Сегодня утром, после твоего ухода, я понял, что дело плохо, и послал за священником церкви св. Петра. Он был у меня и сейчас опять придет, принесет святые дары... Это будет приятно нашей матери, понимаешь?.. Он, повидимому, очень добрый человек, этот священник... Зовут его так же, как и твоего друга в Сарландском коллеже...

Он не мог больше говорить, откинулся на подушки и закрыл глаза. Я подумал, что он умирает, и громко закричал:

— Жак!.. Жак! друг мой!..

Он ничего не ответил, только махнул рукой, точно желая сказать: «Тише! Тише!»

В эту минуту дверь отворилась, и господин Пилуа вошел в комнату в сопровождении добряка Пьерота, который точно шар подкатился к дивану, воскликнув:

— Что я слышу, господин Жак?.. Вот уж, правда, можно сказать!..

— Здравствуйте, Пьерот, — проговорил Жак, открывая глаза.—Здравствуйте, старый друг. Я был уверен, что вы придете по первому зову... Пусти его сюда, Даниэль: нам нужно поговорить.

Пьерот приблизил свою большую голову к бескровным губам умирающего, и в течение нескольких минут они разговаривали шопотом. Стоя неподвижно посреди комнаты, я молча смотрел на них... Я все еще держал свои книжки подмышкой. Пилуа тихонько взял их у меня и что-то мне сказал, но я не расслышал. Потом он зажег свечи и покрыл стол белой скатертью. «Зачем накрывают стол?— спрашивал я себя.— Разве мы будем сейчас обедать? Но я совсем не голоден...»

Надвигалась ночь. В саду жильцы гостиницы делали друг другу знаки, указывая на наши окна. Жак и Пьерот продолжали беседовать. Время от времени я слышал, как севенец говорил своим зычным, теперь полным слез, голосом: «Да, господин Жак!.. Да, господин Жак!..» — Но подойти к ним я не решался... Наконец, Жак подозвал меня и велел мне встать у его изголовья, рядом с Пьеротом.

— Даниэль, голубчик, — начал он после долгой паузы,—мне очень больно, что я должен тебя покинуть... Одно только утешает меня: я не оставляю тебя одиноким в жизни... С тобой будет Пьерот, добрый Пьерот, который прощает тебя и обещает заменить меня...

— Да, господин Жак!.. обещаю... Вот уж, правда, можно сказать... обещаю!..

— Видишь ли, дружок, — продолжал Мама Жак, — ты один никогда не смог бы восстановить наш домашний очаг... мне не хотелось бы огорчать тебя, но ты плохой восстановитель очага... Но, думаю, что при помощи Пьерота тебе все-таки удастся осуществить нашу мечту... Я не прошу тебя сделаться настоящим мужчиной: я считаю, как и аббат Жерман, что ты всю свою жизнь останешься ребенком. Но умоляю тебя быть всегда добрым, честным ребенком и, главное... придвинься поближе, чтобы я мог сказать тебе это на ухо... Главное, не заставляй плакать Черные глаза.

Тут мой бедный, любимый Жак замолчал и потом, передохнув, продолжал:

— Когда все будет кончено, ты напишешь папе и маме. Только им надо будет сообщить об этом не сразу, а понемножку... Сразу это было бы им слишком больно... Ты понимаешь теперь, почему я не хотел выписывать сюда госпожу Эйсет? Мне не хотелось, чтобы она была здесь в это время... Это слишком тяжелые минуты для матерей...

Он умолк и взглянул по направлению двери.

— Вот и святые дары, — сказал он, улыбаясь. И он сделал нам знак отойти.

Принесли причастие. На белой скатерти, среди восковых свечей поставили святые дары и святое миро. Священник подошел к постели, и началось таинство. Когда оно кончилось, — как бесконечно долго тянулось время! — Жак тихонько подозвал меня к себе.

— Поцелуй меня, — сказал он, и голос его был такой слабый, точно он доносился откуда-то издалека. И он, действительно, должен был быть

уже очень далеко, так как прошло около двенадцати часов с тех пор, как эта ужасная скоротечная чахотка взвалила его на свою костлявую спину и со страшной быстротой мчала его в объятия смерти...

Когда я подошел к нему и наклонился, чтобы поцеловать его, наши руки встретились. Его милая рука была совсем влажная от пота агонии... Я взял ее в свои и больше не выпускал... Не знаю, сколько времени оставались мы в таком положении, — может быть час, может быть вечность... Не знаю... Жак уже не видел меня, не говорил со мной... Но несколько раз его рука шевельнулась в моей, точно желая мне сказать: «Я чувствую, что ты здесь». Вдруг сильная дрожь потрясла все его бедное тело... Он раскрыл глаза и посмотрел вокруг, точно ища кого-то... Я нагнулся к нему и услышал, как он два раза совсем тихо прошептал: «Жак, ты осел!.. Жак, ты осел!..»— И больше ничего... Ничего... Он был мертв...

... О, мой сон!..

В эту ночь бушевал страшный ветер. Декабрь бросал в стекла окон целые пригоршни мерзлого снега. На столе, в конце комнаты, между двух зажженных свечей сверкало серебряное распятие. На коленях перед распятием незнакомый мне священник громким голосом, заглушаемым порой шумом ветра, читал молитвы... Я не молился. Я даже не плакал... Одна только мысль занимала меня: я хотел согреть руку моего дорогого Жака, которую я крепко сжимал в своих руках. Увы! По мере приближения утра рука эта становилась все тяжелее, все холоднее...

Наконец, священник, читавший перед распятием молитвы, встал и, подойдя ко мне, дотронулся до моего плеча.

— Попробуй молиться,—сказал он.—Это облегчит тебя.

Тут только я узнал его... Это был мой старый друг из Сарландского коллежа, сам аббат Жерман, с его прекрасным, обезображенным оспой лицом, и с внешностью драгуна в рясе... Горе так ошеломило меня, что я ничуть не удивился его появлению. Оно казалось мне вполне естественным... Но вот каким образом он очутился здесь:

В тот день, когда Малыш уезжал из коллежа, аббат Жерман сказал ему: «У меня в Париже брат-священник, прекрасный человек. Но к чему давать тебе его адрес?.. Я уверен, что ты все равно не пойдешь к нему». Но посмотрите, что значит судьба! Этот брат аббата был священником в церкви св. Петра, и это именно его мой бедный Мама Жак позвал к своему смертному ложу. Случилось так, что аббат Жерман был как раз в это время проездом в Париже и жил у брата. Вечером 4 декабря брат сказал ему, вернувшись домой:

— Я только что соборовал одного юношу, который умирает недалеко отсюда. Надо помолиться за него, аббат.

Аббат ответил:

— Я помолюсь завтра за обедней. Как его имя?

— Постой... Имя у него южное, довольно мудреное... Жак Эйсет... Да, да, правильно... Жак Эйсет...

Это имя напомнило аббату одного маленького репетитора, которого он знал в Сарландском коллеже. И, не теряя ни минуты, он побежал в гостиницу Пилуа. Войдя в комнату, он увидел меня у дивана, судорожно уцепившегося за руку Жака. Он не захотел меня тревожить и вы-

слал всех из комнаты, сказав, что проведет ночь со мною. Потом, опустившись на колени, он стал молиться и только к утру, встревоженный моей неподвижностью, поднялся с колен, подошел ко мне и назвал себя.

С этой минуты я почти ничего больше не помню. Конец этой ужасной ночи, наступивший за нею день и целый ряд других дней оставили во мне только смутные, неясные воспоминания. В моей памяти образовался большой пробел. Помню, однако, но смутно, словно это было много веков тому назад, нескончаемое шествие по парижской грязи за черными дрогами. Вижу, как я иду с непокрытой головой между Пьеротом и аббатом Жерманом. Холодный дождь с градом хлещет нам в лицо. Пьерот держит большой зонтик, но держит его так неуклюже, и дождь льет так сильно, что ряса аббата совершенно промокла и блестит... А дождь все идет, все идет...

Рядом с нами, около дрог—высокий господин весь в черном, с палочкой из черного дерева в руках. Это церемониймейстер, нечто вроде камергера смерти. Как все камергеры, он в шелковой мантии, при шпаге, в коротких штанах и в треуголке... Но... не галлюцинация ли это? Я нахожу, что он ужасно похож на Вио, инспектора Сарландского коллежа. Он такой же длинный, так же склоняет голову набок и каждый раз, когда смотрит на меня, по губам его пробегает такая же фальшивая ледяная улыбка, как и у того ужасного «человека с ключами». Это не Вио, но, может быть, это его тень...

Черные дроги подвигаются, но так медленно, так ужасно медленно... Мне кажется, что мы никогда не дойдем... Но вот, наконец, мы в каком-то саду, в печальном саду, полном желтой

грязи, в которой мы вязнем по самые щиколотки... Мы останавливаемся у края большой ямы. Какие-то люди в коротких плащах приносят тяжелый ящик, который нужно в эту яму опустить. Это дело нелегкое. Веревки, затвердевшие от дождя, не скользят. Я слышу, как один из этих людей кричит: «Ногами вперед! Ногами вперед!..» Против меня, по другую сторону ямы, тень Вио, склонив голову набок, продолжает мне улыбаться. Длинная, худая, затянутая в траурные одежды, она вырисовывается на сером фоне неба подобно большой, мокрой, черной саранче...

Теперь я один с Пьеротом. Мы идем по Монмартрскому предместью... Пьерот ищет фиакр, но не находит. Я иду рядом с ним, держа шляпу в руке; мне кажется, что я все еще иду за траурными дрогами... По дороге прохожие оглядываются на нас,— на толстяка, который зовет извозчика, громко рыдая, и на юношу, идущего с непокрытой головой под проливным дождем...

Мы идем, все идем... Я устал, голова моя тяжела... Вот, наконец, Сомонский пассаж, бывший торговый дом Лалуэта с его раскрашенными ставнями, по которым течет зеленая вода... Не заходя в лавку, мы поднимаемся к Пьероту... На лестнице силы изменяют мне. Я опускаюсь на ступеньку. Невозможно итти дальше; голова моя слишком тяжела... Тогда Пьерот берет меня на руки и в то время, как он несет меня к себе полумертвого, дрожащего от лихорадки, я слышу, как стучит град об оконные стекла и как громко шумит вода, падая из желобов на мощенный камнями двор... Дождь идет... все идет... О, какой дождь!..

ГЛАВА XVI
КОНЕЦ СНА

Малыш болен... Малыш умирает... На мостовой перед Сомонским пассажем широкая настилка из соломы, которую меняют каждые два дня. «Там, наверху умирает какой-нибудь богатый старик»... говорят при виде этой настилки прохожие. Нет! Это умирает не богатый старик, а Малыш... Все врачи приговорили его. Две тифозные горячки в течение двух лет!.. Этого чересчур много для мозжечка колибри! Ну, скорей же! Запрягайте траурные дроги. Пусть саранча готовит свой жезл из черного дерева и траурную улыбку! Малыш болен. Малыш умирает.

Глубокая печаль царит в бывшем торговом доме Лалуэт. Пьерот лишился сна, Черные глаза в отчаянии. Дама высоких качеств яростно перелистывает своего Распайля и молит «святую» камфору сотворить новое чудо, исцелив дорогого больного. Желтая гостиная опустела, рояль безмолствует, флейта висит на стене... Но что особенно терзает душу — это вид маленькой женщины в черном платье, которая целыми днями сидит в уголке с вязаньем в руках. Ничего не говорит она, только крупные слезы катятся у нее по щекам...

Но в то время, как бывший торговый дом Лалуэт проводит все дни и ночи в слезах, сам Малыш спокойно лежит на большой постели, на пуховой перине, не подозревая о том, сколько слез льется из-за него. Глаза у него открыты, но он ничего не видит; окружающее не доходит до его сознания. Он ничего не слышит—ничего, кроме какого-то глухого шума, смутного гула, как будто у него вместо ушей две морские ра-

ковины из тех больших раковин с розовыми краями, в которых слышится шум моря... Он не говорит, не думает, он точно больной цветок... Только бы лежал у него на голове холодный компресс и кусочек льда во рту — больше ему ничего не надо. Когда лед тает, когда компресс высыхает на его пылающей голове,— он глухо стонет — это весь его разговор.

Так проходит много дней, дней без часов, дней полного хаоса—и вдруг, в одно прекрасное утро Малыш испытывает странное ощущение. Словно его только что вытащили со дна моря. Его глаза видят, уши слышат, он приходит в себя... Мыслительный аппарат, дремавший в одном из уголков его мозга с его тонким, как волосы феи, механизмом, просыпается и приходит в движение; он двигается сначала медленно, потом немного быстрее, затем с бешеной быстротой,—тик! тик! тик!—можно подумать, что все сейчас разлетится вдребезги. Чувствуется, что этот замечательный аппарат создан не для сна и что он желает теперь наверстать потерянное время... Тик! Тик! Тик!.. Мысли скрещиваются и спутываются, как шелковые нити... «Где я, бог мой?.. Что это за постель—такая большая?.. А эти три женщины там у окна, что они делают?.. И это черное платье, которое сидит ко мне спиной, разве я его не знаю?.. Мне кажется, что...»

И чтобы лучше разглядеть это черное платье, которое ему кажется знакомым, Малыш с трудом приподнимается на локте, нагибается, но тотчас же в ужасе опрокидывается назад... Прямо против него посреди комнаты он видит большой ореховый шкаф со старинными железными украшениями. Он узнает его... Он уже видел его во сне, в том ужасном сне... Тик! Тик! Тик!

Мыслительный аппарат начинает двигаться с быстротой ветра... Теперь Малыш вспомнил... Гостиница Пилуа, смерть Жака, похороны, возвращение с Пьеротом под проливным дождем,— он все теперь вспомнил... все... Увы! Возрождаясь к жизни, несчастный Малыш возрождается для страдания и первое его слово — стон. Услыхав этот стон, все три женщины, работающие у окна, вздрагивают. Одна из них, самая молодая, встает с криком:—Льда! льда!—подбегает к камину, берет кусочек льда и подносит к губам Малыша. Но Малыш не хочет льда... Он тихонько отталкивает руку, ищущую его губ,— слишком изящную руку для сиделки! — и говорит дрожащим голосом:

— Здравствуйте, Камилла!..

Камилла Пьерот так поражена тем, что умирающий заговорил, что в полном изумлении стоит неподвижно с протянутой рукой, и кусочек прозрачного льда дрожит в ее розовых пальцах.

— Здравствуйте, Камилла! — повторяет Малыш.—Я прекрасно узнал вас, поверьте!.. Голова моя теперь в полном порядке... А вы? Видите ли вы меня?.. Можете вы меня видеть?..

Камилла Пьерот широко раскрывает глаза.

— Вижу ли я вас, Даниэль?.. Ну, разумеется, я вас вижу!..

Тогда, при мысли, что шкаф солгал, что Камилла Пьерот не ослепла, что его сон, страшный сон, не оказался пророческим до конца, Малыш набирается храбрости и решается задать еще несколько вопросов.

— Я был очень болен, не правда ли, Камилла?

— Да, Даниэль, очень больны...

— И я лежу уже давно?..

— Завтра будет три недели...

— Боже мой! Три недели!.. Уже три недели, как Мама Жак...:

Он не кончает фразы и, рыдая, прячет голову в подушки...

В эту минуту в комнату входит Пьерот с новым доктором (если болезнь продлится, тут перебывает вся медицинская академия), знаменитым доктор Брум-Брумом, который сразу приступает к делу и не занимается застегиванием своих перчаток у изголовья больных. Он подходит к Малышу, щупает пульс, осматривает глаза, язык, потом, обращаясь к Пьероту, говорит:

— Что же вы мне сказки рассказывали?.. Ведь он выздоровел, ваш больной!..

— Выздоровел??!—повторяет Пьерот, складывая молитвенно руки.

— Настолько выздоровел, что вы немедленно выбросьте весь этот лед за окошко и дайте вашему больному крылышко цыпленка, которое он запьет Сен-Эмильоном... Ну, ну, перестаньте отчаиваться, милая барышня, через неделю этот молодчик, так ловко надувший смерть, будет уже на ногах,—могу вас в этом уверить... А пока, эти дни держите его еще в постели и охраняйте от всяких волнений и потрясений. Это самое главное... Остальное предоставим природе — она лучше умеет ухаживать за больными, чем мы с вами...

Затем знаменитый доктор Брум-Брум дает щелчок в нос пациенту, улыбается мадемуазель Камилле и быстро удаляется в сопровождении добряка Пьерота, который плачет от радости и все время повторяет:

— Ах, господин доктор, вот уж, правда, можно сказать!..

После их ухода Камилла хочет заставить больного уснуть, но тот энергично протестует.

— Не уходите, Камилла, прошу вас... Не оставляйте меня одного... Как вы хотите, чтобы я спал, когда у меня такое горе?..

— Да, Даниэль, это необходимо. Необходимо, чтобы вы уснули. Вам нужен покой; это доктор сказал... Ну, послушайтесь, будьте же благоразумны, закройте глаза и не думайте ни о чем... Я скоро опять приду и, если узнаю, что вы спали, останусь дольше.

— Я сплю... сплю...—говорит Малыш, закрывая глаза. Потом, спохватившись: — Еще одно слово, Камилла... что это за черное платье я видел здесь?

— Черное платье?!.

— Ну, да! Вы отлично знаете. Маленькая женщина в черном платье, которая работала там с вами у окна... Сейчас ее нет... Но я только что видел ее, я в этом уверен.

— Нет, Даниэль, вы ошибаетесь... Я работала здесь сегодня все утро с госпожой Трибу, знаете, с вашим старым другом, которую вы называли дамой высоких качеств. Но госпожа Трибу не в черном... она все в том же зеленом платье... Вы, верно, видели это во сне... Итак, я ухожу... Спите хорошенько...

С этими словами Камилла Пьерот поспешно уходит, очень смущенная, с пылающими щеками, словно она только что солгала. Малыш остается один, но уснуть он все же не может. Машина с тонкими колесиками с дьявольской быстротой вертится в его голове. Шелковые нити спутываются... Он думает о своем дорогом Жаке, покоящемся на Монмартрском кладбище; он думает о Черных глазах, об этих чудных звездах, точно нарочно для него зажженных

провидением, и теперь... В эту минуту дверь тихо, тихо приотворяется, кто-то хочет войти в комнату, и почти тотчас же за тем слышится голос Камиллы, произносящий шопотом:

— Не входите!.. Волнение убьет его, если он вдруг проснется!..

Дверь медленно закрывается, так же тихо, как и открылась, но, к несчастию, подол черного платья попадает в щель, и Малыш это видит.

Сердце его вдруг точно рванулось куда-то... Глаза загораются, и, приподнимаясь на локте, он громко кричит:

— Мама! Мама! Почему же вы не идете меня поцеловать?..

Дверь тотчас же отворяется, женщина в черном платье не может дольше сдерживаться и устремляется в комнату. Но вместо того, чтобы подойти к постели, она идет в противоположный конец комнаты, простирая руки и восклицая:

— Даниэль! Даниэль!

— Сюда, мама!.. — зовет со смехом Малыш, протягивая к ней руки.—Сюда!.. Разве вы меня не видите?!.

Тогда, полуобернувшись к нему и ощупывая дрожащими руками окружающие предметы, госпожа Эйсет говорит раздирающим душу голосом:

— Увы, нет, мое сокровище, я не вижу тебя и никогда уже больше не увижу... Я ослепла!..

Малыш громко вскрикивает и падает навзничь на подушки... Конечно, нет ничего удивительного в том, что после двадцати лет страданий и лишений, после смерти двух сыновей, разорения домашнего очага и разлуки с мужем слезы выжгли дивные глаза госпожи Эйсет. Но для Малыша— какое это совпадение с его сном! Какой страш-

ный последний удар приберегла для него судьба! Не умрет ли он от него?

Нет!.. Малыш не умрет. Он не должен умереть. Что будет без него с его бедной слепой матерью? Где возьмет она слез, чтобы оплакивать третьего сына? Что будет с отцом Эйсетом, этой жертвой коммерческой честности, которому некогда даже приехать обнять своего больного сына и положить цветок на могилу умершего?.. Кто же восстановит тогда их очаг, этот домашний очаг, куда придут в один прекрасный день оба старика погреть свои бедные озябшие руки?.. Нет, нет! Малыш не хочет умирать! Наоборот, он изо всех сил цепляется теперь за жизнь... Ему сказали, что для того, чтобы выздороветь, он ни о чем не должен думать—и он не думает; что ему не следует говорить—и он не говорит; что ему не следует плакать—и он не плачет... Удовольствие видеть, как он спокойно лежит в своей постели с открытыми глазами, играя кисточками пухового одеяла. Идеально спокойное выздоровление!..

Весь «бывший дом Лалуэт» безмолвно хлопочет и суетится вокруг него. Госпожа Эйсет проводит все дни у его постели с вязаньем в руках; дорогая сердцу больного слепая так привыкла к своим длинным спицам, что вяжет так же хорошо, как и тогда, когда была зрячей. Тут же и дама высоких качеств, а в дверях то и дело появляется доброе лицо Пьерота. Даже флейтист, и тот несколько раз в день поднимается наверх справиться о здоровье больного. Нужно, однако, сказать, что флейтист приходит не ради больного; его привлекает дама высоких качеств... С тех пор как Камилла Пьерот решительно заявила, что не желает ни его, ни его флейты, пылкий музыкант повел атаку на вдову Трибу.

Не такая богатая и не такая хорошенькая, как дочь севенца, она все же обладала известной долей привлекательности и некоторыми сбережениями. С этой романической матроной флейтист не терял времени: после третьей беседы в воздухе уже чувствовалось свадебное настроение и даже делались намеки на приобретение лавки лекарственных трав на улице Ломбарди на сбережения госпожи Трибу. И вот для того, чтобы не дать заглохнуть этим блестящим планам, молодой виртуоз и заходит так часто узнавать о здоровье больного.

А что же мадемуазель Пьерот? Почему не упоминают о ней? Разве ее нет в доме?.. Конечно, она дома, но только с тех пор как больной вне опасности, она почти никогда не входит в его комнату. Если же и входит, то только на минутку, для того чтобы взять слепую и отвести ее к столу. Но с Малышом никогда ни слова... Как далеки времена Красной розы, времена, когда для того, чтобы сказать: «Я вас люблю», Черные глаза открывались, как два бархатные цветка! Больной вздыхает в своей постели, думая об улетевшем счастье. Он видит, что его больше не любят, что его избегают, что он внушает отвращение... Но ведь он сам этого хотел и не имеет права жаловаться... А между тем как хорошо было бы после всего пережитого согреть свое сердце любовью! Так хорошо было бы поплакать на плече друга!.. «Но сделанного уже не поправишь!— говорит себе Малыш.—Не будем же больше об этом думать. Прочь мечты! Теперь речь идет не о личном счастье, а о том, чтобы исполнить свой долг. Завтра же я поговорю с Пьеротом!..»

И действительно, на следующий день, когда севенец на цыпочках крадется через комнату,

направляясь в магазин, Малыш, уже с рассвета поджидавший его за своими занавесками, тихонько зовет его:

— Господин Пьерот! Господин Пьерот!

Пьерот подходит к постели, и больной, видимо очень взволнованный, говорит ему, не поднимая глаз:

— Теперь, когда я на пути к полному выздоровлению, добрый мой господин Пьерот, мне нужно серьезно поговорить с вами. Я не стану благодарить вас за все, что вы делаете для моей матери и для меня...

Севенец поспешно прерывает его:

— Ни слова об этом, господин Даниэль! Все, что я делаю, я обязан был сделать. Мы условились об этом с господином Жаком.

— Да, я знаю, Пьерот, что у вас на это всегда один и тот же ответ... Но сейчас я хочу говорить с вами совсем о другом. Я позвал вас для того, чтобы обратиться к вам с просьбой. Ваш приказчик скоро уйдет от вас, не возьмете ли вы меня на его место? Пожалуйста, Пьерот, выслушайте меня. Не говорите «нет», не дослушав до конца... Я знаю, что после своего недостойного поведения я не имею права жить среди вас. В вашем доме есть лицо, которому неприятно мое присутствие, которое ненавидит меня и вполне справедливо... Но если я устрою так, что меня никогда не будут видеть, если я обязуюсь никогда не приходить сюда, если я всегда буду в магазине, если я буду принадлежать вашему дому, как те большие дворовые собаки, которых никогда не пускают в жилые комнаты,— примете ли вы меня на таких условиях?..

Пьероту очень хочется взять в свои толстые руки кудрявую голову Малыша и крепко расцеловать ее, но он сдерживается и спокойно отвечает:

— Вот что, господин Даниэль: прежде чем что-либо ответить вам, я должен посоветоваться с малюткой. Мне лично подходит ваше предложение, но я не знаю, как она... Впрочем, мы сейчас увидим. Она, наверно, уже встала... Камилла! Камилла!

Камилла Пьерот, трудолюбивая, как пчела, занята поливкой красного розана в гостиной. Она входит в комнату в утреннем капоте, с зачесанными кверху, как у китаянок, волосами, свежая, улыбающаяся, пахнущая цветами.

— Послушай, малютка, — говорит севенец.— Господин Даниэль желает поступить к нам приказчиком... Но так как он думает, что его присутствие будет тебе очень неприятно...

— Очень неприятно?!.—прерывает Камилла, меняясь в лице.

Она не произносит больше ни слова, но Черные глаза говорят за нее. Да, Черные глаза опять появились перед Малышом—глубокие, как ночь, сияющие, как звезды; и с таким жаром, с такой страстью восклицают они: «Люблю тебя! Люблю!», что сердце бедного больного тоже начинает пылать.

Тогда Пьерот, лукаво посмеиваясь, говорит:

— Ну, в таком случае вам нужно объясниться... Тут какое-то недоразумение...

И, подойдя к окну, он начинает выбивать на стекле веселый народный севенский танец. Потом, когда ему кажется, что дети все уже выяснили,—боже, они едва успели обменяться двумя словами! —он подходит к ним и вопросительно смотрит на них.

— Ну что?

— Ах, Пьерот,—говорит Малыш, протягивая ему руку.—Она так же добра, как и вы: она меня простила!

С этой минуты выздоровление больного идет с такой быстротой, точно шагает в семимильных сапогах... Еще бы! Черные глаза теперь не выходят из его комнаты. Целыми днями строят они планы будущей жизни, говорят о свадьбе, о восстановлении домашнего очага. Говорят также о дорогом Жаке, и это имя вызывает горячие слезы. Но все равно в «бывшем доме Лалуэт» теперь чувствуется любовная атмосфера. А если кто-нибудь усомнится в том, что любовь может цвести среди траура и слез, то я посоветую ему сходить на кладбище и посмотреть, сколько прелестных цветов вырастает на могилах.

Впрочем, не подумайте, что страсть заставила Малыша забыть свой долг. Как ни хорошо ему в этой большой постели, где он лежит, охраняемый госпожой Эйсет и Черными глазами, он спешит скорее выздороветь, встать, спуститься в магазин. Это, конечно, не значит, чтобы его очень прельщал фарфор, но он жаждет начать жизнь, полную самоотвержения и труда, пример которой показал ему Мама Жак. В конце концов все же лучше торговать тарелками в Пассаже, как говорила трагическая актриса Ирма Борель, чем подметать пол в заведении Ули или быть освистанным в Монпарнасском театре. Что касается Музы, то о ней больше и не упоминается. Даниэль Эйсет попрежнему любит стихи, но не свои, и в тот день, когда владелец типографии, которому надоело хранить у себя девятьсот девяносто девять экземпляров «Пасторальной комедии», отослал все эти книги в Сомонский пассаж, у несчастного поэта хватило мужества сказать:

— Все это надо сжечь.

На что более рассудительный Пьеро ответил:

— Сжечь?!. Ну, нет! Я предпочитаю оставить

их в магазине... Я найду им применение... Вот уж, правда, можно сказать... Мне как раз надо будет вскоре отправить в Мадагаскар партию рюмок для яиц. Повидимому, с тех пор, как в этой стране узнали, что жена английского миссионера ест яйца всмятку, никто не хочет употреблять их в ином виде... И потому, с вашего позволения, господин Даниэль, ваши книги пойдут на обертку рюмок!

И действительно, две недели спустя «Пастора́льная комедия» отправилась в путь на родину знаменитой Ранавалоны. Да пошлет ей там судьба больший успех, чем в Париже!

... А теперь, читатель, прежде чем кончить эту историю, я хочу еще раз ввести тебя в желтую гостиную. Дело происходит в одно из воскресений, в зимний, холодный, но ясный, залитый солнцем день. Все сияют в «доме бывшем Лалуэт». Малыш совсем выздоровел и в этот день в первый раз встал с постели. Утром, в честь такого счастливого события, принесли в жертву Эскулапу несколько дюжин устриц, прибавив к ним несколько бутылок белого туренского вина. Все собрались в гостиной. Хорошо, уютно, огонь в камине пылает, и на покрытых инеем оконных стеклах солнце рисует серебряные пейзажи.

Сидя перед камином на низенькой скамейке у ног задремавшей слепой, Малыш шопотом беседует с мадемуазель Пьерот. Щеки мадемуазель Пьерот краснее красной розы в ее волосах. И это понятно: она сидит так близко к огню!.. По временам точно где-то скребет мышь: это «Птичья голова» клюет в углу свой сахар. Потом слышится жалобный возглас: дама высоких качеств начинает проигрывать в безик деньги, предназначенные на покупку лавки лекарствен.

ных трав! Обратите внимание на торжественный вид госпожи Лалуэт, которая выигрывает, и на тревожную улыбку флейтиста, который проигрывает.

А Пьерот?.. О, Пьерот тут же... Он у окна, полускрытый длинной желтой портьерой, весь углубленный в свою работу, от которой его бросает даже в пот. На столике перед ним циркуль, карандаш, линейки, наугольники, тушь, кисти и длинный кусок картона, который он покрывает какими-то странными знаками... Работа, повидимому, нравится ему. Каждые пять минут он поднимает голову, склоняет ее немного набок и, глядя на свою мазню, с довольным видом улыбается.

Что же это за таинственная работа?..

Подождите, сейчас мы это узнаем... Пьерот кончил. Он выходит из своего убежища, тихонько подкрадывается к Камилле и Малышу и неожиданно подносит к их глазам свой большой картон, со словами:

— Смотрите, влюбленные! Как вы это находите?

В ответ раздаются два возгласа:

— О, папа!..

— О, господин Пьерот!..

— Что случилось?.. Что это такое?..—спрашивает бедная слепая, внезапно проснувшись.

Пьерот отвечает радостным тоном:

— Что это такое, мадемуазель Эйсет?.. Это... Это... вот уж, правда, можно сказать... Это проект новой вывески, которую мы через несколько месяцев поместим над магазином... Господин Даниэль, прочтите-ка ее вслух, чтобы можно было судить об эффекте.

В глубине души Малыш проливает последние слезы над своими голубыми мотыльками и, взяв

в руки картон—ну, смелее, будь мужчиной, Малыш!—читает громким твердым голосом вывеску, на которой его будущность начертана огромными буквами, каждая в фут величиной:

ФАРФОР И ХРУСТАЛЬ
ТОРГОВЫЙ ДОМ БЫВШИЙ ЛАЛУЭТА
ЭЙСЕТ И ПЬЕРОТ
ПРЕЕМНИКИ

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 20. Революция 18...— революция 1848 года.

К стр. 21. Мистраль — холодный и сухой северо-западный ветер, дующий в Южной Франции.

К стр. 25. Францисканцы — католический монашеский орден, основанный в 1208 году.

К стр. 25. Quaerens quem devoret — ища кого бы пожрать.

К стр. 25. Люцифер (лат.)—дьявол, сатана, дух зла.

К стр. 32. Карбонад — мясо, жареное на углях.

К стр. 35. Антифон (греч.) — попеременное пение двух хоров, стоящих на противоположных клиросах, или священника и хора, а также и самый стих из псалмов, произносимый священником и повторяемый хором.

К стр. 36. Sanctus — «свят», начинающаяся этим словом молитва в католическом богослужении.

К стр. 41. Dominus vobiscum (лат.) — «господь да пребудет с вами».

К стр. 53. Академия. — Во Франции вся сеть учебных заведений делится территориально на «Академии» — учебные округа.

К стр 55. Мать «товарищей». — Во Франции еще с средних веков странствующие подмастерья объединялись в компаньонажи (компаньон — сотоварищ, подмастерье) — корпорации подмастерьев. В каждом более или менее значительном городе они имели свою общую квартиру-станцию, именуемую «Матерью», обычно в трактире.

К стр. 56. Тамплиеры — один из рыцарско-монашеских орденов, которые были основаны в XII веке в Палестине после захвата ее крестоносцами.

К стр. 58. Империал — верх дорожного экипажа с местами для сиденья.

К стр. 60. До 89 года — до Первой французской буржуазной революции, началом которой считается 14 июля, когда парижским народом была взята Бастилия.

К стр. 62. Ecce Homo — «Се человек!» — слова Пилата об Иисусе; также изображение последнего с терновым венцом.

К стр. 68. Абсент — горький ароматный ликер, приготовленный перегонкой спирта с полынью, анисом или прибавлением эфирных масел этих растений.

К стр. 76. Desinat in piscem — «окончить рыбой» — начальные слова четвертого стиха «Поэтического искусства» Горация.

К стр. 84. Мирабо, Габриэль-Оноре (1749—1791), граф — член Национального собрания в Первую французскую буржуазную революцию, монархист-конституционалист; выдающийся оратор. Здесь намек на то, что Мирабо был рябой.

К стр. 85. Кондильяк, Этьен (1715—1780) — французский философ; выводил все познание из ощущений.

К стр. 91. Вольер — большая проволочная сетка для птиц в саду; птичник.

К стр. 98. Veni creator Spiritus — «прииди, создатель» — начинающийся этими словами церковный гимн.

К стр. 100. Пиндар (521—441 до н. э.) — знаменитый древнегреческий поэт.

К стр. 101. Вергилий (70—19 до н. э.) — знаменитый римский поэт, прославившийся своими поэмами — «Энеидой», «Георгиками» и «Эклогами».

К стр. 102. Ферула — пластинка из кожи или дерева, которой били по ладоням ленивых школьников; отсюда переносное значение — стеснительный надзор, указка, руководство.

К стр. 103. Ассигнаты IV года — бумажные денежные обязательства, своего рода закладные листы, выпущенные в начале Первой французской буржуазной революции в декабре 1789 года Национальным собранием и обеспеченные вначале государственными землями. С 1793 года они начали выпускаться в неограниченном количестве, курс стал вследствие этого падать, и к 1795 году (четвертому году существования республики) они потеряли почти всякую ценность.

К стр. 103. Макаки — род обезьян.

К стр. 111. Красные штаны — форменные брюки красного цвета во французской армии.

К стр. 114. Эльвира, — Юлия Шарль — молодая креолка, вышедшая замуж за старого ученого. Влюбленный в нее романтический поэт Альфонс Ламартин (1790—1869) воспел ее под именем Эльвиры в ряде стихотворений и в романе «Рафаэль» описал ее в идеальных тонах.

К стр. 114. Софи, жена маркиза Монье, — возлюбленная Мирабо, которой он, будучи в заключении в Венсенском замке в 1777—1782 гг., писал страстные письма.

К стр. 115. Fanfan la Tulipe — тип (в народной песне того же названия) бравого, любящего пожить солдата.

К стр. 118. Латинский квартал — обширный район на левом берегу Сены, где сосредоточены все научные и почти все учебные заведения Парижа; там же живут студенты, а также художники, литераторы, литературно-артистическая молодежь и т. д.

К стр. 129. Зуавы — войсковые части из туземцев во французских колониях в Африке.

К стр. 137. Нанять рекрута. — Во Франции при Июльской монархии и Второй империи не было обязательной военной службы. Солдатами были только те, кто не имел средств откупиться, то есть пролетариат и вообще бедный трудовой народ. До 1855 года всякий, кто мог нанять заместителя, освобождался от службы. С 1855 года правительство взяло на себя приискание за известную сумму заместителей тем, кто откупался.

К стр. 148. Баобаб — гигантское дерево, достигающее тридцати футов; растет в тропической Африке.

К стр. 149. Шампенуазка — жительница Шампани.

К стр. 151. Ботанический сад в Париже имеет обширное отделение с разнообразными представителями животного и рыбного царства.

К стр. 156. Сен-жерменское предместье — квартал на левом берегу Сены, в котором жили по преимуществу аристократы.

К стр. 162. Виллель, Жозеф (1773—1854), граф — один из самых реакционных министров Людовика XVIII.

К стр. 163. Деказ, Эли (1780—1860), герцог — министр Людовика XVIII. Эрнест Додэ (Жак этого романа) впоследствии написал о нем книгу.

К стр. 166. Angelus — начальные слова молитвы; колокольный звон в католических церквах; перезвон.

К стр. 172. Старцы дворца Мазарини — академики. Во дворце Мазарини помещается высшее научное уч-

рождение—Ииститут Фраиции,состоящий из пятн академий.

К стр. 172. Мерниме, Проспер(1803—1870)—выдающийся французский писатель.

К стр. 182. Мюзетта — действующее лицо романа Анри Мюрже (1822—1861) «Сцены из жизни богемы», литературный тип гризетки.

К стр. 182. Мими Пэнсон — созданный романтическим поэтом Альфредом Мюссе (1810 — 1857) собирательный образ гризетки, воспетый им в рассказах и в ряде стихотвореиий.

К стр. 183. Бернерета — тип гризетки в рассказе Альфреда Мюссе «Фредерик и Бернерета», образ бескорыстной и трогательиой любви.

К стр. 184. Дюпои, Пьер (1821 — 1870) — французский рабочий поэт. Особеиной популярностью пользовались его революционные песнн «Хлеб» и «Песиь рабочих».

К стр. 186. Экю — серебряная монета ценою в три франка.

К стр. 196. Лалуэт (L'alouette) — по-фраицузскн значит: жавороиок.

К стр. 198. Амалекитяне — упоминаемое в Библии воииственное племя арабского происхождеиня, кочевавшее на Сииайском полуострове.

К стр. 201. Селям — восточное приветствие, сокращенное из «селям-алейкум», означающее «мнр вам».

К стр. 201. Ага — господин, иачальник у турок.

К стр. 204. Филистимляие — народ, смешаиного семитского и египетского происхождеиия, населявший югозападный берег Палестииы и, по библейским рассказам, постоянно враждовавший с еврейским народом.

К стр. 217. Общество «Каво» (Погребок) — кружок литераторов, ученых и околоитературиой интеллигенции, собирающийся в каком-иибудь кабачке.

К стр. 218. Ареопаг — верховиое судилище в Афипах.

К стр. 237. Сент-Бёв, Шарль Огюст (1804 — 1869) — одии из наиболее выдающихся французских литературных критиков.

К стр. 241. Фиакр — извозчичий зкипаж, обычио карета; название происходит от св. Фиакра, патрона парижских извозчиков.

К стр. 241 Плаиш, Гюстав (1808—1857) — миоголетний критик журиала «Ревю де де Монд.

К стр. 245. «Французский театр», или «Французская Комедия» — первый государственный театр, основанный в Париже в 1680 году. Хранитель классико-академических традиций французского сценического

искусства, превратившихся в рутину, но вместе с тем собиратель крупнейших актерских дарований Франции.

К стр. 245. Маркизовы острова находятся в юго-восточной части Океании, принадлежат Франции.

К стр. 248. Рашель, Элиза (1820—1858) — великая французская трагическая актриса.

К стр. 249. Рио — Рио-де-Жанейро, столица Бразилии.

К стр. 249. Санхо — Санхо-Панса, персонаж из «Дон Кихота» Сервантеса.

К стр. 252. Рангоут — общее название надпалубных деревянных частей судна.

К стр. 256. Парфенон — древнегреческий храм, посвященный богине Афине девственнице, великолепное здание, выстроенное во времена Перикла (ок. 438 г. до н. э.) и украшенное работами знаменитого скульптора Фидия.

К стр. 256. Пиффераро (итал.) — дударь; пастухи, спускавшиеся с гор в Рим, со свирелью и волынкой, и игравшие и певшие на улицах, собирая подаяние.

К стр 263 «Атталия» — трагедия знаменитого французского драматурга Жана Расина (1639—1699).

К стр. 268. Донзелла — мамзель, девка.

К стр. 273. Гамэн — парижский уличный мальчишка, беспризорный, любовно описанный Виктором Гюго в романе «Отверженные».

К стр. 274. Лимонад Рожэ — слабительное.

К стр. 285 Ариадна (греч. миф.) — дочь критского царя Миноса, влюбленная в греческого героя Тезея, помогла ему посредством клубка ниток выбраться из лабиринта после умерщвления кровожадного чудовища Минотавра; бежала с ним, но была им покинута на острове Наксосе.

К стр. 285 Нина — центральный персонаж в комедии Марсолье «Нина, или безумие от любви», поставленной в 1787 году. Считая своего жениха мертвым, она сходит с ума.

К стр 300. Асфиксия — прекращение дыхательных движений и, последовательно, окисления крови, циркуляции ее, прекращение функций мозга и проч.

К стр. 315. Распайль, Франсуа (1794—1878) — известный политический деятель, революционный демократ и выдающийся ученый. Написал много руководств по практической медицине, рецептуре и т. д.

К стр. 315. Камфора широко применялась Распайлем как лечебное средство.

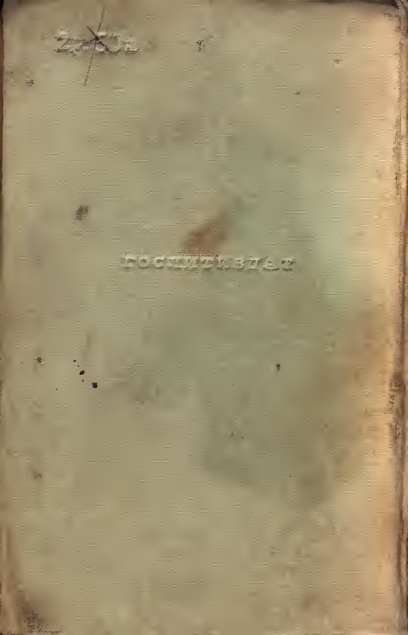
К стр. 326. Ранавалона — имя трех королев Мадагаскара. Последняя, Ранавалона III царствовала с 1883 по 1896 г. В 1896 г. Мадагаскар был объявлен французской колонией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Редактор Н. Гольдман. Технический редактор В. Авилов. Корректоры О. Кронгауз, Ю. Стружестрах. Уполномоченный Главлита А—11044. Индекс Х—006. Заказ издательства № 235. Заказ тип. 2240. Тираж 30000. Формат 70×92/32. Бум. листов 5,25 по 106660 зн. Печ. листов 10,5. Уч-авт. л. 15,20. Авт. л. 13,77. Бумпечатная № 3 Окуловского комбината. Тип. имени Мяги, г. Куйбышев. Сдано в набор 4.X. 37 г. Подп. к печ. 11.VI. 39 г.

Цена книги в переплете 2 руб. 50 коп.




АЛЬФОНС ДОДЭ